

Елена Алергант

Я приду снова

Пролог

Поздравляю себя с днём рождения! Желанная черта «65» достигнута, а значит, по немецким законам, я заслужила свою скромную пенсию. Мне удалось добрести до неё не спеша, экономя силы и энергию для последующей жизни. И вот она начинается, вернее её завершающий этап, который пройдёт под великолепным девизом — «Независимость». Независимость от всех обязательств, которые я когда-то сама водрузила себе на плечи и, кряхтя и спотыкаясь, честно донесла до намеченной цели.

Программа действий была составлена заранее; продаю свою квартиру в Германии и покупаю скромное жильё в Испании, в Андалузии, только для себя одной.

Почему именно в Андалузии? Возможно, это было моей прихотью, но, каждый раз приезжая туда в отпуск, я ловила себя на чувстве, что вернулась домой.

Полгода ушло на изучение предложений в интернете, первым и главным критерием которых, была близость к морю. Я сравнивала цены, изучала фотографии комнат и видов из окна. Наконец остановилась на трёх, вполне приемлемых вариантах и четвёртом — запасном, который был совсем неприемлемым, но разбудил моё любопытство своей нелепостью.

Смотрины были назначены на начало осени. В первый же день маклер показал все три приемлемых объекта. В первом комнаты оказались несколько меньше, чем выглядели на снимках, в описании второго не было указано наличие шумной многодетной семьи по соседству, а третий... там фотограф великолепно заретушировал большую трещину на фасаде. И тогда я решалась посмотреть свой запасной вариант.

Маклер припарковал машину на стоянке почти у самого моря и повёл прогуляться вдоль пляжа, рассказывая об особых прелестях этого уголка. Его плавная речь, слова, заученные наизусть из рекламного проспекта, заглушались ритмичными ударами волн о берег и не мешали моим прозаическим расчётам — что хуже: маленькие комнаты или шумные соседи.

Обогнув большую скалу, похожую на ступенчатую башню, мы вошли в просторную бухту. Четыре очень ухоженных современных домика, построенных по типовому проекту, сгруппировались в центре. Пятый, как бы стыдясь своей нелепости, отступил в самый дальний угол. Он выглядел также неприглядно, как и на фотографии. Человек, построивший этот дом, явно был большим оригиналом: он использовал в качестве фундамента старые развалины, на которые наспех водрузил современные стены, растянул их на два этажа, накрыл всё это плоской покатой крышей и выставил в интернет на продажу.

Маклер обвёл меня вокруг этого низкорослого двухэтажного бунгало, рассказывая длинную историю о том, как последний владелец лет десять назад заново перестроил его, обновил водопроводные трубы и электрику, расширил окна, а потом, почему-то потеряв к нему интерес, собрался и уехал в Канаду. Последние годы здесь ни кто не жил. С явно наигранным восторгом на лице, неутомимый рассказчик отомкнул тяжёлую деревянную дверь и, вежливо пропуская меня вперёд, пригласил к просмотру.

Изнутри домик выглядел гораздо симпатичнее, чем снаружи. На этот раз фотограф не сдукавил: большая светлая гостиная с камином, две маленькие квадратные комнаты в первом этаже, очень симпатично продуманная ванная и просторный чердак с большим окном, выходившим на море.

Маклер не торопился. Хорошо обученный продавец знал — клиенту надо дать время рассмотреть и прочувствовать объект, мысленно обставить его своими вещами, выбрать самый уютный уголок для любимого кресла и несколько минут посидеть в нем.

Я не спеша бродила по дому, постепенно привыкая к его цвету и запаху. Стены успокаивали и притягивали к себе, уговаривали остаться.

Рассмотрев нижние комнаты, ванную и кухню, нерешительно поднялась на чердак. Он мог бы стать великолепной четвёртой комнатой, не будь доверху завален старым мусором, оставленным предыдущим владельцем. Осторожно лавируя между останками старой мебели, картонными коробками и бесформенными мешками, добралась до цели...

Я стою у окна и смотрю на море. Мутное, раздраженное, явно уставшее от безнадежной борьбы с берегом. Тысячи людей до меня пытались описать свои чувства к морю, и им всегда приходила на ум только борьба. Борьба в три такта: удар, отступление, короткая передышка и снова удар... Но почему обязательно борьба? Может, это просто ритмичная смена успехов и поражений? Ведь в жизни на каждый успех в среднем приходится по одному поражению. Или смена радостей и печалей? За каждый час радости мы платим часом печали. Или это просто смена надежд и разочарований?

Три четверти, а, может, и четыре пятых жизни у меня уже позади. Я не жду больше никаких серьезных изменений. В ней могут быть лишь средние радости, сменяющиеся средними печалью, маленькие надежды, сменяющиеся лёгкими разочарованиями. Пусть на завершающем этапе мне сопутствуют лишь спокойное море и ясная погода. Не хочу больше никаких штормов!

Постояв ещё пару минут у окна, я спустилась вниз. Маклер вопросительно посмотрел мне в лицо. Он, опытный продавец недвижимости, интуитивно почувствовал, что клиента зацепило.

— А что будет с этим мусором?

— Владелец сказал, что все расходы по его вывозу он берёт на себя.

«Ну что ж. Пусть это будет самым неразумным и из всех когда-либо принятых мною решений, но я выбираю тебя, запасной вариант!», мысленно произнесла я — и, обернувшись к продавцу, бросила короткое: «Я покупаю... это чудовище»

Все формальности по оформлению купли-продажи и переезду прошли на удивление быстро и безболезненно. Я живу в своём новом доме уже четыре месяца. Нижний этаж давно стал родным и любимым, и только чердак всё ещё сохраняет свой первозданный вид. Я люблю разбирать старый хлам. Это каждый раз путешествие в мир чужих тайн, когда-то любимых, а потом, ставших ненужными вещей. Из кармана забытой куртки или затёртой сумки вытаскиваешь давно потерявшуюся вещь, которую кто-то долго и безнадежно искал, а потом смирился с пропажей и забыл. В старых ящиках и мешках попадаются иногда чудесные экземпляры — старая испанская керамика, кухонная утварь, фарфоровые статуэтки. Все свои находки я делю на две кучки: одна, очень большая, называется «на выброс», другая — значительно скромнее — «на реставрацию»

Это стало моей привычной и увлекательной работой, которая, к сожалению, в один прекрасный день подошла к концу.

Мне осталось разобрать последний ящик с сокровищами, оставленными старыми хозяевами в самом дальнем углу чердака. После короткой передышки опускаюсь на пол, придвигаю его к себе и углубляюсь в изучение скрытых в его глубине тайн.

Первой появилась на свет дивная широкополая, бордовая велюровая шляпа. Такие шляпы никогда не входят в моду и не выходят из неё. Они вечны, как сама мода. Нет в этом мире ни одной женщины, которая, хотя бы раз в жизни, не стояла в такой шляпе перед зеркалом, восхищаясь таинственностью своего лица, полускрытого широкими полями. Я бы тут же натянула эту находку себе на голову и побежала бы к ближайшему зеркалу: знаю, и мне

когда-то очень шли эти широкие поля, но... к сожалению, шляпой уже успела полакомиться моль. Жаль, но придётся отложить её в кучку «на выброс».

Вспомнила свою старую фотографию, оставшуюся после какого-то костюмированного праздника: старая кружевная занавеска накинута на плечи, широкополая шляпа, гордо вскинутый подбородок, голова повернута в полупрофиль... Да. Когда-то и я была красивой молодой женщиной! Ну да ладно, теперь это только приятные воспоминания.

Следующими на свет появились великолепные, тёмно-бордовые перчатки, сшитые опытным мастером из удивительно тонкой и мягкой кожи. Много лет тому назад у меня были такие же, но они не сохранились для будущих поколений. Они закончили своё существование в бермудском треугольнике моего младшего сына, приспособившего их для игры в рыцарей. Не могу удержаться и натягиваю одну из перчаток на руку. Похоже, их обладательница, как и я, не отличалась аристократическими ручками... Прекрасно! Тонкокожее чудо медленно опускается в кучку «на реставрацию».

И вот и явление третье — сумка! Боже, каких только секретов не хранят старые женские сумочки! Расчёски, потерявшие половину своих зубов в наших густых волосах, полуиспользованная губная помада, клочки бумажек с записанными на них важными, а потом ставшими ненужными, телефонными номерами... Старые сумки были всегда моей слабостью. Ну же, ты, тёмно-бордовое хранилище женских тайн, откройся и расскажи мне всё о своей хозяйке!

В хранилище всё было на своём месте: и беззубая расчёска, и истёртая помада, и...толстая записная книжка. Сумка! Как же тебе удалось сохранить молодость и свежесть её кожаного переплёта? Бумага на боковых срезах была четырёх оттенков: первый слой — чистобелый, потом шёл слегка бежеватый, сменявшийся лёгко-голубым. Последний слой напоминал нежно-зелёный.

Я открыла первую страницу... Латинский шрифт незнакомого языка... Естественно! Твоя хозяйка писала по-испански. А что расскажет мне бежеватая бумага? О, да ведь это похоже на английский. Замечательно! Значит, смогу с трудом, но перевести!

А голубая?... Тот же чёткий, аккуратный почерк, но в немецком варианте. Вот это везение! Моё возбуждение нарастало. Что скрывает нежно-зелёный слой? Ответ я знала почти наверняка... Русские, мои родные русские буквы!

Боже! Где мои очки? Я же ничего не вижу!

Так: с чердака спускаться осторожно; сейчас не время ломать ноги — нужно искать очки, которые всегда самостоятельно передвигаются в пространстве. На этот раз они спокойно отдыхали в кармане юбки. Очки заняли положенное им место, и текст, написанный крупными, аккуратными буквами, всплыл перед моими глазами.

Елена! Я рада, что ты вернулась в свой дом!

Следующие строчки были написаны не так крупно:

Если твоё имя «Елена», если у тебя серо-голубые глаза и тёмно-каштановые волосы, достань из маленького кармашка под обложкой этой книги два медальона. В них два почти одинаковых портрета, но принадлежат они разным женщинам, которых разделяют четыре поколения. Посмотри на них очень внимательно.

Я смотрю на портреты размером в ладонь. Боже! Как знакомо мне это лицо в пол-оборота, обрамлённое широкими полями шляпы. Гордо вскинутый подбородок, кружевная накидка прикрывает плечи...

— Что же мне делать дальше?

Незнакомка из прошлого продолжает свои наставления:

— ***Если ты узнала себя, значит, эта книга написана для тебя.***

Если нет, то сложи, пожалуйста, все эти вещи обратно в ящик в дальний угол чердака, где они останутся стоять до тех пор, пока не придёт та, кому они предназначены.

Я положила свою фотографию рядом с портретами моих предшественниц и долго разглядывала эти три лица. Надо же, как они похожи! И дело было не только в их чертах, но и в сути. В лицах не было никакой таинственности; было несоответствие.

Несоответствие гордого поворота головы, вскинутого подбородка и неуверенной полуулыбки губ, обращенной не к миру, а в глубину себя.

Почему природа, придумав этот облик один раз, с такой настойчивостью повторяет его снова и снова? Как режиссер, репетирующий спектакль, заставляет артистов снова и снова повторять одну и ту же сцену до тех пор, пока не увидит то, что задумал. Что задумала природа, чего она ожидает от с этого облика?

Написанная для меня книга продолжила свои разъяснения: **Этот маленький, нескладный домик, достался мне по наследству от бабушки, и, разбирая её старые вещи, я натолкнулась на два дневника с портретами-медальонами «Елены первой» и «Елены второй». Елена вторая, моя бабушка, приложила к своему дневнику письмо для меня. Она рассказала, что по преданию, её облик повторился в нашей семье уже трижды, причём возвращался он каждый раз через четыре поколения, то есть правнучка наследовала от прабабушки. Двух последних звали «Елена», и каждую из них судьба приводила в этот дом. Бабушка была уверена, что и ты, Елена третья, её возможная правнучка по боковой линии, когда-нибудь приедешь сюда, и просила сохранить для тебя эти дневники и портреты.**

Но откуда, с какой стороны ты появишься? Какой язык будет твоим родным? Мой родной — испанский, но, будучи профессиональным переводчиком, свободно владею ещё тремя: английским, немецким и русским. Я сделала для тебя эти переводы и спрятала так, чтобы ты смогла их найти. И последнее сообщение! Бабушка просила тебя написать историю своей жизни, вместе с фотографией приложить к двум другим и сохранить для той, которая тоже когда-нибудь придёт сюда. А теперь читай!

Глава первая

Я родилась в состоятельной еврейской семье. По семейному преданию наши предки, богатые и просвещённые жители Альхамбры, предпочтя изгнанию переход в католичество, сохранили в душе верность своей религии и, несмотря на постоянную смертельную опасность, передавали её уже триста лет из поколения в поколение. Мой отец, талантливый ювелир, унаследовал от них утонченный вкус и сильно выраженное чувство собственного достоинства.

Семья, уже богатая двумя детьми, готовилась к появлению третьего, но этого ребёнка ожидали не так, как первых двоих. Тогда это была нетерпеливая радость перед встречей с маленьким чудом; сейчас — тоска и ожесточение. Ребёнок был результатом большой беды — еврейского погрома. Громил это поселение отряд юнцов, выходцев из богатых аристократических испанских семей. Им не нужны были еврейские деньги; они просто искали приключений, азарта и власти над теми, кого закон лишил права защищаться.

Отец (я по привычке всё ещё называю его отцом), молодой и очень сильный мужчина, с руками, прикрученными к толстой деревянной балке и удерживаемый тремя молодыми испанцами, вынужден был смотреть на унижение собственной жены, не имея ни малейшего шанса защитить свою и её честь.

Чей ребёнок появится теперь в семье; его или этого молодого негодяя с серо-голубыми глазами? Надежда на смугловатого малыша с бархатисто-карими глазками и каштановым пушком на головке всё ещё оставалась. Она исчезла с моим появлением. Я была бело-

розовой, светловолосой, голубоглазой и вечным напоминанием пережитого бессилия и унижения.

Семья не причиняла мне особого вреда, она просто меня не любила. Они все были едины в своей «нелюбви», но каждый при этом не любил по-своему. Отец каждый раз морщился, слыша мой смех или встретив мой взгляд, но молчал. Его человеческая, а, возможно, и мужская гордость была сломлена. Я не знаю, как сложились их дальнейшие отношения с матерью, но детей у них больше не было.

Бабушка, по праву старшинства главная хранительница традиций и чести семьи, тоже страдала от причинённого её семье унижения, но у неё, как, впрочем, и у всех свекровей, сердце болело, прежде всего, за сына, а значит, во всём была виновата невестка. Мне довелось несколько раз случайно услышать, как она осыпала упрёками мою мать:

— «Поздно теперь губы кусать. Сама во всём виновата. Другие спрятались хорошенько, вот с ними ничего и не случилось, а ты, дура, даже этого толком не смогла».

Мать раздражённо оправдывалась:

— «Это не только со мной случилось. Другие тоже пострадали!»

Но бабушка неумолимо шипела дальше:

— «Другие-то может, и пострадали, да вот в подоле не принесли, а ты жадная, как вся твоя семья. Что к тебе попадёт, того уже не отдашь. А ведь я говорила сыну, что не получится из тебя путной жены».

В голосе матери слышалась еле сдерживаемая злость:

— «А Ваш сын тоже не лучше. Позволил себя связать, как старого мерина и отлёживался на полу, пока надо мной глумились. Вам сейчас хорошо судить».

Заступиться за меня всё равно некому!»

У матери, тогда молодой женщины, воспоминания о том дне были ещё более сложными. Она, за все годы замужества привыкшая к большому и тяжёлому телу своего мужа, вдруг удивилась лёгкой подвижности молодого испанца и на какое-то мгновение приподняла ресницы... Совсем близко от её лица сияли серо-голубые глаза... радостные и восхищённые. Она никогда не видела восхищения в глазах своего мужа. Он выполнял супружескую работу спокойно и деловито, а потом, завернувшись в тёплую накидку, уходил в мастерскую. Только там, полируя и обрабатывая камни, вырисовывая новые завитушки будущих украшений, он светился радостью и восхищением. Если она и чувствовала себя в чём-то виноватой, то только в этих воспоминаниях, которые лишали чистоты и однозначности её ненависть к насильнику.

Она стыдилась этих воспоминаний, но каждый раз, когда глаза дочери, разглядывавшей цветастую бабочку или играющего котёнка, светились радостью и восхищением, сердце её вздрагивало и стремительно скатывалось в низ живота. Разве можно любить ребёнка, который не давал забыть то, что она не имела права помнить! Об этих чувствах моей матери я догадалась лишь много лет спустя.

Отец дал мне библейское имя «Лия» в честь первой, нежеланной и нелюбимой жены Иакова, навязанной ему против воли. Иаков мечтал о бархатистых, опушённых густыми ресницами карих глазах Рахили, её тёмных волнистых волосах, а получил голубоглазую светловолосую Лию!

Так я стала Лией, а значит — нежеланной и нелюбимой.

...Отложив в сторону книгу, я задумалась о своём детстве. С моим рождением не было связано никаких трагедий, была просто первая проба сил на семейном поле борьбы за власть. Традиционный треугольник: муж, жена и тёща, привыкшая управлять всеми и всегда. Она была генералом.

Отец был принят в семью с её согласия, но не потому, что обладал особыми достоинствами. Она, как и большинство матерей, считала свою дочь истиной принцессой, заслуживающей в мужья только настоящего принца. Но война подходила к концу, и принцем становился каждый неженатый мужчина, оставшийся в живых.

У моей бабушки была четкая концепция женской жизни: остаться старой девой — стыдно. Каждая женщина должна иметь ребёнка, а для этого ей нужен законный муж.

Мой отец обладал в её глазах тремя достоинствами: он был евреем, имел высшее образование и закончил войну всего лишь майором, а значит, привык подчиняться своему генералу. Теперь его генералом будет она.

Все шло по составленному в генеральском штабе плану: дочь родила ей прелестную маленькую внучку, удивительно похожую не только на свою маму, но и на бабушку.

Те же тёмно-вишнёвые глаза, светящиеся любопытством и врождённым пониманием открывшегося ей мира... Не влюбиться в этого ребёнка с первого взгляда было не возможно, что бабушка тут же и сделала.

Генеральский штаб продолжал разработку плана жизни своей дочери: зять успешно справился с порученным ему заданием, а значит, пора отправлять его в отставку.

Планы были нарушены неожиданным сообщением дочери, жившей тогда с мужем в Германии: она опять ждала ребёнка. Ответ штаба был коротким: «Приезжайте в Ленинград. Разберёмся».

«Разобраться» с возникшим недоразумением в те первые послевоенные годы, было не просто. Государство боролось за рост численности своего населения, а значит подобные «осложнения» устранялись только по знакомству. Бабушка была врачом, и необходимые для этого знакомства у неё имелись. К моменту приезда молодой семьи в Ленинград место и время «устранения» были подготовлены. Дочери оставалось только объяснить мужу причину предстоящего ей однодневного отсутствия.

И тут случилось непредвиденное: муж сказал «НЕТ».

— «Это моя жена и мой ребёнок. Здесь решаю я!»

Для него это был не только бунт против тётки. Он, как все мужчины, мечтал о сыне, и судьба давала ему второй шанс.

Моя мама оказалась впервые перед серьёзным выбором: «Кого слушаться?»

Она послушалась мужа. Бабушка потерпела двойное поражение!

Молодая семья, полная надежд на появление сына, вернулась в Германию, а бабушка, как и положено генеральному штабу, занялась разбором своих стратегических ошибок.

Эту историю родители «дарили» мне каждый год ко дню рождения, повторяя её всегда с одним и тем же выражением на лицах.

Папа: «Я показал ей, вашей бабушке, что мною она не покомандует!»

Мама, хитренько улыбаясь, объясняла причину своего торжества:

— Я первый раз в жизни ослушалась свою маму...

Торжествовали «непослушные дети» недолго; вместо долгожданного сына на свет появилась опять девочка. Толстая, бело-розовая с голубыми глазами и светлыми волосами...

Для отца моё появление стало полным крушением надежд: в годы послевоенной разрухи и ненадёжного еврейского будущего третьей попытки быть не могло. Значит, сына не будет никогда! Мама, как все женщины, чувствовала себя виноватой в том, что разочаровала и обездолила мужа. Бабушка торжествовала: «Так ему и надо. Говорила же я им ...»

В моём имени не было ничего библейского или символического. По семейным преданиям, моя маленькая сестра, впервые увидев меня в коляске, ткнула новой кукле пальчиком в глаз и сказала: «Ляля».

Родители сочли это имя вполне подходящим, потому что «Ляля» — это нечто легковесное, несерьёзное, а главное — необременительное. Я появилась против их желания, а значит, не имела права осложнять им жизнь.

Родители чисто интуитивно, но не случайно повторяли эту историю каждый год. Я обязана была знать, что заняла место, предназначенное не для меня, а значит особыми заслугами и послушанием доказать свое право на существование.

Похоже, мы с Вами, уважаемая прабабушка, стартовали в жизнь одинаково. Сейчас это называется комплексом недолюбленности. Ну и как же Вы приходили к согласию с самой собой? Водрузив на нос очки, я продолжила чтение.

Я хорошо помню себя лет с пяти. Роли в семье были чётко распределены; старший брат, ему было тогда уже четырнадцать, считался золотой головой. Отец невероятно гордился способностями старшего сына и не жалел денег на его образование. Будущее этой «семейной гордости» было давно спланировано: как только соберётся необходимая сумма денег, он отправится в Америку, потому что только в этой молодой стране золотая еврейская голова имела шансы на применение.

Моя старшая сестра, абсолютная любимица бабушки, тоже обладала золотыми частями тела, а именно руками. Ей, в отличие от её бездарной матери, предстояло стать блестящей домашней хозяйкой, поэтому она неотлучно находилась при бабушке, обучаясь у неё всем таинствам домоводства. В свои семь лет она уже умела делать великолепные соусы к мясу и, с пяти лет допущенная до вытирания посуды, не разбила ещё ни одной чашки.

Отец взял на себя тяжёлую и неблагодарную роль талантливого ювелира, а маме было предназначено играть «непутёвую».

У меня тоже была своя маленькая роль в семье — всем и всегда мешать. Любые попытки пристроиться к какому-нибудь делу и научиться делать его хорошо тут же пресекались требованием отправляться к маме и не мешать. Однажды, скучая на крыльце в обществе старой замызганной куклы, я поделилась с ней своими соображениями:

— У меня тоже есть золотая голова, только они об этом не знают, потому что ни чему не учат. А что если попросить брата научить меня читать и писать?

И, набравшись мужества, я отправилась к нему в комнату. Он, как всегда, сидел за книгами, углубившись в изучение чего — то невероятно умного, доступного только его золотой голове. Спиной почувствовав моё присутствие и, даже не обернувшись, брат спокойно произнёс:

— Выйди и никогда больше сюда не входи.

В его голосе не было злобы, но спокойная категоричность не оставляла ни малейшей надежды.

Затею с золотой головой пришлось на время отложить. Следующую ставку я сделала на золотые руки. Ведь бабушка могла и меня научить вытирать посуду! Я успела только показаться на пороге кухни, как раздался её громкий окрик, обращённый к маме:

— Забери отсюда свою девчонку, и вымой ей, наконец, руки. Тоже ещё что надумала! Грязь на кухню таскать!

Я сердито попятилась назад, изучая по дороге свои руки. Грязи на них разглядеть не удалось.

Мама перехватила «назойливую девчонку» на крыльце и усадила рядом с собой.

Моё тогдашнее отношение к ней было особым. Сейчас я могу это назвать звериной потребностью в её близости. Прижаться к ней, уткнуться носом ей в бок и понюхать, обхватить за локоть и ладонью почувствовать её уютность и мягкость, было постоянной ненасытной потребностью. А она... Она на несколько секунд прижимала меня к себе, проводила рукой по волосам, а потом, мягко отстранив, уходила заниматься своими делами, посоветовав тоже заняться чем-нибудь полезным.

Однажды за обедом отец упомянул о каких-то особых камнях, привезённых ему из другой страны. На следующий день я решилась на безумный поступок — отправиться в святая святых этого дома, ювелирную мастерскую, и посмотреть на волшебные камни. Остановилась за спиной мастера и покорно ждала очередного изгнания. Не отрываясь от работы, он раздражённо буркнул:

— А тебе что здесь надо?

— Волшебные камни... вчера за обедом... можно посмотреть?

Его губы как всегда, когда он меня видел, сжались и искривились:

— Ладно, смотри, только не вздумай хватать их руками.

Я присела напротив него и зажала ладони между коленками. На столе лежало несколько мутно-серых камней, какие десятками валяются у нас на дороге перед домом. Отец, зажав один из них между большим и указательным пальцами, тёр его какой-то палочкой, другим камушком, а потом тряпочкой. На мутной поверхности камня появилось несколько зелёных точек, которые постепенно превращались в ярко-зелёные островки. Расплываясь и соединяясь между собой, они покрыли, наконец, всю поверхность. Серый камень превратился в изумрудно-зелёный с прожилками, которые вначале сплетались в причудливо изогнутые кольца и устремлялись к середине, а потом, передумав, снова разворачивались и разбегались неровными кругами к краям.

— Ты волшебник? — я и не заметила, что давно, наклонившись к столу, громко соплю от восхищения.

Мастер удивленно поднял глаза от работы.

— А я думал, ты уснула. Да, я — волшебник!...А тебе это интересно, я имею в виду превращение камня?

— Очень. Можно мне приходить сюда чаще?

Он пожал плечами, как бы давая согласие. На какое-то мгновение мне показалось, что его обрадовал мой вопрос; я была единственным членом семьи, заинтересовавшимся его искусством.

Однажды за обедом он обратился к «золотой голове»:

— Я хочу, что бы ты научил Лию читать и писать. Одного часа в день будет достаточно.

Два рта приоткрылись для возражения. Брат с возмущением выпалил:

— Почему я должен тратить на неё своё время?

Бабушка, как всегда с возмущением посмотрев на маму, проскрипела:

— Это ещё зачем? Всё равно она такая же бестолковая, как её мать!

Отец, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, прервал обсуждение:

— Я так решил. Всё!

Теперь у меня был шанс показать свой ум и способности, в наличии которых я никогда не сомневалась.

Брат проводил занятия в соответствии с полученным от отца приказом: ровно час в день. Он проверял выполнение данного накануне задания, подчёркивал красными чернилами

ошибки, коротко и чётко объяснял следующий урок, записывая самое важное в мою тетрадку, и ровно по истечении часа закрывал её. Задавать вопросы он запретил с самого начала, заявив:

— Если голова есть, разберёшься сама по моим записям. А если нет... то нечего и время зря терять. Всё. Иди.

После занятия я пряталась в своём углу и пыталась разобраться в его объяснениях, изо всех сил напрягая голову, наличие которой предстояло доказать. Это было делом чести! Брата мало интересовали результаты; ему было велено потратить на меня час времени и он его тратил, вряд ли замечая, что красных пометок становится всё меньше, буквы в строчках стоят ровнее, а два плюс два всегда складываются в однозначное четыре.

Успехи этой головы радовали только её обладательницу, и только она, замирая от гордости, видела медленно восходивший над её светлыми волосами золотой нимб.

Подготовив очередное задание, я отправлялась в ювелирную мастерскую и садилась напротив мастера, привычно зажав ладони между коленками. Эта, ставшая символичной, поза означала: «Я не буду ничего хватать руками. Они арестованы».

Иногда отец настолько увлекался, что даже объяснял мне значение и названия камней, секреты их обработки. Однажды он шлифовал какой-то красный камушек, вытачивая на нём ровные гладкие грани:

«Смотри», — он отвёл руку назад так, что камушек оказался в тени, — «Вот так он совсем тёмный, глухой, а сейчас...»

Короткое движение руки в сторону и... «глухой» камень открылся навстречу солнечному лучу. У него в глубине зажглась совсем малюсенькая свечка. Она высветила середину светлорозовым цветом, оставляя края искристо-красными. Я охнула от восторга.

«На. Попробуй сама», — отец, забыв об осторожности, протянул мне своё сокровище. Передвигая руку к свету, я «ловила» свечку в глубине, чуть-чуть меняя наклон, переносила её к краю камня так, что искриться начинала середина, а потом снова гасила её, убирая руку в тень.

«Это Рубин. Очень высокого качества», — гордо пояснил папа, забирая камень обратно.

Однажды произошло чудо — он спросил моего совета! Разложив на столе семь обработанных рубинов, он складывал их в подготовленный рисунок нового украшения, менял местами, откладывал какой-нибудь в сторону, заменяя другим, и ни как не мог решиться.

«Какой же из них — центральный?», — это было размышление вслух, не требующее ответа.

Я, пристально наблюдая за перемещениями рубинов, каждый раз огорчалась, когда тот, который мне нравился больше всех, откладывался в сторону, выходя из игры.

«Вот этот. Он самый красивый», — ответ выскочил так же неожиданно, как и вопрос.

«Хм. Пожалуй ты права», — отец положил выбранный мною камень в центр рисунка и удивлённо поднял глаза:

— У тебя, оказывается, есть вкус!

Это была первая полученная от него похвала. Сияние золотого нимба над моей головой набирало силу.

С этого дня отец стал давать мне маленькие самостоятельные задания: сортировать новые камни по цвету и размеру, раскладывать их по отдельным коробочкам, надписывая их названия, запаковывать готовые заказы в заранее подготовленные шкатулки, выставленные разноцветным бархатом.

Отец привык к моему присутствию. Казалось, ему даже нравилась роль не только талантливого ювелира, но и талантливого учителя. Он показывал всевозможные рисунки и гравюры, объясняя законы композиции и взаимодействия цветов.

Однажды, собирая очередное кольцо, он симметрично закрепил две одинаковые завитушки по разные стороны центрального медальона так, что они смотрели друг на друга, а потом зачем-то снял одну из них, развернул в обратную сторону и надел ещё не готовое изделие на искусственную гипсовую шею:

— Смотри, красиво?

— Очень.

— Смотри внимательно. Тебе действительно нравится?

— Да. Колье очень красивое, только...

— Что только?

— Только шея... кривая.

— Шея прямая, а вот композиция — «кривая». Смотри, только одна, неправильно поставленная деталь, и... равновесие нарушено. Правая сторона перевешивает и зрительно создаёт ощущение кривой шеи.

Он развернул завиток в правильном направлении, и шея выпрямилась.

В другой раз он обернул гипсовую фигуру куском ярко-красного бархата и надел на неё украшение из оправленных в тонкую золотую оправу сапфиров.

— Хм. Нравится? Смотри внимательно.

Я пристально вглядывалась в наряд.

— Вообще-то по отдельности они смотрятся лучше.

— Что значит « по отдельности»?

— Ну ...украшение отдельно, а бархат отдельно.

— Выбери подходящее для него «платье».

Я долго перебирала куски бархата, разложенные на столе, накидывала их по очереди на искусственную даму, напрягая глаза и воображение. Отец терпеливо ждал.

— Вот эти два. С чёрным хорошо, а ещё лучше — с тёмно-синим.

— В принципе я с тобой почти согласен, но всё зависит ещё и от освещения. При дневном свете камни становятся полупрозрачными и светлыми и их можно носить даже с голубым, а вот вечером при свечах они темнеют и их грани начинают искриться золотистыми точками. Тогда действительно подойдёт чёрный, а ещё лучше — глубокий синий.

Так я училась распознавать красоту.

Брата тоже, казалось, перестали раздражать ежедневные посещения навязанной ему ученицы. Однажды, прочтя моё сочинение на заданную тему, он даже снизошёл до своеобразной похвалы.

— Жаль, что эта голова досталась тебе, а не мужчине. Из неё можно было бы сделать нечто весьма пристойное.

Мой мир стал приобретать гармоничные очертания, несмотря на регулярные злобные выпады бабушки, обвинявшей меня в полной бесполезности для домашнего хозяйства.

Эта гармония продолжалась почти два года, почти два года полноценной жизни, разделившейся на две части; первая половина дня — уроки у брата, вторая — погружение в чудеса ювелирной мастерской. Я чувствовала себя нужной и признанной.

Мир, построенный с таким трудом, рухнул у меня под ногами в одночасье. Проходя мимо открытой двери в гостиную, я услышала раздражённый бабушкин голос, обращённый к отцу: «Зачем ты возишься с этой девчонкой? Делать тебе что ли больше нечего? Сына от занятий отрываешь, своё время в мастерской тратишь впустую. Незачем это... Не нужна она нам!»

Я замерла у открытой двери — ответ отца должен был решить мою жизнь, и он её решил:

«Бог наказал меня за мою гордыню тяжёлым испытанием, но я обязан вынести его с честью. Я сделаю из неё человека!»

Дальше слушать уже не хотелось, и я, осторожно ступая по половицам, пошла... на поиски мамы. Моя постоянная зверинная тоска по ней, потребность прижаться к её боку и понюхать платье, просыпалась с особой силой всегда, когда болела душа... Сейчас эта потребность была почти нестерпимой.

Маму отыскать не удалось — это время дня она всегда проводила с соседками, обмениваясь новостями. Я забралась с ногами на кровать и прижала к животу свою замызганную, драную куклу, за все эти годы насквозь пропитавшуюся моими жалобами и надеждами. Она умела слушать.

«Я так старалась доказать им всем, что не глупая и не пустая, и думала, они это поняли и признали меня, а оказывается отец делал это не для меня, а для Бога. Вернее для самого себя. Я для него не человек, а тяжёлое испытание, которое он должен вынести с честью. За что они все меня так ненавидят? Разве я виновата в том, что родилась против их желания?», — жаловалась я кукле, теснее прижимая её к животу. Обида постепенно сменялась злостью.

«Раз так, значит, буду им мстить! Не позволю отцу гордиться собой, сделав из меня человека. Я им не стану ему назло. Больше никогда не пойду к поганой золотой голове на уроки и в мастерскую к этому... бездарному ювелиру тоже не пойду. Останусь... как мама, глупой и непутёвой!»

Мне было так больно, так тоскливо. Думала, труд и старание обязательно вознаграждаются, надеялась благодаря им заслужить признание семьи, а может даже её любовь и вот... Оказывается одни (перед глазами всплыли самодовольные лица сестры и брата) получают их просто так, ни за что, в подарок, а другие — никогда.

В этот день я пережила своё первое большое поражение, первый урок взрослой жизни!

Кукла толкнула меня в живот и спросила: «А ты и в самом деле хочешь повторить мамину жизнь? Первую половину дня возиться по хозяйству, а вторую — сплетничать с соседками? И так изо дня в день, из года в год?»

Этот толчок повернул мои мысли в другое направление: «А почему я должна стараться для них? Зачем мне их признание? Скоро я стану взрослой, выйду замуж, уеду и навсегда их забуду. ОНИ мне не нужны! Я ИХ тоже не люблю. Ходить на занятия к «голове» и в мастерскую буду дальше, потому что это интересно и важно. Я сама сделаю из себя человека, потому что это моя жизнь!»

В этот день я приняла своё первое серьёзное решение: жить как человек нужно для себя, а не для того, что бы тебя любили.

Через неделю мне исполнилось девять лет!

В следующие за этим днём месяцы моя внешняя жизнь не изменилась — она протекала по ставшему привычным плану, а вот внутренняя раздвоилась. Вскоре я поняла, что сказать красивые слова очень легко, а вот обуздать свои чувства... для этого нужно родиться заново и совсем другим человеком. Я по-прежнему радостно хваталась за каждую похвалу и страдала от любой грубой критики и мелких издёвок, но теперь знала, чем себя утешить. Как заклинание, повторяла своё решение: «ОНИ мне не нужны! Я делаю всё это только для себя!», — и сразу становилось легче.

Однажды отец поручил мне красиво упаковать готовое изделие, за которым завтра должен приехать заказчик. Я не спеша перебирала шкатулки, выискивая наиболее подходящий цвет внутренней обивки, аккуратно разложила украшение, расправив камни так, как они должны были лежать на живом декольте и, подняв глаза, встретила взглядом с отцом, который, оказывается, всё это время внимательно наблюдал за моей работой.

— А у тебя действительно есть голова на плечах. Интересно в кого... Ясно, не в твою безмозглую мать...

Меня, как всегда, когда он с таким презрением говорил о моей маме, охватила злость. Грубый ответ: «Но уж явно не в тебя!», — щекотал кончик языка, который тут же пришлось прикусить, что бы не быть навсегда выброшенной из этого «святилища красоты и вкуса». Это ответ придётся приберечь для разговора с куклой.

Не отводя от него взгляда, зная, что он до сих пор не может переносить цвета моих глаз, произнесла, как могла, спокойно:

— Но ведь училась я у тебя.

Отец скривил губы и отвернулся.

— Ладно, прибери мастерскую и иди к себе. На сегодня всё.

Пару дней спустя перед нашим домом остановилась роскошная карета с гербами. Таких карет в нашем поселении ещё никогда не видели. Из неё вышла немолодая дама, одетая в удивительно красивое темно-зелёное платье с серебристой пеной кружев вокруг шеи.

Не было ни малейшего сомнения, что она приехала из чуждого нам высокопоставленного испанского мира. Посетительница вежливо поздоровалась с отцом, неторопливо оглядела мастерскую, скользнула глазами по мне, как по прочей мебели, и неспешным низким голосом объяснила своё появление:

— До нас тоже дошли слухи о Вашем замечательном искусстве. Я бы хотела заказать у Вас что-нибудь интересное... может быть, брошку... к этому платью.

Отец долго и пристально всматривался в его цвет, а потом выложил на стол три крупных, несколько отличающихся по оттенку малахита и один серебристый в тонких прожилках агат.

Дама по очереди прикладывала зелёные камни к рукаву платья, сравнивая взаимодействие цветов и не могла выбрать. Я напряглась от любопытства — почему она даже не посмотрела на серебристый? Почувствовав мой взгляд, она подняла глаза, улыбнулась и очень дружелюбно спросила:

— А ты помогаешь своему папе в мастерской?

— Да, здесь очень интересно.

— А как тебя зовут?

— Лия, — я даже смутилась от такого внимания.

Наконец она остановила свой выбор на одном из трёх малахитов и снова обратилась ко мне:

— Лия, ты согласна с моим выбором?

Вежливость требовала всегда одобрять вкус заказчика, поэтому, повторяя папины интонации, я очень бодро согласилась:

— Да, Вы выбрали самый лучший... только, — и, не сдержав разочарования, ткнула пальцем в свой любимый агат.

— Этот так подошёл бы к вашим кружевам! — выпалила я и испуганно посмотрела на отца. К счастью, его лицо выражало только крайнюю степень изумления. Дама тоже удивлённо подняла бровь и протянула руку к моему камню.

Приложив его к вырезу платья, она долго смотрелась в протянутое отцом зеркало.

— А ты, пожалуй, права. Так тоже очень интересно, — и заказчица очень симпатично улыбнулась.

— Лия, ты меня убедила — возьму оба. Пусть будет две брошки.

Я даже не пыталась сдержать улыбку торжества.

Заказчица поручила мастеру самому придумать подходящую к камням оправу, и, пообещав приехать через неделю за готовыми изделиями, поплыла к карете.

Когда карета отъехала, отец впервые в моём присутствии весело рассмеялся:

— А ты торгуешься, как настоящая еврейка. Вот уж не ожидал.

Следующие дни он с увлечением работал над оправами. Малахит обвила гибкая золотая змейка, положившая свою изящную головку на краешек камня, как бы отдыхая на нём. Агат, маленький, светящийся на солнце пруд, был погружён в чашу чёрного серебра, не затенявшую его свечения, а лишь определявшего границу. Я с нетерпением ожидала приезда высокопоставленной заказчицы. Она появилась, как и обещала, через неделю, отдала должное вкусу ювелира, щедро расплатилась и торопливо вернулась в карету. На этот раз испанская аристократка со мной не разговаривала, лишь несколько раз очень внимательно взглянула мне в лицо и на руки. Жаль, но, похоже, мы её чем-то разочаровали.

Неделю спустя перед нашим домом опять остановилась карета с гербами, но другая, ещё более роскошная. Из неё вышел высокий, изысканно одетый испанский гранд. Он вежливо поклонился маме, развешивавшей во дворе свежестиранные бельё, и о чём-то спросил. Она молча указала рукой на дверь ювелирной лавки. Остановившись на пороге, он опять поклонился и, едва скользнув по мне глазами, обратился к отцу:

— Мне нужно поговорить с Вами... наедине.

Отец, вежливо поклонившись в ответ, пригласил его подняться в гостиную:

— Там нам никто не будет мешать.

Я молча выскользнула за дверь и присела на ступеньку лестницы. Почему так беспокойно на душе? Что им, этим испанцам опять от нас нужно? Все знали, что их появление на нашей территории всегда приносит с собой большую беду.

Мужской разговор длился больше часа. Наконец дверь в гостиную распахнулась, и гость начал спускаться по лестнице. Проходя мимо, он ещё раз внимательно скользнул по моему лицу глазами, сел в карету и уехал, а отец призвал в гостиную бабушку и маму. Я осталась сидеть на нижней ступеньке, обхватив руками живот. Похоже, что и в самом деле произошло что-то очень страшное.

Второе совещание закончилось значительно быстрее первого. Бабушка, с покрытыми красными пятнами щеками, победно промаршировала на кухню, а мама... проходя мимо меня, она слегка приподняла руку, как бы собираясь погладить по волосам, но, так и не решившись, бессильно уронила её и, не останавливаясь, пошла дальше. Сверху раздался голос отца:

— Лия, поднимись ко мне, — и я, на негнущихся ногах, медленно поползла в гостиную.

Его поза поразила меня; сгорбившись у большого стола и машинально перебирая руками какие-то предметы, он явно избегал моего взгляда. Наконец решился, поднял голову и, впервые за все эти годы, посмотрел мне в глаза без раздражения и не морщась.

— Сядь. Так удобнее говорить. Значит так... испанский аристократ, приехавший сегодня, утверждает, что он — твой настоящий отец и хочет забрать тебя к себе.

— Но откуда он знает, что он мой отец?

— Дама с брошками, побывавшая у нас на прошлой неделе, — его мать. Она, якобы, признала тебя похожей на кого-то из своих близких родственников, кажется, на её мать. Всё это очень странно, конечно, но... Короче... Через неделю они за тобой приедут. Всё.

Обычно его «Всё. Я решил», означало конец разговора. Я стала медленно подниматься со стула, но отец остановил меня.

— Сядь. Я ещё не закончил. В общем... все эти годы я так и не смог смириться с твоим существованием. Ты была постоянным напоминанием... ну сама знаешь чего... Разумом я понимал, что твоей вины в этом нет, но чувства... или мы справляемся с ними, или они преследуют нас всю жизнь. Я со своими не справился, но, тем не менее, рад, что ты, вопреки всему, выросла умной и серьёзной девочкой. В новой семье тебя ждёт очень непростая жизнь; с одной стороны богатство и роскошь, с другой — постоянная опасность.

Ведь ты — наполовину еврейка, а испанцы — наши злейшие враги. Боже! О чём думают эти люди, забирая тебя в своё логово! Почему они рискуют твоей жизнью? Или они верят в свою священную вседозволенность и безнаказанность? Ну да ладно. Бог им судья. Они собираются представить тебя обществу, как случайный плод какой-то романтической любви этого прохвоста... Извини... твоего отца... Всё это вполне соответствует их морали; в каждом углу — по законной любовнице. Но дело не в них. Их жизнь и нравы меня мало интересуют. Меня тревожит твоё будущее. Ты должна, ты обязана сама поверить в эту легенду, потому что нельзя жить двойной жизнью. Любая тайна, как бы глубоко в душе она ни была похоронена, постоянно шевелится и царапает её изнутри и в любой момент угрожает высунуть наружу свою мордочку. Ты должна навсегда забыть нас! Тебя здесь никогда не было. Твоя душа должна родиться заново, на этот раз — в теле полноценной испанки и прожить свою полноценную испанскую жизнь без страхов и сомнений. Да поможет тебе Бог! Серьёзно подумай на досуге о том, что я сказал. Это — наш последний урок... большего я сделать для тебя уже не смогу... Всё. Иди.

Я мало что поняла из того, что сказал отец. Какие-то обрывки фраз крутились в голове: прохвост и насильник, якобы мой отец, решил теперь приняться за меня и утащить в своё логово, а он, другой отец, не смог справиться со своими чувствами и поэтому не будет меня защищать. Спасти себя должна я сама, заново родившись испанкой и сделав вид, что меня здесь никогда не было. Всё это было выше моего понимания. Объяснения золотой головы казались сейчас и то толковее. Единственно, что было понятно из этого сумбура — через неделю испанский злодей с его многочисленными любовницами приедет за мной и увезёт к себе.

Забравшись, как всегда, с ногами на кровать, я начала сортировать произнесённые отцом фразы. Через некоторое время в них появился определённый смысл. Заказчица брошек была матерью негодяя, изнасиловавшего мою мать. Ей показалось, что я похожа на кого-то из её родственников. Она сообщила об этом сыну, и тот, по совершенно непонятным причинам, решил забрать меня к себе.

А отец отдал, как ненужную вещь, велел забыть о нём и о маме навсегда, считая, что они до конца и с честью выдержали своё тяжёлое испытание.

Я вспомнила свои давние фантазии — выйти замуж, навсегда уехать и забыть их... но ведь это должно было произойти потом, когда я вырасту... Я хотела выйти замуж за человека, который будет меня любить, за нормального, за еврея, а не быть вещью, выброшенной на съедение этим жутким испанцам. Мне стало по настоящему страшно.

А мама... она даже не зашла сюда, она уже почувствовала себя свободной. Помучившись ещё некоторое время обидой и страхом, я вытянулась на кровати, прижала к себе куклу и заснула.

Разбудила меня громкая, весёлая музыка на соседней улице. Там праздновали свадьбу. Песен, музыки и лакомств хватало на наших свадьбах всем, кто хотел поздравить молодых.

Мы, дети, не пропускали ни одной. Я сорвалась с кровати, наскоро переоделась и помчалась на улицу, ведь это была моя последняя еврейская свадьба.

Все соседки и подружки были в сборе. Толстенная Рахиль, набив рот медовым пирогом, отломив мне кусок, уже успевший слипнуться в её ладони, и сообщила:

— Невеста сегодня уж больно весёлая. Мама говорит, её родители и не надеялись довести дело до свадьбы. Жених очень строптивый попался, но богатый. А ты чего не ешь? Живот болит?

— Да нет, за обедом объелась.

— Это не страшно. Как пойдём плясать, так всё и растрясёшь.

Я с завистью смотрела на веселившуюся невесту; её душу явно не царапал зверёк с острой мордочкой. Почему это не моя свадьба? Почему мне нельзя здесь остаться? Почему...

В этот момент музыканты заиграли наш любимый танец. Его танцевали на каждой свадьбе, и не было ни одного гостя, который смог бы устоять на месте. Рахиль, отбросив в сторону недоеденный пирог, сорвалась с места и, взметнув юбками, умчалась в круг.

Я уныло поплелась за ней, на ходу подстраиваясь под знакомый ритм. А мелодия, лёгкая и призывная, уже по-хозяйски проникала под кожу и заполняла тело. Она плескалась в кистях рук, бурлила в ногах и затаивала в свой круговорот душу. Полёт рук, кружение ног, вздыбившийся парус кружевной юбки — это был мой последний еврейский танец, моё прощание.

Глава 2

Странная, пожилая, ничем не примечательная пара, как будто умышленно одетая в неброско-серое, передала отцу какой-то пакет с бумагами, молча указала мне место в карете и быстро покинула еврейское поселение. Мы выехали рано утром; улица ещё спала, так что соседям пришлось потом самим домысливать, куда исчезла младшая дочь ювелира.

Я впервые оказалась за пределами нашего местечка, хотя в книжках старшего брата читала о больших городах, рассматривала высоченные соборы и замки на цветных картинках и мечтала увидеть всё это когда-нибудь своими глазами, но... сейчас мне было не до них. Забрызганные дождём и грязью окна кареты, напряжённо молчащие неброско-серые спутники, тоска и урчание в пустом желудке.

Дорога казалась бесконечно длинной. Наконец карета остановилась у особняка с колоннами, и пожилая пара, неуверенно переглянувшись, повела меня за собой. Путешествие по роскошным комнатам закончилось в уютной голубой гостиной. Там, расположившись в удобных креслах, сидели дама с брошками и мужчина с серо-голубыми глазами, назвавшийся моим отцом. Он указал мне на третье кресло, стоявшее напротив:

— Садись, Лия. Ты наверно устала с дороги.

Я присела на самый краешек, боясь испачкать это чудо дорожной пылью и самой собой. Какой нелепой чувствовала я себя среди этой роскоши! Серая, ссутулившаяся кучка с ладонями, зажатыми между коленок.

Они оба разглядывали меня, как мокрого уличного котёнка, а я не знала, куда деть свои ноги в больших ботинках, заказанных мамой на вырост.

Молчание прервал мужчина. Он внимательно смотрел мне в глаза, в отличие от отца, не морщась и не отводя взгляда:

— А у тебя и в самом деле мои глаза и светлые волосы, как у меня в детстве. Я полагаю, что... этот ювелир... объяснил тебе суть дела. Ты не его дочь, а моя, и я хочу, чтобы ты жила со мной, вернее — с нами.

— А зачем Вам это нужно? — мой страх перед испанцами вырвался наружу прежде, чем я успела подумать.

В разговор вступила пожилая дама, хранившая до сих пор величественное молчание:

— Мы принадлежим к старинному испанскому роду очень высокого ранга, и ты оказалась единственной наследницей нашего титула и состояния. И не смотри на нас с таким ужасом. Здесь тебя никто не съест. Кстати о еде — твой живот уже урчит от голода. Сейчас тебя проводят в твою комнату. Умойся с дороги, причеши волосы и спускайся в столовую. Она позвонила в колокольчик, и на пороге появилась молодая симпатичная женщина в переднике и наколке на волосах. Она вежливо поклонилась мне, назвав барышней, и указала рукой в направлении лестницы.

«Моя» комната оказалась совершенно не пригодной для жилья; на неё можно было только смотреть, ни к чему не прикасаясь, чтобы не испачкать и не повредить. Добросовестно выполнив указания пожилой дамы, я спустилась вслед за горничной в столовую. Боже! Такого не было даже на картинках!

Примостившись на краешке указанного мне стула, я с ужасом смотрела на многочисленные вилки, ножи, тарелки и бокалы, громоздившиеся на столе. Зачем пачкать столько посуды? Ведь её потом придётся мыть... Кроме мужчины и дамы с брошкой за столом сидела ещё одна, очень красивая молодая женщина с маленькими пухленькими руками, ставшими на долгие годы предметом моей постоянной зависти. Хозяин дома, предупреждаясь взглянув в мою сторону, представил нас:

— Это новый член нашей семьи, моя дочь Елена, которую, как ты знаешь, пришлось очень долго разыскивать. А эта очаровательная молодая дама, — он поклонился в сторону прелестных ручек, — Элеонор, моя жена, которая обещала стать лучшей матерью на свете, — в его голосе явно прозвучали иронические нотки, — Надеюсь, вы подружитесь. Мне вспомнилась постоянная ирония отца, когда он обращался к маме. Неужели все мужья так разговаривают со своими жёнами?

Пожилая дама, молча наблюдавшая сцену знакомства, взмахнула рукой, дав команду начинать ужин. Слуги почему-то не ставили еду на стол, а протягивали полные блюда откуда то из-за спины каждому по очереди. Присутствующие перекладывали на свои тарелки небольшие порции и, выбрав одну из многочисленных, лежавших перед ними вилок, начинали аккуратно склёвывать корм. Я не имела ни малейшего понятия о предназначении предметов, разложенных перед моей тарелкой, смутилась и ...

— Елена, не надо смущаться. Всеми этими премудростями ты овладеешь завтра, а сегодня ешь, как умеешь, а потом — спать, — пожилая дама улыбалась мне по домашнему уютно и доброжелательно. Наскоро затолкав в себя первое предложенное блюдо, я поблагодарила и откинулась не спинку стула. Скорее бы этот вечер закончился. Самый длинный и трудный вечер в моей жизни!

Позже, юркнув в непривычно длинную и широкую кровать, я принялась размышлять о своих новых родственниках. Как мне к ним обращаться? Пожилая дама — это бабушка, но само понятие «бабушка» вызывало у меня ощущение чего-то злобного и ядовитого, от которого лучше всего держаться подальше. Как же можно применить это название к даме с брошками? Оно ей совершенно не подходит.

А слово «отец»... Это слово вызывало ощущение мощной, напряжённой глыбы, готовой в любой момент сорваться с горы и раздавить своей тяжестью. Он тоже был опасен, но по-другому, чем бабушка. Установив необходимую дистанцию, он держал меня на коротком поводке, не давая приблизиться, но и не отпуская совсем. Он был величественным, и его величие вызывало восхищение. Разве это понятие может подойти к узкому, как кипарис, испанскому негодяю? Ладно, ладно. Не буду его так называть. Просто это словосочетание прилипло к моему сознанию с детства.

Интересно, что чувствует сейчас мама? Меня никогда не интересовало, умна она, или глупа, хорошая она хозяйка, или непутёвая. Её тёплый бок, запах, чувство защищенности... это было самое главное в понятии «мама». Разве можно применить всё это к Элеонор? Я представила себе, как подхожу и начинаю обнюхивать её бок. Она решила бы, что итогом романтической любви её мужа стала собака.

Старший брат научил мою голову думать, и теперь она была моей единственной помощницей. В ней появилась интересная мысль: а что такое «название»? Это просто сочетание звуков или букв, которыми обозначают предметы. Например, стол, будь он круглым, квадратным или прямоугольным, всё равно называется столом. Звуки и буквы вовсе не обязательно связывать с внутренним содержанием предмета, с чувствами, которое он вызывает. «Бабушка» — это не обязательно злость и яд, а «отец» — не обязательно неприступная скала. Люди, названные этими именами, могут быть такими же разными, как и столы. А Элеонор, кстати, и не предлагала называть себя мамой. В этот момент я вспомнила, как отец представил меня за ужином: «Это моя дочь, Елена». Значит, имя Лия он уже отменил, хотя суть моя и чувства остались прежними. В самом деле, что может быть общего между названием и сутью? Пожалуй, я смогу привыкнуть называть пожилую даму — бабушкой, мужчину с голубыми глазами — отцом, а Элеонор... она так и останется — Элеонор.

Решив сложную проблему с названиями родственников, моя умная голова успокоилась и заснула.

На следующий день, одетая и причёсанная под настоящую барышню, я снова сидела в голубой гостиной, напряжённо прислушиваясь к объяснениям бабушки. Она, собственно, повторяла то, что сказал еврейский отец, только с другой стороны:

— Мы забрали тебя к себе, так как ты единственный ребёнок, родившийся в нашей семье; брак моего сына с Элеонор оказался бесплодным. Но эта ситуация опасна в равной степени для тебя и для нас. Никто и никогда не должен узнать о твоём полуеврействе. Ты должна навсегда забыть его. Элеонор, как и всё прочее наше окружение, убеждены в твоём незаконном, но благородном происхождении. Мы приобрели все необходимые бумаги, где имя матери просто не указано. Ты очень похожа на мою маму, твою прабабушку, и это наш главный козырь.

Она подвела меня к портрету молодой, очень красиво одетой женщины:

— Смотри. Это она.

Я разглядывала лицо, повёрнутое в пол оборота, оттенённое полями широкополой шляпы, накинутую на плечи кружевную шаль, гордо вскинутый подбородок, грустную полуулыбку..., и не находила ничего общего между нею и мной. Разве что большие серо-голубые глаза. Бабушка, заметив мои сомнения, рассмеялась:

— Когда ты вырастешь, ты станешь такой же красивой. И волосы с годами тоже потемнеют, как у твоего отца.

Отец, всё это время, молча наблюдавший за нами, встал с кресла, подошёл совсем близко, повернул меня к себе и внимательно заглянул в глаза.

— Елена, ты боишься даже посмотреть на меня. Я понимаю. Ты с детства напугана рассказами об испанском злодее... Забудь... Это мои счёты с теми людьми, вернее их счёты со мной, а сегодня я рад, что так получилось, потому что у меня есть ты. Через пару лет, когда станешь старше, задашь мне все вопросы, которые крутятся сейчас в твоей голове, и я обязательно отвечу на них, а сейчас прошу об одном — не бойся меня, я не причиню тебе вреда. Надеюсь, со временем мы станем друзьями.

Я молча привыкала к незнакомому лицу, и оно начинало мне нравиться.

Бабушка опять переняла инициативу:

— В ближайшее время нам всем придётся много поработать. Мы составили целую программу твоего обучения. Барышня нашего уровня должна владеть основными

европейскими языками — сейчас, в связи с политической ситуацией, очень важны французский и английский, несколько позже, возможно, придётся добавить к ним итальянский и немецкий. Кстати твой испанский тоже придётся отшлифовывать. Этикет и манеры стоят в программе на первом месте, за ними идут история, искусство, музыка и танцы. Многие современные девушки интересуются сейчас даже такими отраслями, как философия, математика и политическая экономика. В общем, работы много. Мы рассчитываем на твоё усердие и очень надеемся, что ты нас не разочаруешь. Ты согласна со мной?

Последняя фраза резанула мне по ушам, отдавшись ударом кнута во всём теле. Они надеются, что я их не разочарую! Они вырвали меня из привычной жизни, даже не спросив, хочу ли я к ним ехать, посадили на место законной наследницы, которая по какой-то причине не появилась, и теперь я должна им доказывать, что достойна этого места... Столько лет я пыталась доказать своей первой семье своё право на существование, а они выбросили меня, как ненужную вещь... Теперь нужно начинать этот бег с начала... Так кружится по арене цирковая лошадь под ударом кнута...

— Елена, ты не ответила на мой вопрос.

Сглотнув застрявшее в горле чувство протеста, я молча кивнула головой.

— Ладно. Я, кажется, не на шутку напугала тебя предстоящими трудностями. Пойдём лучше посмотреть наш парк, — бабушка взяла меня за руку и повела на прогулку.

Обучение по составленной семейством программе продвигалось без особых трудностей. Языки и математику преподавали специально приглашённые для этого учителя, историю и искусство — отец, а этикет, музыку и вышивание — Элеонор. Как оказалось, природа одарила меня способностями очень неравномерно, и именно то, к чему у меня их вообще не было, досталось бедняге Элеонор. На первом же занятии по музыке она убедилась в моей полной несостоятельности. Пропев глубоким низким голосом простенькую мелодию детской песенки, она попросила её повторить. Несмотря на все старания, моё горло прорычало нечто вовсе не похожее на человеческое пение.

— Елена, перестань кривляться. Я занимаюсь с тобой серьёзно.

Бездарная ученица предпочла чистосердечное признание:

— А не умею петь. У меня нет музыкальных способностей.

— Такого не бывает. Каждая женщина должна уметь петь. Попробуй ещё раз.

После четвёртой попытки Элеонор, с недоумением глядя на меня, задумчиво произнесла:

— Да. Такого я ещё никогда не слышала.

Вечером за обедом отец поинтересовался ходом музыкальных занятий. Элеонор, взглянув на него не без злорадства, бодро ответила:

— Боюсь, что Елене не удастся завоевывать внимание женихов исполнением романсов.

Она явно намекала на первые влюблённые взгляды и вздохи своего мужа, очарованного её тонкими руками и бархатным голосом.

— Ну что ж. Значит, ей придётся выбрать другое оружие, — отец заговорщицки подмигнул мне, — Елена, чем ты собираешься завоёвывать женихов?

— Буду им романсы декламировать.

Бабушка рассмеялась:

— Ну тогда точно останешься старой девой...

— И буду вас радовать своим присутствием до конца жизни, — закончила я начатую ею фразу.

— Что касается меня, — отец продолжил начатую игру,— то не имею ничего против такого решения. Я, будучи человеком экономным, очень неохотно отдаю в чужие руки то, что принадлежит мне.

— Особенно Ваша последняя покупка картин говорит об особой склонности к экономии.

Это ядовитое замечание Элеонор резко оборвало весёлый разговор. Отец передёрнул плечами и замкнулся. В такие моменты он был удивительно похож на моего отца-ювелира.

Через полгода семейство сочло мой испанский язык вполне отшлифованным, а знание этикета приемлемым для предъявления свету. С этой целью бабушка разослала приглашения нескольким семьям, пользовавшимся её особым доверием. Они должны были первыми познакомиться с наследницей и разнести слух о её невероятной схожести с прабабушкой.

Семейство, обеспокоенное предстоящим визитом, наперебой напоминало мне о светских манерах и этикете. Наконец я не выдержала:

— Но ведь меня все эти годы воспитывали простые люди. Откуда я их могла приобрести, эти ваши манеры? Я...

Бабушка резко оборвала мой монолог:

— Манеры не приобретаются. Они передаются по наследству из поколения в поколение. Благородство — это врождённое качество, а ты — потомственная дворянка с обеих сторон. И не забывай этого никогда!

Экзамен прошёл благополучно. Я продемонстрировала своё врождённое благородство, отец и Элеонор — большую любовь друг к другу и к долгожданной дочери, бабушка — постоянное умиление схожестью правнучки с прабабушкой, а любопытные соседи, как это и было замыслено, отправились развозить по округе свои суждения и догадки о, бог знает, откуда появившейся наследнице.

Вскоре плавное течение нашей жизни было нарушено событием особой важности. Разбирая за завтраком полученные письма, отец вскрикнул от радости:

— Письмо от Филиппа! Наконец-то! А я уж было подумал, что этот мальчишка нас окончательно забыл. Оказывается, он всё это время провёл во Франции. В полном восторге от архитектуры, живописи и ... Собирается на следующей неделе приехать сюда.

Бабушкины глаза загорелись радостью.

— Это замечательно. Я последнее время уже начала тревожиться. Разве можно так поступать с близкими людьми — просто взять и исчезнуть...

Моё любопытство было разбужено этим всеобщим восторгом:

— А кто он, этот Филипп? Он наш родственник?

Как всегда в важные моменты семейной жизни, объяснение дала бабушка:

— Он нам почти родственник. Его бабушка была моей близкой подругой. Филипп остался с девяти лет круглым сиротой и воспитывался у своего дяди, занимавшего очень высокий пост при дворе нашего Короля, Карла IV. Дяде часто приходилось надолго уезжать, и тогда мы забирали мальчика к себе. Иногда Филипп жил здесь по полгода, всегда очень неохотно возвращаясь обратно к дяде. Ему сейчас должно быть уже девятнадцать. Для твоего отца он как младший брат.

— Да, — добавил отец, — раньше с Филиппом было просто легко и весело, а сейчас он стал взрослым и умным. Сейчас с ним не только весело, но и интересно.

Я ещё никогда не видела лицо отца таким нежным, и такой мальчишеской улыбки тоже не видела.

— Ну вот, — как всегда невпопад, проворчала Элеонор, — опять поставите весь дом с ног на голову.

У меня было ощущение, что она ревновала своего мужа ко всему, что не было связано с ней. Отец пожал плечами, а бабушка срочно перевела разговор на другую тему.

Через неделю карета, ещё более роскошная, чем все наши, подкатила к крыльцу дома. Молодой человек, стройный и подвижный как мой отец, выскочив из неё почти на ходу, влетел в гостиную и буквально схватил бабушку в охапку. Она, начисто забыв об этикете, целовала его в обе щёки, ерошила волосы и причитала:

— Боже! Какой взрослый, какой красивый... живой и здоровый.

То же самое гость повторил и с моим отцом. Только тот конечно не причитал, но хлопал его по плечам, смеялся и грозился в следующий раз побить за долгое отсутствие. Угомонившись, молодой красавец галантно поклонился Элеонор, поцеловал протянутую ручку и, по всем правилам, отдал должное её красоте и особой изысканности туалета.

Наконец очередь дошла до меня. Он с откровенным любопытством разглядывал новое приобретение семьи, и, не найдя по-видимому ничего, что противоречило бы его вкусу, обратился с весьма своеобразным приветствием:

— А это, как я понимаю, Елена... Елена, приветствую тебя на нашей общей территории. Раньше я был здесь единственным невоспитанным ребёнком, а теперь нам придётся делить внимание родственников на двоих. Будем вместе творить негалантности и безобразия, а... — он скосил глаза на бабушку, — наказания, поделённые пополам, всегда слаще, чем проглоченные в одиночку.

Бабушка, как всегда, когда меня предъявляли новым людям, запела свою любимую песню:

— Филипп, ты заметил, как Елена похожа на мою маму? Такая же красавица. Ты ведь должен её помнить, хотя был тогда ещё совсем мальчиком.

Филипп, нежно склонившись к бабушкиной руке, заявил деланно серьезным тоном:

— Сейчас я наверняка уделю бы всё своё внимание красивой женщине, но тогда... тогда меня, почему-то, больше интересовали вишни в Вашем саду.

— Кстати о вишнях. Я как чувствовала, что ты приедешь. Не велела собирать их с твоего дерева. Его даже Елена, хоть она и носится целыми днями по парку, не обнаружила. Ты поделишься с ней своей тайной?

— Не поделюсь. Тайнами не делятся. Их выдают за особые заслуги.

Я решила, что уже можно включаться в игру:

— Ну конечно. Делятся пополам только наказаниями, а тайны, как лакомства, приберегают для себя и глотают в одиночку.

Все посмеялись над удавшейся шуткой, а замечательный гость, осыпав меня весёлыми искорками своих тёмно-коричневых глаз, важно произнёс:

— Чувствую, это лето будет самым весёлым в моей жизни.

Лето было и в самом деле очень весёлым. Нашу семью как подменили. Обычно в доме царил мрачная, тяжёлая атмосфера — все и всегда были недовольны жизнью и друг другом. Отец, более тонкий и чувствительный, чем окружавшие его женщины, чувствовал себя рядом с ними одиноким и непонятым. Они действительно не разделяли его страсти к искусству. Он постоянно разъезжал по стране, иногда не появляясь дома неделями, в поисках новых чудес. Живопись, скульптура, книги и театр были его жизнью. Он сам писал время от времени неплохие пьесы и ставил их в домашнем театре, приглашая для этого передвижные театральные труппы.

Занятия с ним по истории были так же интересны, как когда-то уроки в ювелирной мастерской. Он учил меня думать. Обсуждая какое-нибудь событие из древней истории, он выкладывал на столе несколько книг:

— Смотри, первый автор описывает этот эпизод так, а у второго он выглядит совсем иначе. Что ты думаешь по этому поводу?

— Наверное, один из них всё переврал... или оба, но по-разному.

— Мне тут недавно попало в руки совсем новое исследование, ранее неизвестные материалы. Там приводятся новые подробности о политических и экономических интересах того времени. Я сопоставил это всё вместе и написал свою версию. Прочти на досуге, а потом вместе обсудим.

Уроки с Элеонор по светским манерам и этикету проходили совсем иначе.

— Бокал принято держать за ножку во второй её половине. Ты должна захватить его между большим и указательным пальцами, а мизинец отвести в сторону, слегка согнув.

Я добросовестно повторяла за ней это нелепое движение:

— Но ведь это неудобно, и вовсе даже не красиво — палец торчит в сторону, как рог, а бокал вот-вот выскользнет и разобьётся.

Элеонор не считала меня вправе сомневаться в красоте и смысле хороших манер. У неё был только один аргумент:

— Так принято. Мы все так делаем.

То же самое было с музыкой и вышиванием. Вопросы и обсуждения категорически пресекались. В разговорах с отцом она всегда называла меня — «твоя дочь», давая этим понять, что ребёнок, рождённый ею, был бы наверняка более высокого качества. Вообще всё, что он делал, было с её точки зрения глупо и нелогично. Зачем мотаться по округе в поисках произведений искусства, если всё самое лучшее находится дома? Истинные произведения искусства, её платья, находятся у неё в шкафу — открой его и любуйся, сколько хочешь. Нужна красота — смотри на моё лицо и руки, душа требует музыки — я готова играть и петь для тебя целый день. Она хотела иметь мужа всегда при себе, а он... он постоянно сбегал от неё в свой мир. Дома маска обиды и разочарования казалась, навсегда присохла к её лицу. Только на светских приёмах потоки комплиментов её красоте и музыкальности смывали эту маску, давая отдых уставшей коже.

От бабушки тоже исходило мало тепла. Она полностью погрузилась в управление домом, муштровку прислуги и рациональное финансирование. Общественное мнение и положение в обществе, соответствующее статусу нашей семьи, было её главной заботой и добровольно взятой на себя обязанностью. Она молча наблюдала за не сложившейся супружеской жизнью сына, но никогда не вмешивалась. Может, потому, что не считала себя вправе, а может разумно понимала, что изменить двух взрослых людей всё равно не сможет. Её, почти всегда грустные глаза, оживлялись только тогда, когда она говорила о прошлом или о своей матери. Неужели она была когда-то так же по-животному привязана к своей маме, как я к своей?

Однажды даже представила себе картину: бабушка, согнувшись перед портретом гордой красавицы, украдкой нюхает край нарисованного платья. Неужели она чувствует себя в этом доме так же одиноко, как и я? Собственно мы все были друг с другом одиноки.

Появление Филиппа поставило всё с ног на голову. Его тепла и веселья хватало на всех, он буквально заряжал дом любовью. Элеонор позабыла о своей маске, отец потерял интерес к историческим трактатам, бабушка — к прислуге и общественному мнению, а я... я была счастлива каждой минуте уделённого мне внимания.

Способности и интересы нашего чудесного гостя не имели границ. Иногда он часами музицировал с Элеонор. Его низкий, глубокий голос, переплетаясь с её бархатно-нежным, превращал любой простенький романс в поэму любви. В его тёмных глазах, окружённых густыми девичьими ресницами, мерцали звёзды. Этот голос и эти звёзды впервые разбудили

во мне то чувство щемящей нежности, которое я потом назову — потребность любить. В такие минуты даже отец смотрел на свою жену без раздражения.

С неменьшим восторгом отец и Филипп, оседлав лошадей, уезжали на охоту, привозя домой одного подбитого зайца на двоих, так и не разобравшись, кто же его на самом деле подстрелил.

Вечерами он уютно устраивался у бабушкиных ног и слушал рассказы о сложных переплетениях родственных связей, о его матери, которую моя бабушка знала с детства и о нём самом, робком, замкнутом мальчишке, когда-то впервые переступившем порог этого дома. Филипп гладил её руки, а она, слегка наклонившись, шептала ему в ухо что-то нежное и успокаивающее.

Почему она никогда не была так нежна со своим сыном? Почему её сын никогда не гладил её рук? Почему он ни разу не обнял свою жену за плечи, нащёптывая в ухо ласковые слова. Почему за всё это время никто ни разу не прикоснулся губами к моей щеке? Неужели в этой семье умели любить только чужих? Им нужен был Филипп, чтобы вспомнить, что любовь и нежность ещё существуют?

В такие минуты я испытывала острое чувство зависти к нему. Почему он, а не я наполнила этот мрачный дом радостью и светом. Я вошла в него почти незаметно, моментально слившись с атмосферой сдержанного уныния, а он, появившись лишь на мгновение, тут же разбудил к жизни это сонное царство.

Завидуя Филиппу, я понимала, что всё справедливо. Он был талантлив, он был как... элегантная водяная лилия, широко раскинувшая свои лепестки навстречу солнцу и щедро опьяняющая своим ароматом каждого, кто к ней приближался, а я... я была сухой ёлочной шишкой, плотно сомкнувшей свои чешуйки, ни кого не впуская внутрь и никому ничего не даря.

Я сама заковала себя в эту чешую, боясь показаться назойливой, лезущей туда, куда меня не звали, решив, что только особые успехи и заслуги, дадут мне право на место, предназначенное не мне. А Филипп... ему не нужно было ничего доказывать, он был той долгожданной лилией, которой все заранее рады.

В его присутствии даже я, сухая еловая шишка, открывала свои чешуйки и радовалась жизни. Мы носились по парку, соревнуясь, кто быстрее добежит до ягодного куста, танцевали бальные танцы вдвое быстрее, чем это было принято, украшая их немислимыми поворотами и прыжками. По секрету от взрослых, Филипп обучал меня акробатическим трюкам, восхищаясь гибкой спиной и азартом своей ученицы. Однажды он важно заявил:

— Я думаю, пора открыть тебе вишнёвую тайну. Пошли.

Мы долго плутали по парку, кружили по тропинкам, уходившим в густые, неухоженные заросли, но неизменно выводившим нас опять на главную аллею. Наконец хранитель тайны выразил своё неискреннее отчаяние и предложил мне, положившись на волю божью, самой отыскать заколдованное место. Естественно, я давно знала, где скрывается вишня, но игра есть игра. Много лет назад это странное дерево сбежало с бабушкиной вишнёвой плантации и спряталось за большим серым валуном, решив, что лучше добровольно сбрасывать свои ягоды прямо на землю, чем позволять ежегодно общипывать себя на варенье. Оно гнулось под тяжестью спелых вишен, остававшихся для нас недоступными — ствол был прямой и гладкий, а ветви начинались слишком высоко.

Филипп присел на корточки, подставив мне шею:

— Садись на меня, как на лошадь. Надеюсь, бабушка не откормила тебя своими орешками в меду, как рождественского гуся.

Удобно устроившись на его шее, я дала команду к подъему.

— До чего может довести человека любовь к вишням. Он готов совершить прыжок в высоту с гусём на шее, — ворчал Филипп.

— До чего может довести гуся любовь к вишням? Он готов совершить полёт в высоту на шею черепахи.

— Ладно, ты, черепаха, бери мою шляпу и наполняй её продовольствием.

Через некоторое время седло подо мной опять заворчало:

— Гусь, а гусь, спой песенку.

— Петь не умею, могу каркнуть.

— Ну, хоть каркни.

— А зачем?

— Если вишни изо рта посыплются, значит, шляпа ещё пуста.

— Сейчас дожую последнюю пригоршню и каркну.

Опустив руку с полной до краёв шляпой, я разрешила черепахе идти на посадку.

Мы шли по тропинке в сторону дома и поедали собранные ягоды.

— А ты обещала каркнуть.

— Сейчас уже поздно. Продовольствие в шляпе.

— Потому-то в самый раз. Ты каркаешь, а я ем.

— Лучше ты спой мне любовный романс, а я доем вишни. У тебя это так трогательно получается.

— Вот уж надумала. Любовных романсов захотелось!

У тебя, гусёнок, нос

До романсов не дорос.

Твои романсы ещё впереди. Вырастешь — наслушаешься...

Последнюю вишню мы разыгрывали уже на пороге дома.

Вскоре Филипп заговорил об отъезде. Он планировал серьёзно заняться своим образованием, хотел переехать во Францию и поступить в Сорбонну. Отец бурно обсуждал с ним планы на будущее, а мы — бабушка, Элеонор и я, — заранее грустили.

После его отъезда дом опустел и опять уснул.

Я часами сидела под нашей вишней, вспоминала все подробности совместных «безобразий», каждый раз переживая их заново, мысленно улучшая свои ответы и дополняя новыми деталями. Почему с ним так легко? Может быть потому, что ему ничего не надо доказывать? Я получила его симпатию просто так, в подарок.

Нет. Это неправильно. Мы дружбой и симпатией обменялись.

В один из таких дней я сделала для себя новое открытие: любовь и доверие не заслуживают — их, прежде всего, дают, а я не умела давать, не умела любить. Я была не засохшей еловой шишкой, а замёрзшей холодной сосулькой, чувствовавшей только свою боль и, не замечая, что у других тоже есть душа. Это было второе важное открытие в моей жизни: уметь любить гораздо важнее, чем правильно считать или держать бокал. Это гораздо важнее, чем... красиво обтачивать камни.

Через неделю мне исполнилось десять лет. Ко дню рождения отец подарил мне пони.

Бабушка была первой, кому я пошла навстречу, посмотрела в глаза и заглянула в душу.

Однажды, присев на скамеечку у её ног, как это делал Филипп, спросила о её матери:

— Ты часто говоришь о нашей похожести. Расскажи, какой она была.

— Тебе это, в самом деле, интересно? Раньше ты никогда об этом не спрашивала.

— Ну, это было раньше. Теперь я стала взрослее.

— Я не знаю, что ты хочешь о ней знать. Спроси точнее.

— Ну, каким она была человеком? Какую она прожила жизнь?

— Она родилась во время очередной войны. Тогда Испания всё время с кем-то воевала.

Она... ну, в общем, как и ты... её отцом был случайный голубоглазый, светловолосый викинг, который сразу исчез, оставив в наследство цвет своих глаз и волос. Позднее, она говорила, годам к двенадцати, её волосы потемнели. Мама вышла замуж за испанца и родила ему семерых детей. Они все были разноцветные — голубые глаза и тёмные волосы, карие глаза и светлые волосы... Только я, самая младшая, и мой старший брат были похожи на отца. По странному стечению обстоятельств светловолосые дети не приживались на испанской почве; они все умирали или в младенчестве, или в ранней молодости. Мой отец был человеком очень непрактичным, да и вообще время было тогда трудное. Вся страна обнищала, и мы вместе с ней. Одним словом, жизнь у мамы была тяжёлая. В смерти детей муж обвинял жену, говорил, что все её дети — меченные. В конце концов, он завёл себе какую-то любовницу и исчез.

— А как же она одна со всем этим справилась?

— Моя мама была не только очень красивой женщиной, но и очень умной. В обществе она, как наша Элеонор, блистала юмором, образованностью и вкусом. У неё было много почитателей и друзей среди влиятельных особ. Я уж не знаю, как ей это удалось, но они помогли ей получить какой-то патент на торговлю и одолжили начальный капитал. В общем, финансовую жизнь ей удалось наладить, а вот дома... дома она всегда была раздражительной и недовольной, или просто не хватало на нас ни времени, ни сил. Хотя нечего на неё грешить. Маме удалось, благодаря знакомствам, устроить сыновей на хорошие места. Они стали потом очень состоятельными людьми, а нам, дочерям, собрать вполне приличное приданное. Так что замуж мы выходили не бесприданницами. Себе на старость она оставила очень мало, думала, что сможет ещё заработать, но дела почему-то разладились и она осталась ни с чем. Последние годы мама очень страдала от одиночества и нехватки денег, но от нашей помощи отказывалась наотрез.

— Её тоже звали Елена?

— Нет, она была Изабеллой, но я не хотела, чтобы ты повторила её жизнь и предложила твоему отцу выбрать другое имя, на его вкус. Это он называл тебя Еленой.

Я взяла бабушку за руку и прислонилась к её плечу. Она не оттолкнула меня, как это делала мама, а притянула ещё ближе и поцеловала в голову. Она была удивительно тёплая и уютная.

— Бабушка, значит, я тоже скоро умру? Я ведь светловолосая.

— Когда ты последний раз смотрелась в зеркало?

— Сегодня утром.

— Пойдем, — она подвела меня к зеркалу, — Где ты видишь светлые волосы? Они у тебя с каждым днём становятся всё темнее, только вот здесь, — она приподняла прядь волос под левым ухом, — осталась тоненькая белая полоска. Девочка, ты проживёшь долгую и счастливую жизнь. Я тебе обещаю.

— Только ещё один вопрос, пожалуйста. Скажи, а ты свою маму любила?

Бабушка сосредоточенно смотрела на портрет, как бы заново оценивая давно знакомые черты.

— Я думаю, в молодости она казалась мне слишком независимой и далёкой, что бы её любить, а в старости...я испытывала к ней острое чувство жалости, но не решалась это

показывать. Она была слишком гордой, что бы принять жалость. Так мы с ней и прожили, почти не соприкоснувшись друг с другом.

В этот момент я испытывала острое чувство жалости к бабушке.

— Всё, мы слишком заболтались. Иди спать. До завтра.

Я легла в постель, продолжая размышлять о бабушке и о себе. Неужели любви учатся с детства, как музыке или языку? Может ли взрослый человек научиться любить, если он не был любим в детстве? Что могут люди, выросшие в одиночестве, оставить своим детям в наследство? Неужели мои будущие дети тоже обречены на одиночество?

Нет. Тут что-то не так. Филипп, по бабушкиным словам, тоже был робким и замкнутым мальчиком, выросшим без родителей. Тогда откуда в нём столько тепла? Сегодня мне в этом, пожалуй, не разобраться — придётся отложить на потом. Вспомнила, что завтра у нас с отцом урок верховой езды; мы с пони будем учиться прыгать через препятствия, а значит пора спать.

Прыжки были нашим слабым местом. Я вжималась всей своей тяжестью в хребет маленького скакуна, а он, остановившись в двух шагах от барьера, упрямо наклонял голову и делал вид, что рассматривает сидящую в траве бабочку. Мне вспомнилась шутка Филиппа: «Ради вишен человек готов совершить прыжок с гусём на шее...» — и предложила отцу простейшее решение:

— Давай привяжем по ту сторону барьера пару сочных морковок. Тогда он может быть и прыгнет.

Отец почему-то моё предложение не одобрил:

— Если бы ты совершала прыжки на осле, тогда морковки, безусловно, сработали бы, а с пони... попробуем ещё раз мою методу, а если не получится — вернёмся к твоей. Ты должна облегчить ему прыжок — приподняться на ногах и убрать вес с его спины. Ты стоишь на стременах, наклонив верхнюю часть тела вперёд, как бы слившись с лошадью в единое целое. В этот момент вы неразделимы, вы прыгаете вместе. Я покажу тебе ещё раз.

Мой тренер слился со своим чёрным жеребцом в единое целое — оба длинноногие, сильные, стремительные. Две каштановые волнистые гривы, взметнувшись вверх, на мгновение повисли натянутой струной в воздухе и мягко опустились на траву. Мы с пони охнули от восторга и переглянулись; пожалуй, мы тоже можем слиться в единое целое — оба приземистые, азартные, с одинаковыми светло-коричневыми густыми гривами. Взяв разбег, я, перед самым препятствием, оторвала свой вес от его спины, наклонилась вперёд... и мы взлетели. Повисев пару секунд в воздухе, пони мягко опустился передними ногами на траву, а я... продолжила полёт в одиночестве, совершив мягкую посадку в метре от него.

Папа и пони смотрели на меня с сожалением, а гордый жеребец с презрением отвернулся от неумелой наездницы и приступил к поеданию своего обеда, сочного кустарника, окружавшего нашу поляну.

— Ну что, на сегодня хватит? — с сочувствием предложил отец.

— Как хватит? Мы ещё даже не начали прыгать! Пока мы только привыкаем друг к другу, — возмутилась я и опять вскарабкалась пони на спину.

Через час мы уже взлетали и приземлялись одновременно.

На обратном пути пришлось сделать остановку у горного ручейка — лошади устали и хотели пить. Струйка воды весело перескакивала по камушкам, ловила солнечные лучики, преломляла их в маленькие радуги и украшала ими берег, как цветами. Мы с отцом расположились в тени большого дерева. Я изучала свои царапины и ушибы, а он, прислонившись спиной к стволу, покусывал травинку и с любопытством наблюдал за моим лицом.

— Я давно хотел тебя спросить... что за человек — твоя мама? Какая она?

Вопрос застал меня врасплох. Знакомое чувство протеста запершило в горле. Как он смеет спрашивать о ней, своей жертве! В следующий момент я утонула в глазах отца, смущенных и просящих.

— Почему тебе это важно?

— Но ведь одна половина тебя принадлежит ей. Она такая же сильная, как ты?

— Не знаю. Я не успела её понять. Пожалуй, нет, она не сильная, скорее скрытная; она у них... всегда была во всём виновата... Мама не умела сопротивляться. Выполняла наскоро хозяйственные дела и уходила к подругам. Там было всегда весело... Знаешь, у моей мамы был чудесный смех, и шутила она очень забавно... только на меня времени у неё никогда не хватало, или просто их боялась. Не знаю.

Он продолжал грызть свою травину, постукивая пальцами по голенищу сапога.

— Скажи, а как ты думаешь, муж любил её?

— Думаю, что нет... Он, так же как и ты... ты ведь тоже не любишь Элеонор?

— Откуда ты взяла?

— Это заметно. Ты смотришь на неё всегда с таким раздражением... хотя она очень красивая. Вы женились по расчёту?

Пальцы на сапоге выбили последнюю дробь и замерли. Отец долго изучал маленькие радуги, рассыпавшиеся по траве, пони, прилипшего к чёрному красавцу и тыкавшего его в бок круглой мордочкой. Похоже, мой вопрос озадачил отца.

— Нет, мы женились не по расчёту. Я бы не сказал, что речь шла о большой любви, скорее это была большая симпатия. Ты знаешь Элеонор — в обществе она совсем не такая, как дома. До свадьбы мы виделись только на людях, и по-настоящему познакомиться не успели, а потом было уже слишком поздно.

— Но ведь она такая красивая, всегда так элегантно одета и поёт замечательно. Разве этого мало, чтобы её любить?

— Оказывается, мало. В семейной жизни есть вещи важнее, чем красивые платья. И вообще... тебе не кажется, что задаёшь слишком много вопросов?

— Когда-то ты обещал ответить на все вопросы, которые крутятся у меня в голове, а сегодня они как раз крутятся, да ещё как.

— Ты забыла добавить еще одну мелочь; я сказал: «Когда ты вырастешь...»

Я вскочила и потянула его за руку, заставив подняться на ноги.

— Смотри, я достаю тебе почти до плеча. Значит, уже выросла.

Отец измерил меня взглядом и быстро выкрутился:

— Ещё мало. Вот когда дорастёшь до середины уха, тогда и спрашивай. А теперь пора домой — Элеонор наверняка уже облачилась к обеду в очередное новое платье и с нетерпением ждёт появления публики.

Этот день запомнился мне навсегда. Я впервые почувствовала, что у меня есть отец.

Глава 3

Дни тянулись за днями, мало отличаясь друг от друга, но каждый из них оставлял свой маленький след. Иногда это была царапина на щеке, прочерченная сухой веткой, иногда — первое в жизни приглашение на танец на детском балу. Прошло уже два года с тех пор, как я стала Еленой. А куда делась Лия? Порой казалось, что мы разделились — она так и осталась

жить там, в еврейском поселении, по прежнему помогает отцу в ювелирной мастерской, танцует с подружками на свадьбах, и терпит, как её мама, ядовитые замечания бабушки и её главной подхалимки, сестрицы с золотыми руками. Или она стала сильной и научилась защищаться? Кому из нас лучше — ей там, или мне здесь?

Эти воспоминания тревожили и пугали меня, ведь отец, мой первый, еврейский отец, велел всё забыть. Он сказал: «Если ты не забудешь нас, не забудешь, что когда-то жила здесь — погибнешь, потому что рано или поздно выдашь свою тайну», а я... я до мельчайших подробностей помнила их лица, голоса, жесты, мамин запах и смех.

Разве можно забыть пухленькую Рахиль и её рот, постоянно набитый пирогами? А нашу музыку и танцы?

Бывали недели и даже месяцы, когда я начисто забывала о прошлой жизни, а потом она снова нагоняла меня и захлёстывала с головой. В такие дни только в парке, среди деревьев и замшевших от мудрости камней, я чувствовала себя в безопасности.

кружилась по парку, мысленно справляя свой день рождения — не тот, что указан в испанских бумагах, а настоящий, Лиин. Сухая ветка, вцепившись в рукав платья, остановила бессмысленное кружение. Я попыталась вырваться из её цепких рук, но она, как назойливая цыганка, предлагающая погадать на жениха, тянула за рукав, требуя остановиться.

— Отстань, отпусти. Я не хочу знать своего будущего!

Оторвавшись от рукава, ветка впилась мне в волосы, повернув голову в сторону большого камня, из которого росло маленькое кривое деревце. Его ствол в начале жизни был прямым и гладким, но потом кто-то срубил живую вершинку, превратив её в сухой жалкий обрубок. Но дерево, решившее выжить, вытянуло из камня новые силы и выпустило рядом с обрубком свежую ветвь, которая упорно тянула к солнцу свои плоские широкие тёмно-зелёные листья. Так и остались они навсегда вместе — сухой обрубок и живая ветвь, сплетаясь в победную букву **V** — Viktoria.

Да ведь это — мы с Лией. Её существование оборвалось, дав начало моему. Разве могла новая ветка вырасти из воздуха, без ствола и корней? Разве могла появиться Елена, если бы не было Лии? Похоже, давая свой последний совет, мой мудрый еврейский отец что-то напутал, или, посвятив свою жизнь камням, он так и не понял человеческой души.

Вспомнилась бабушкина история о «меченых детях»; светловолосые не приживались на испанской почве — они умирали в детстве или в ранней юности. Светловолосая Лия не прижилась. Она ушла, уступив своё место темноволосой, жизнеспособной Елене.

Разум говорил, что всё это — плод разыгравшейся фантазии, но душа искала опоры, а ноги — покоя. На сегодня я их нашла.

Зима сменилась весной. Наш парк утонул в бело-розовой пене цветущих яблонь и миндаля. Дом ожил после зимней спячки и ждал приезда Филиппа, ждал радости, веселья, рассказов о Сорбонне, театрах и новинках парижской моды. Последние дни тянулись невероятно медленно, но взрослые уже заранее начали обмениваться мелкими знаками внимания, любезностями и даже шутками. Это были первые предвестники кратковременного семейного благополучия и любви, которым предстояло продлиться целый месяц.

Появление Филиппа, как бурные потоки воды после летней засухи, освежили и вернули нас к жизни. Мы зазеленели и расцвели, утопая в пене бело-розовых кружев: каждый получил свою долю подарков, любви и внимания. Бабушка — ласковое поглаживание рук, Элеонор — комплименты и любовные романсы, а отец — новинки французской литературы. Мне достались танцы и акробатические трюки верхом на пони.

Месяц пролетел, едва успев начаться, и мы уже стояли на пороге дома, махая руками вслед отъезжающей карете.

Я сидела под одинокой вишней, спрятавшейся от людей в дальнем углу парка. Она опять упрямо сбросила свою рубиновую роскошь в траву — пусть лучше сгниёт, чем достанется

людям. За что она так обиделась на них? Или просто, как привередливая женщина, предпочла монастырское одиночество постылому замужеству?

В моих мыслях всё ещё царствовал Филипп. До чего интересна и разнообразна его жизнь. Он носится по земле, всегда чем-то увлечённый и очарованный, окружённый друзьями, почитателями, и наверняка, толпами влюблённых в него женщин. Откуда у этого человека столько энергии, столько жизненной силы? Моя семья, в сравнении с ним, казалась скучной и банальной. В первую половину дня обсуждалось обеденное меню, а после обеда — творческие неудачи повара. Мясо всегда оказывалось пересушенным, а овощи — недосоленными. Для отца соседи были всегда недостаточно умны, а их жёны, по мнению Элеонор — безвкусны. Бабушка пристально наблюдала за свадьбами и рожденьями. Подходят ли жених и невеста друг другу по положению и богатству, как часто в семьях появляются дети. Частое появление детей, по её мнению, вредно сказывалось на здоровье жены, а редкое... говорило о неверности мужа.

Они все были подобны рубинам, лежащим в дальнем углу стола и терпеливо ждущим, когда лучик солнца проскользнёт по ним и зажжёт на пару мгновений хранящиеся внутри золотые искры. Всего несколько мгновений настоящей жизни в чужом свете — и рубины опять увяли, став глухими и тёмными. А солнце, даже не заметив своего чародейства, укатило дальше в свою жизнь, полную движения и смысла. И так каждый год.

Разумом я понимала, что сужу о своей семье несправедливо, но чувства... чувства бунтовали. Мне не хватало Филиппа. Я тоже была рубином, постоянно нуждающемся в своём солнце. Целый год ожидания — слишком долго.

Год — это долго и быстро одновременно. Этот был заполнен серьёзными политическими событиями. Взрослые старались удерживать нас в нашем детском мире: занятия верховой ездой, театральные представления, детские балы, но... разве можно замуровать любопытные детские уши! Мы, конечно же, знали, что Испания уже больше трёх лет безуспешно воюет с Францией, знали, что Наполеон практически подчинил себе нашу армию. Мы подслушивали разговоры взрослых, а потом просвещали друг друга как могли. Те, кто постарше, толковали о событиях, сути которых сами не понимали. Одни завидовали молодым офицерам, удостоившимся чести повести 15000 испанских солдат в составе наполеоновской армии на войну с Пруссией и Россией. Другие, захваченные идеями патриотизма, возмущались новым мирным соглашением, заключённым в октябре 1807 года между Испанией и Францией:

— Безобразие! Что позволяет себе этот премьер министр, этот Мануэль Годой! Он позволяет французам занять Португалию. Ещё немного и они захватят Испанию, превратив её в жалкую французскую провинцию!

Наши юные патриоты обвиняли во всём королевскую семью, Карла и Марию Луизу, считая наследника престола, Фердинанда, истинным защитником испанских интересов:

— Мануэль Годой заменил короля не только в супружеской спальне, но и на троне. За особые заслуги перед короной Карл награждает его герцогским титулом и землями. Ха! Герцог Алькудии и Суесы!

— Карл IV слаб и не способен к государственным делам. Вся власть давно перешла в руки Годоя, фаворита королевы. Вначале он заставляет Испанию выступить на защиту свергнутым французским Бурбонам, а затем подписывает в Сан-Ильфедонсо договор с Наполеоном и выступает с ним вместе против Англии. Мы все помним эту страшную трагедию, 20 октября 1805 года. Полное уничтожение нашего флота при Трафальгаре.

— А чего еще можно ждать от этого честолюбца: Наполеон пообещал ему либо португальскую корону, либо официально признанное регентство над королём Карлом.

В качестве ответной услуги Годой заключает с Наполеоном договор о союзнничестве в войне против Португалии...

— Да, да. Мы все помним этот возмутительный пакт, подписанный им в Фонтенбло

27 октября 1807, после чего Наполеон беспрепятственно проходит через Пиренеи и располагается в Испании.

— Ничего, конец этого правления уже близок, — говорила молодёжь, — Наследник трона, Фердинанд, против такой политики. Он никогда не простит Наполеону казнь французских Бурбонов. Скоро Карлу придётся отречься от трона....

Осенью 1807 года страна бурлила политическими событиями. В октябре все салоны были потрясены новостью: Фердинанд вступил в тайный сговор с Франсуа де Богарне, французским послом в Мадриде, завязал переписку с Наполеоном и сделал предложение его старшей дочери, Люсьен Бонапарт.

Споры между приверженцами наследника и сторонниками короля, затягивались далеко за полночь, вытеснив танцы, флирт и театральные представления.

Сторонники Карла называли Фердинанда изменником родины, а их оппоненты объявляли все это ложными слухами, распускаемыми премьер министром, мерзавцем Годоем, с единственной целью — сохранить трон Карлу.

Дискутирующие стороны не поспевали за развитием событий: 18 октября Фердинанд был арестован в Эль Эскориале, а 30 октября уже вся страна читала королевский манифест: наследник престола сознался в государственной измене, поимённо назвал сообщников и изгнан из Испании.

Я вслушивалась в эти дискуссии, но по сути ничего не понимала. Кто прав, а кто виноват? Во время одного из занятий обратилась за разъяснением к отцу:

— Все рассуждают о политике, а я ничего не понимаю. Объясни, пожалуйста, что сейчас происходит? Ты рассказываешь только о древней истории, а я хочу понять настоящую.

В первый момент мне показалось, что отец рассердился. Его тонкие, сильные пальцы нервно теребили листок открытой книги, лицо напряглось, но злости в нём не было. Он не пожимал плечами и не кривил презрительно губы... Помолчав несколько минут, откинулся на спинку стула и посмотрел мне в глаза:

— Елена, я не буду тебе сейчас ничего объяснять.

— Почему?

— На это есть две причины. Я не случайно изучал с тобой древнюю историю. Ты могла понять, что за каждой войной стоят конкретные люди, конкретные партии с их личными и общественными амбициями. Любая война — это борьба честолюбий и жажды наживы. Кто прав в ней, а кто виноват? Решить это может только время, иногда сто или двести лет спустя. Развилась ли страна в богатое сильное государство или навсегда исчезла с карты мира. Сейчас мы можем, конечно, в общих чертах догадаться о личных интересах, а значит и стоящих за ними интригах тех, кому принадлежит власть, но это только десятая доля правды. Через многие годы всплывут дневники непосредственных участников событий, оригиналы подписанных документов и нереализованных проектов... Через пару сотен лет наши потомки смогут сказать, кто был прав, потому что они будут знать, что из всего этого получилось.

— А вторая причина?

— Вторая причина... Дочка, я прошу тебя никогда и ни с кем не говорить о политике. Святая Инквизиция опять активизировалась; политические противники обвиняют друг друга в заговорах, мелкие негодяи доносят на соседей из корысти... Любая гражданская война разрушает не только страну в целом, но и каждого человека в отдельности, а у нас сейчас война. Ты поняла меня? В такие времена лучше прослыть политическим невеждой, чем знатоком. Жизнь дороже мелкого тщеславия.

Его глаза как тогда, после прыжков с пони, смотрели на меня растерянно и просительно.

— Ладно, папа. Я всё поняла. Когда дорасту до середины твоего уха, ты перестанешь бояться моей глупости и будешь рассказывать всё без утайки.

В эту минуту я впервые испытала к своему отцу чувство нежности. Боже! Сколько же времени мне понадобилось, что бы перестать видеть в нём злодея, испанского негодяя!

Война не мешала нам, молодому поколению подрастать, превращаясь в барышень и кавалеров. Некоторые, кто постарше, уже обменивались любовными записками и стихами в альбомах. Взрослые наблюдали за возникающими симпатиями и, соизмеряя их с возможным приданым и политическими пристрастиями семьи, прикидывали новые родственные связи. После таких детских танцевальных вечеров Элеонор проявляла особое любопытство:

— Елена, сегодня ты пользовалась особым успехом у двоих. Кто из них тебе больше нравится?

— Ни один.

— Почему же? Они оба хорошо воспитаны и оба из очень состоятельных семей.

— Потому что у одного из них потные руки, а другой, танцуя, громко сопит.

Не могла же я ей объяснить, что они мне не нравятся, просто потому, что не похожи на Филиппа.

Не все родители были осторожны, как мой отец. Большинство считало политическую активность важнейшим элементом воспитания молодого дворянина, поэтому наши кавалеры вместо стихов нашёптывали нам на ушко политические новости:

— В Мадриде вспыхнуло восстание против Годоя. Ему пришлось уйти в отставку, а Карла вынудили отречься от престола в пользу Фердинанда! Запомни этот великий день! 18 марта 1808 года. Его будут веками праздновать грядущие поколения! — щекотал мне щёку едва пробившимися усиками партнёр с потными ладонями.

Несколько дней спустя другой, вечно сопящий поклонник, сообщил, радостно блестя глазами:

— Бог с нами! Карл получил поддержку Мюрата, главнокомандующего французских гарнизонов в Мадриде. Он объявил своё отречение вынужденным, а значит не действительным. Предателю Фердинанду придётся вернуть корону законному королю.

Несчастливая испанская корона, как мячик, перелетала в течение нескольких месяцев из рук в руки, пока не свалилась на голову брату Наполеона Джозефу Бонапарту. Раньше он был только королём Неаполя, а теперь... 20 Июля 1808 он торжественно въехал в Мадрид с испанской короной на голове. Одним из первых указов Бонапарта — было упразднение святого Трибунала. Инквизиция почти триста лет правила страной, сохраняя её религиозные и, как многие считали, нравственные традиции. Испанцы могли её критиковать, требовать послаблений и реформ, но упразднять... Это была привилегия испанцев, а не французов. Справедливое возмущение объединило на время все враждующие стороны. Они готовились к освободительной войне.

В конце лета пришло очередное письмо от Филиппа. Он приглашал нас в свой «замок». Отец и Элеонор огорчились, что приглашение пришло слишком поздно — они давно мечтали посмотреть на это архитектурное чудо, но летняя программа была уже составлена, и отменять её было неприлично. В гости к Филиппу мы поехали вдвоём с бабушкой, и это было замечательно — делить хозяина в это лето придётся лишь на двоих.

При виде его дома мой рот открылся сам по себе и надолго остался в этом неудобном для поддержания беседы состоянии. Такое чудо я видела только на старых папиных гравюрах. Рассказывая об арабском архитектурном стиле, он вытащил из особой папки изображения дворцов Альхамбры: фасады, покрытые каменными кружевами, лёгкие грациозные колонны, плывущие вместе с полупрозрачными портиками, укрывающими их, как капризных танцовщиц,

от дождя и ветра, точёные башенки, тянущие почти невесомый дворец вверх... к солнцу. Дом Филиппа казалось, сошёл с этих картинок.

Позднее он объяснил, что кто-то из его предков действительно увлекался арабским стилем, и, по его приказу, архитектор скопировал старые гравюры.

Внутри было ещё интересней, чем снаружи. Комнаты состояли из бесконечных ниш, арок, круглых сводов и узорчатых окон-витражей. Казалось, в каждой нише тебя ожидает тайна.

Филипп водил нас по галереям и внутренним дворикам, показывал многочисленные портреты своих предков, с особой гордостью перечисляя их заслуги и степень близости к королевской фамилии. В тот день я увидела своего друга в новом свете: никогда не думала, что он, мерцающая звезда, может гордиться чужими заслугами.

В то лето мы с бабушкой поделили нашу звезду по справедливости; мне принадлежали дни, а ей — вечера. Обделённым не чувствовал себя никто.

Наш визит подходил к концу. После завтрака мы с Филиппом отправились на прогулку в лес. В последнее время нам часто приходилось ездить вдвоём на его лошади, потому, что к концу лета пони стал для моих ног слишком мал — они практически волочились по земле — а до настоящей лошади я, по мнению бабушки, ещё не доросла.

Каменистая дорожка, петляла между невысокими деревьями, усыпанными тёмнокрасными кислыми ягодами, и, аккуратно огибая вросшие в землю валуны, не спеша тянулась вверх к подножью огромной гранитной скалы. Летняя жара уступила место мягкой осени. Солнце, совершая свою ежедневную утреннюю прогулку по небу, остановилось на полпути и, как прихотливый художник, раскрасило этот уголок боковым светом по своему вкусу: маленькую полянку — в изумрудно-зелёный, окружающие её деревья забросал фиолетовым, а остаток краски выплеснул на скалу. Она получилась у него пятнистой; красной, тёмно-зелёной, рыжей и даже — голубой.

Мы остановились на поляне, слезли с лошади и подошли к небольшому гроту. Сверху стекала тоненькая струйка воды, оставаясь стоять в причудливой каменной чаше, которую вода продолбила себе, неутомимо шлифуя и украшая уже много десятилетий.

Глаза Филиппа почему-то погрустнели. Он опустил свои густые девичьи ресницы и подставил руку под струю.

— Моя мама называла эту воду живой, — произнёс он, не глядя на меня, — Она говорила, если ежедневно обмывать ею лицо, оно никогда не постареет.

— Она и в правду не старела? — несколько невпопад спросила я, ведь Филипп ещё ни разу не говорил со мной о своей матери.

— Она не успела постареть, потому что слишком рано умерла. Родила мою сестру и через несколько дней умерла.

— А где же твоя сестра сейчас?

— Она умерла год спустя, вместе с моим отцом. Ей было бы сейчас, как тебе, двенадцать.

Я ещё никогда не видела его таким несчастным. Сердце защемило от жалости к этому большому одинокому мальчику, выросшему без родителей среди чужих людей. Это чувство одиночества было мне хорошо знакомо.

Руки сами потянулись к его лицу, погладили мягкие волнистые волосы, обняли за шею. Я нежно прижала его голову к себе и поцеловала в щёку.

— Возьми меня в сёстры. Я так хочу иметь такого брата как ты.

Филипп слегка отстранился, оценивающе осмотрел меня с головы до ног, взлохматил волосы, и, рассмеявшись, милостиво согласился:

— Ладно. Сойдешь. А теперь нам пора ехать обратно, а то твоя бабушка решит, что за очередные негалантности и безобразия я отвёз тебя в глухую чащу и скормил диким зверям.

Филипп, вспрыгнув на лошадь, гибко наклонился, подхватил меня одной рукой и усадил впереди себя. Это был наш коронный акробатический трюк, отработанный длительными тренировками сначала на стуле, а потом на моём пони; с него было не так высоко падать, как с настоящей лошади.

Мой друг, удобно развалившись в седле, тут же включился в очередную, ставшую в последнее время любимой, игру: один напевал строчки из модной салонной баллады, а другой, не задумываясь, продолжал их первыми пришедшими в голову рифмами. Часто получалась очень забавно.

Его красивый низкий голос прозвучал очень романтично:

Всадника длань в железной перчатке

И два копыта его коня....

Как всегда, отчаянно фальшивя, я выпалила продолжение:

И северный ветер холодный и гадкий,

Украв мою шляпу, надел на себя

Коротко хихикнув, Филипп протянул сладким голосом:

— А знаешь, сестрёнка, у тебя есть все шансы остаться старой девой?

— Это почему же?

— А потому, что ты своим вокалом распугаешь всех женихов.

— А я не всех буду распугивать — только неугодных.

— О, великолепная идея! Готов оказать тебе в этом посильную помощь. Как только замечаю, что в «Неугодном» просыпаются жениховские намерения, подмигиваю правым глазом, и ты включаешься на полную громкость.

— Согласна, только это нужно заранее отрепетировать.

— Первую пробу назначаю на сегодня. Самое подходящее время — семейный ужин.

— А что, «Неугодный» уже проснулся?

— А ты разве не заметила? Мой пёс Арчи. В последнее время он всё чаще трётся у твоей юбки и облизывается.

— Ну, этот не сбежит — он старый и глухой, а вот бабушка... она ещё слышит... Обвинит меня в очередной «негалантности и безобразии» и выбросит из-за стола.

— А чем ты рискуешь? Своим любимым гусиным паштетом? Я заранее припрячу твою порцию.

— Только, пожалуйста, в кармане своего любимого белого камзола...

— Будет выполнено! Слово дворянина! — торжественно поклялся Филипп, теснее прижал меня к себе и пришпорил коня. Моя спина таяла от этой близости — казалось, я улетаю к звёздам. Жаль только, что путь до дома значительно короче, чем до звёзд.

За ужином мой добровольный помощник очень внимательно следил за Арчи, я — за его правым глазом, а бабушка — за нами обоими. Филипп надел к ужину свой любимый белый камзол.

Через несколько дней Филипп стоял на пороге дома и махал рукой вслед отъезжающей карете. Я возвращалась домой, увозя с собой разбитое сердце.

Глава 4

Четырнадцать лет, возраст Джульетты, и в голове полная сумятица из любовных романов, светского политета и политических событий.

Семейство готовится к приёму гостей. Надев своё первое взрослое платье, я разглядываю отражение в зеркале.

— Папа, почему ты назвал меня Еленой?

— Я хотел, что бы ты выросла такой же красавицей, как Прекрасная Елена, троянская принцесса.

— Но ведь это — опасное имя. Парис привёз её в Трою, и из-за неё греки разрушили этот город.

— Глупости. Неужели все мои объяснения прошли мимо твоих ушей? Троя была важным стратегическим объектом, она стояла на пересечении главных торговых путей. Елена была только поводом, что бы начать войну. Не будь её, греки всё равно напали бы на троянцев. Троя была обречена.

— Ну и как, имя сделало меня красивой?

— А ты в этом сомневаешься?

— Отражение в зеркале заставляет меня сомневаться.

— Ох уж эти тщеславные женщины! Иди и поговори об этом с Элеонор. Это по её части.

Бабушка, как всегда, бросает на него удивлённый взгляд, но молчит... временно. Её выступление ещё впереди.

Вечером она приглашает меня к себе:

— Ну и что нашептало тебе зеркало?

— Оно не шепчет, оно кричит, что я вся какая-то нелепая. Нос длинный, между передними зубами — расщелина, щёки толстые... А если волосы убрать назад, то вообще похожа на репку.

Я продолжала рассматривать себя в зеркале:

— Улыбнись. Видишь, у тебя зубы крупные и смыкаются в одну сплошную линию. А мои... Разве можно меня сравнить с Элеонор? Она как будто вырезана из слоновой кости. Вся такая... пропорциональная, вытянутая вверх. Она выше меня, а ноги и руки значительно меньше. Мы недавно сравнивали. Они с папой оба очень красивы — высокие, гибкие, как две пантеры... и Филипп такой же, а я...

— А что ты?

— А я приземистая, с круглыми щеками и широкими плечами, я... как мой пони.

Бабушка обняла меня за плечи:

— Слушай, ты... пони. Тебе всего четырнадцать. В этом возрасте части тела развиваются неравномерно; одни растут настолько быстро, что другие не успевают их догнать. К шестнадцати годам всё придёт в равновесие, и ты будешь ещё лучше, чем Элеонор. Просто вы очень разные: она хороша, когда стоит, а ты — когда движешься. У неё — две-три заученные улыбки, хорошо продуманные повороты головы, приподнятая бровь, лукавый взгляд из-под ресниц... Всё это было часами отрепетировано перед зеркалом. Ею можно любоваться час в день, а потом становится скучно, а ты... Ты в жизни значительно лучше, чем в зеркале, ты всё время меняешься. Загрустила, свела брови — одна, пошутила, рассмеялась — совсем другая, а рассердилась... тогда уж точно, вылитая репка. Только в огороде и место.

— Бабушка, а когда твоя мама сердилась, она тоже была похожа на репку?

— Во всяком случае, она умела это хорошо скрывать. Я имею в виду не сердиться на людей. Всё, иди спать.

Пока я решала проблемы своей внешности — на кого же я, в конце концов, похожа — на пони или на прабабушку, Испания уже два года утопала в войне.

Я сижу в кабинете отца и вчитываюсь в газетные сообщения двухлетней давности. С одной стороны — партизанская война против французов. Народ не признал ни чужеземное правление, ни его новые реформы, превращавшие нашу страну в жалкую провинцию, которой вменялось в обязанность воевать за интересы Франции. Партизанской войной руководила центральная хунта, созданная ещё в сентябре 1808 года в Аранхуэсе. Одни газеты с восторгом описывают всеобщий энтузиазм: «Все слои испанского общества с одинаковым энтузиазмом приветствуют это движение». Пособники французов объявлялись врагами отечества.

Другие, с не меньшим восторгом, публикуют обращение Инквизиции к народу: «Злоба и невежество ввели в заблуждение неосведомлённых простаков, толкнув их на революционные беспорядки под покровом патриотизма и любви к монархии».

Забавно: Инквизиция пытается поддержать Бонапарта, склонить общественное мнение на его сторону, а он через несколько месяцев после вступления на трон отменяет её.

Вспоминаю поучения отца: «Любая война — это борьба личных честолюбий и жажды наживы. Только последующие поколения смогут разобраться, кто был прав, а кто виноват».

Похоже, папа, как всегда, прав. Два года — это ещё слишком мало, что бы судить о результате. Но что же делать, если на нашей земле сошлись в данный момент все личные амбиции? Англичане воюют с французами за Португалию, гоняясь друг за другом по нашей территории, разворовывая и разрушая всё на своём пути.

Ещё недавно все газеты приветствовали герцога Веллингтона, высадившегося с английским корпусом в Португалии и вытеснившего оттуда французов. Его называли национальным героем, освободителем:

— Бог на нашей стороне! Англичане приближаются к Мадриду! Жозеф сбежал. Ещё пару месяцев, и мы освободимся от обоих Бонапартов!

Но через пару месяцев, в январе, французы, собравшись с силами, уже маршируют через Андалузию, тесня англичан обратно к границам Португалии. Похоже, с освобождением от Бонапартов придётся подождать.

Общественное мнение тут же разворачивается в сторону победителей:

— Французы всё же лучше, чем англичане. Они, как и мы, католики. У нас общая культура и общие короли. Бурбоны всегда с уважением относились к нашим традициям. Недаром первый Бурбон, Филипп V, внук Людовика XIV, вступив на испанский престол, поклялся в преданности испанскому народу, его интересам и традициям. Мы должны отдать ему должное — он ни разу не нарушил своей клятвы. А англичане? Они же протестанты, еретики! Им не место в Испании...

Политические дискуссии велись постоянно; за обедом, за чаем и за ужином. Я с любопытством наблюдаю за отцом. Он не горячился, как другие, не размахивал руками, не лез вперёд со своими суждениями, и, тем не менее, все почему-то обращались только к нему, как к главному арбитру. Вспоминаю его слова: «В такие времена лучше прослыть политическим невеждой, чем знатоком». Он молчит, а собеседники видят в нём знатока. Как это получается? Может потому, что у него умные, спокойные глаза? Или суется, размахивая руками и перебивая других, люди лишь демонстрируют собственную глупость и тщеславие? Как ведёт себя Филипп во время дискуссий? Тоже молчит, или суется?

В это лето он заскочил к нам всего на неделю, и было ему, похоже не до «безобразий».

За год он явно повзрослел. Щёки потеряли свою округлость, плечи казались ещё шире, а глаза... глаза по-прежнему смеялись и искрились, когда он обучал меня своему особому, «коронному» повороту в танце. Жаль только, что этот приезд он в основном посвятил отцу. Всё ясно! Политика для мужчин важнее всего. Женщины могут подождать. Мне четырнадцать, я уже почти женщина, а значит, буду учиться ждать.

На этот раз ждать пришлось очень долго — целых два года.

Глава 5

До чего же он красив! В те годы мужчины делились для меня на два типа: Гераклы и Аполлоны. Мой опыт ограничивался, естественно, знаниями, почерпнутыми в библиотеке отца, где я тайком изучала коллекцию гравюр, изображавших античных богов.

Гераклы ассоциировались с тяжёлой, коротконогой глыбой мышц, движения которой были лишены всякой грации. Аполлоны были длинноногими и гибкими. В их движениях сила сочеталась с гармонией. Филипп был типичным Аполлоном.

Я с восхищением смотрела на его изящные руки с длинными гибкими пальцами, откидывавшими с лица тёмные волнистые волосы.

А улыбка, а белые крупные зубы с маленькой неровностью на правом переднем...

Как замечательно, что он вернулся!

Мне не надо было смотреть на него украдкой, ведь мы были друзьями. Вернее он вёл себя как старший брат, поддразнивающий свою младшую сестрёнку, а я, как и положено было по роли, защищалась и доказывала, что уже выросла.

Обед, наконец, закончился, и начались танцы. Филипп стоял рядом с отцом в дальнем конце зала, что-то оживленно обсуждая и чему-то смеясь.

— А до меня им, как всегда, нет никакого дела, — ревниво промелькнуло в голове...и я пересекла зал.

— Филипп, мне очень хочется с тобой потанцевать. Пригласи меня, пожалуйста.

Отец даже не успел открыть рот для очередного поучения о светских манерах, необходимых взрослой девушке моего положения. Чудесная улыбка, выбранного мною кавалера, его преувеличенно галантный поклон в сторону отца: «С вашего позволения...»... и мы уже движемся в ритм с мелодией, темпераментной и щемяще нежной.

— Ну и повзрослела же ты за эти два года! Превратилась в настоящую красавицу. Готовая невеста!

— Вот и женись на мне, — слетело с моего языка прежде, чем я успела осознать, что говорю.

Филипп растерялся, наверное, впервые в жизни:

— Мне кажется, ты сделала мне предложение...

Я почувствовала, как краска заливает не только мои уши; от стыда сгорал даже кончик носа.

— Мне тоже так кажется... — пролепетал глупый язык, мой злейший враг, так и не научившийся подчиняться разуму.

Совсем короткая пауза, и кавалер ловко заглаживает возникшую неловкость:

— А ты не забыла наш коронный левый поворот?

— Давай попробуем

Его руки принимают хорошо знакомое положение и элегантно разворачивают меня против движения, слегка отклоняя назад.

— Молодец, ученица. Не забыла уроки старого дяди.

Музыка закончилась слишком быстро, и Филипп проводил послушную ученицу к отцу. Больше в тот вечер он не танцевал.

Элеонор, получившая меня под свою опеку, ссылаясь на усталость и головную боль, просила отклонить хотя бы одно приглашение на танец, но я не могла усидеть на месте. Танцую весь вечер без передышки, даже не заметила, как отец с Филиппом покинули зал.

Вечером у себя в комнате мысленно просила «старого дядю» только об одном: Пожалуйста, не рассказывай ничего отцу. Так не хочется слушать каждый раз одни и те же упрёки:

— Из тебя так и не получилось настоящей дамы. Похоже, голова принцессы досталась кухарке.

Утром меня пригласили в кабинет к отцу. Значит, этот предатель всё же проболтался. Тоже мне друг... Но, честно говоря, я понимала, что каждое преступление заслуживает наказания, а глупость — двойного.

Филипп стоял тут же в кабинете, отвернувшись к окну. Отец поднялся из кресла и вышел на середину комнаты. Он смотрел на меня грустно и неодобрительно:

— Филипп сделал тебе предложение. Что ты об этом думаешь?

Мой взгляд метнулся к Филиппу. Почему он не смотрит на меня? Почему у него такая прямая, напряжённая спина?

Так и не дождавшись ответа, отец продолжал:

— Я считаю, тебе ещё рано выходить замуж.

— Нет не рано. Я согласна.

Филипп, оторвавшись от окна, медленно подошёл ко мне ... так близко, как будто собирался пригласить на танец, низко поклонился и поцеловал мою руку:

— Спасибо

Так я сама выбрала себе мужа.

Позже, оправившись от первого приступа счастья, я вспомнила глаза отца. Почему они были такими грустными? Почему он не обрадовался за меня, ведь Филипп был блестящей партией?

Медленно и, к сожалению, слишком поздно до меня стало доходить, что натворила. Ведь я не только незаконнорожденная, но и полукровка, наполовину еврейка. Сам факт незаконного рождения не был в нашем обществе большой трагедией. Очень многие высокопоставленные мужчины, подражая примеру самого короля, имели метресс, даривших своим покровителям детей, рождённых вне брака. Как правило, эти дети отдавались на воспитание деревенским кормилицам и бесследно исчезали, но были и исключения, когда отцы признавали внебрачных детей, давали им своё имя и титул, а значит и равные с законными детьми права на наследство и положение в обществе. Судьба метресс складывалась по-разному. Некоторые оставались на общественной сцене долгие годы, пользуясь всеми благами высокого покровительства. Другим, семьи которых пожелали сохранить имя грешницы в тайне, подбирали достойную партию, и они начинали жизнь с чистого листа.

Имя моей матери было не известно. В первый год моего появления в семье на все вопросы любопытных отец отвечал тонкой улыбкой, давая понять, что защита чести женщины является святым долгом дворянина. Главным аргументом в мою пользу было удивительное сходство с прабабушкой, которую ещё хорошо помнило старшее поколение. Интерес к имени

матери быстро угас. Единственная наследница родового титула и состояния, я чувствовала себя желанной невестой в любом доме.

— Чего же тогда бояться? Об опасном полукровстве знают только папа и бабушка. Даже Элеонор уверена в моём благородном происхождении. Тайна известна, правда, и бывшей семье, но они никогда не станут меня искать. Они даже не знают настоящего имени людей, избавивших их от тяжких воспоминаний. Да и узнать в этой благородной молодой даме того девятилетнего ребёнка, каким они видели меня в последний раз, просто невозможно», — убеждала я себя, крутясь перед зеркалом.

Окончательно успокоившись, «благородная молодая дама» предалась мечтам о предстоящей свадьбе. Сколько проблем требовали срочного решения! Подвенечное платье, украшения, причёска...

Мои размышления были прерваны появлением отца. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Медленно опустившись в кресло, он указал мне место напротив.

— Ты хоть понимаешь, что ты натворила?

— Я ответила согласием на предложение Филиппа

— Ты имела право выйти за любого мужчину. Но только не за него!

— Почему?

— Ты сама слышала и не раз, с какой гордостью он рассказывает о своих предках, состоявших в родстве с королевской фамилией. Его семья сохраняет чистоту своей крови уже несколько столетий. Браки в ней никогда не заключались по любви; только по строжайшему отбору. И тут ты со своим полуеврейством!

— Я была влюблена в него с детства...

— Повторяю: в этой семье любовь никогда не принималась в расчёт при заключении браков — только происхождение! Выходя замуж за Филиппа, ты поднимаешься слишком высоко, а это опасно. Тебе нельзя привлекать к себе так много внимания.

— Но ведь обо мне не знает никто, кроме тебя и бабушки, — использовала я аргумент, которым за несколько минут до этого успокаивала саму себя.

— Пока!

— Что значит — пока?

— Этого ни кто не знает до тех пор, пока это никого не интересует.

— Кого это может заинтересовать... кроме Филиппа?

Отец нетерпеливо передёрнул плечами, как он это делал всегда, когда ему приходилось объяснять что-нибудь дважды.

— В жизни в любую минуту может сложиться ситуация, политическая или какая-нибудь другая, когда человека нужно убрать с дороги, и тогда те, кому это надо, узнают о нём всё, что может его погубить.

— Что же тогда с нами будет? — мне становилось по-настоящему страшно.

Отец пристально посмотрел мне в глаза и вынес приговор:

— В самом худшем случае ты окажешься в монастыре, если конечно тебя вообще оставят в живых.

— А что будет с вами?

— А мы, нищие и обесчещенные, отправимся в изгнание.

Я мучительно искала выход: «Но ведь ещё не поздно... Я могу ему завтра отказать...»

— Чтобы взять назад слово, данное графу Альваресу, нужны очень веские аргументы. У меня их нет!

— Что же теперь делать?

— Готовиться к свадьбе.

Отец оборвал дискуссию и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.

Я осталась сидеть там, куда он меня усадил, начав разговор. Постепенно откуда-то изнутри начала подниматься мутная, тяжёлая волна протеста:

— Бесчестие... изгнание... Ты это заслужил. Или ты думаешь, что таким как ты всё позволено по праву рождения? Ты обесчестил мою мать, сломал жизнь моей семье, разорил нас и хочешь жить дальше безнаказанным? Ты тоже должен прочувствовать вкус унижения и боли!

В тот момент я остро ощущала это «мы». Я снова почувствовала себя Лией, которая, как казалось все эти годы, давно уступила место Елене, оставив на память о себе лишь тоненькую прядку светлых волос на её затылке.

Волна протеста, заполнив душу обидой и злостью на отца, откатилась назад, но на смену ей уже подступала новая, ещё более мощная и упругая. Я представила себя человеком, когда-то давно упавшим на дно ущелья. Этот человек решил долго и упорно тренировать силу и ловкость, и когда-нибудь снова выкарабкаться наверх. Много лет подряд с утра до вечера он учился лазить по горам и наконец, почувствовал, что готов.

Его ноги безошибочно находили выступы, на которые можно опереться, руки легко выбирали самые крепкие ветки, за которые можно зацепиться, тело казалось лёгким и упругим... До вершины осталось всего ничего, и он на минуту забыл об осторожности

Вот и всё... он опять лежит на дне ущелья. Там, откуда начал свой путь... и тело, израненное и разбитое, отчаянно болит.

У меня отчаянно болела душа. Я снова оказалась там, откуда начинала свой путь — заняла место, приготовленное не для меня. На этот раз в жизни Филиппа.

В последующие две недели, все мысли и заботы моей семьи были посвящены подготовке к свадьбе — делу почти политической важности. Тщательно продумывался список гостей: кого нужно пригласить обязательно, а о ком можно и забыть, а если всё же пригласить, то какое место за столом положено ему по рангу. Эту сложнейшую задачу возложили на себя, как и положено, мужчины. Женщины, отложив в сторону рукоделие и музыку, согласовывали с поварами длиннющие списки угощений, которые должны были поразить воображение тех, кто удостоится приглашения. Каждый угол нашего огромного особняка вычищался до зеркального блеска. Ежедневно на меня примерялось полдюжины новых платьев, оцениваемых двумя строжайшими арбитрами — бабушкой и Элеонор, вкус которой считался безупречным. С ней не решалась спорить даже бабушка. Мнением невесты не интересовался никто — она была ещё слишком молода, что бы его иметь. О ней, казалось, просто забыли, и это было самым лучшим из того, что они могли сделать.

Вся эта подготовка казалось мне бессмысленной и тягостной. Я не ощущала ни радости, ни интереса к предстоящему событию — только печаль и страх. Бабушка иногда озабоченно поглядывала в мою сторону, но не считала нужным задавать вопросы. Что касается отца, то он, один раз приняв решение, к обсуждению этой темы больше не возвращался. Помощи ждать было не от кого.

Мой жених вёл себя ещё более странно; казалось, что он вообще избегает встреч. Исчезли привычные поддразнивания и мальчишеская улыбка. В глазах и, особенно, в уголках губ затаилось непонятное напряжение. Я чувствовала, что с ним, так же как и со мной, что-то происходит. В нас обоих не было радости.

В один из таких дней, когда мои нервы, перегретые июльским солнцем, уже не справлялись с разыгравшимся воображением, само по себе пришло единственно правильное решение — разбираться в этом придётся нам двоим. Отец не имел права забрать обратно данное Филиппу слово, но Филипп имел право вернуть его мне.

Я увидела своего жениха из окна библиотеки, где скрывалась от жары и от бесконечных примерок платьев, которые теперь вряд ли могли пригодиться.

Он прогуливался по аллее парка, заложив за спину свои изящные руки, не замечая ни назойливого благоухания роз, ни призывно громкого щебетания птиц. Его мысли были где-то очень далеко.

Я слетела по лестнице через две ступени, подобрав нелепо путавшиеся в ногах юбки, и, догнав его, даже не сделала вид, что оказалась рядом случайно. Какое значение имеют сейчас мои манеры!

— Послушай, мне кажется, мы всё сделали неправильно, — начала я разговор, даже не переведя дыхания после быстрого бега.

— А ты что... струсилась? — знакомые насмешливые интонации в голосе и искорки в глазах.

— Не в этом дело... Твоя родословная... ты же знаешь, что я незаконная, — слова, выскочили сами по себе, не успев связаться в законченную фразу.

Филипп остановился, серьёзно посмотрел на меня сверху вниз и, как бы прекращая совершенно бесполезный разговор, отрезал: «Тебе незачем об этом тревожиться. Я слишком хорошо знаю гордость твоего отца. Он никогда не дал бы своё имя и титул ребёнку от домашней прислуги!», и, пройдя ещё несколько шагов, добавил: «Ох уж эти мне переменчивые молоденькие барышни! Сегодня они бойко собираются замуж, а завтра готовы сбежать от страха в ближайшие кусты».

Внутреннее чутьё, опередив разум, велело замолчать — одно, невпамят сказанное слово, могло нанести непоправимый вред. Через несколько мгновений разум пришёл на помощь. Он вернул меня в кабинет отца в день сватовства. Филипп, отвернувшись к окну, его напряжённая спина... и короткое «спасибо» в ответ на полученное согласие. За что он благодарил меня? За то, что я с первого дня нашего знакомства была влюблена в него, а он... А он, придумывая совместные шалости, просто возвращался на полчаса в детство?

Несколько минут прошли в молчании. Все мои силы были направлены только на то, чтобы скрыть разочарование. Ещё двадцать шагов, всего двадцать..., а там... почти заросшая травой узкая тропинка, резко сворачивающая в лево... Боже! Помоги пройти эти двадцать шагов со спокойным лицом!

У самого поворота, почти не останавливаясь и не глядя Филиппу в глаза, я весело помахала ему рукой и, бросив уже на ходу:

— А теперь струсившие молоденькие барышни разбегаются по кустам, — подхватила юбки и помчалась вглубь парка. Мои ноги, перепрыгивая через кочки и сухие ветки, неслись с такой скоростью, будто за ними гналось сорок разбойников. Они, мои ноги, знали; сейчас только бег, только скорость, только бьющие по лицу запотевшие от жары ветки способны освободить от нестерпимо рвущихся наружу напряжения и боли. Нелюбимый ребёнок повзрослел и превратился в нелюбимую женщину. Почему Бог обрёл меня на эту вечную нелюбовь!

Вот и оно, тайное убежище, единственный поверенный сокровенных девичьих тайн. Эта, всеми забытая беседка в глубине парка была создана самой природой; когда-то ровные полированные каменные плиты, стёрлись и выцвели от старости, а размытые дождями ложбинки заполнились бледно-голубыми цветами и травой. Редкие когда-то кусты роз, окружавшие полукольцом эту площадку, превратились в розовую стену, Высоко к небу поднявшиеся ветви, навсегда сплелись в полупрозрачный купол, защищавший от солнца струйку воды, вытекавшую из под большого камня и скамейку для тех, кто искал одиночества.

Я опустилась на свою скамейку, вытирая вспотевшее от бега лицо и отцепляя приставшие к платью колючки. Журчание воды, солнечные блики на старых камнях, пряный запах роз постепенно успокоили разгорячённую голову. Через несколько минут она уже могла соображать.

— Почему я не довела разговор с Филиппом до конца? Почему его убеждённая в гордости и чести отца остановила меня? Обязана ли я охранять эту честь?

Протест, возникший после нашего последнего разговора, постепенно развился в настоящую злость. Отец не испытывал ни сожаления, ни раскаяния за то зло, которое причинил моей семье; просто переложил всю ответственность на меня. Я должна каждую минуту своей жизни помнить о том, кто я и не привлекать к себе слишком много внимания, иначе он будет разорён и обещан!

— И это у них называется честью и гордостью? В Библии это зовётся гордыней, и за неё Бог наказывает людей. Так почему же я промолчала, если отец должен быть наказан?

Ответ пришёл сам по себе: «Когда и какое наказание понесёт человек за свою гордыню — решает Бог и на меня он своих обязанностей не перекладывал. Во всяком случае, сегодня».

Подумав о гордыне, я переключилась на Филиппа.

— А этот разве лучше? Носится со своей дурацкой родословной, как будто в жизни нет ничего важнее. Что вообще я о нём знаю? Как он прожил последние два года?

Мысли приняли совершенно неожиданное направление:

— Может он пережил какую-то безнадежную любовь? Что, если он был влюблён в замужнюю женщину, или в девушку из простой семьи, на которой сам себе запретил жениться, а теперь страдает? Почему, говоря о гордости моего отца, он упомянул домашнюю прислугу? Неужели его угораздило влюбиться в горничную?

Значит, моё предложение пришлось как нельзя кстати; ему самому такая блестящая идея никогда не пришла бы в голову — срочно на ком-нибудь жениться и отрезать себе путь к отступлению.

Мне, в принципе, не за что обижаться на Филиппа — он не делал мне предложения. Его сделала я, а он просто ответил на него согласием, не обещая взамен ни любви, ни преданности. Он вообще ничего не обещал — только сказал: «Спасибо».

Он ухватился за мою глупую шутку, как за спасительную соломинку, потому что сам заблудился в зарослях чувств и обязательств, взятых на себя после смерти родителей.

Как глупо у нас получается; я бегу от безнадежной тоски в кусты, а он — под венец, и изменить уже ничего нельзя!

Посидев ещё немного на скамейке, так и не придумав ничего нового, я медленно побрела домой.

Глава 6

Следующие дни прошли спокойно. Мы с Филиппом выезжали иногда на прогулки, вели обычные полшутливые разговоры, аккуратно избегая всех тем, на которых можно поскользнуться. В конце недели он сообщил, что уезжает домой готовить свой «замок» к приезду новой хозяйки. Приближающийся отъезд жениха не вызвал у меня ни малейшего огорчения. Я почувствовала скорее облегчение; в его присутствии стало очень трудно дышать.

В памяти часто всплывала фраза отца:

— В их семье браки никогда не заключались по любви...

А бывает ли вообще любовь между мужьями и жёнами? В моей первой, еврейской семье отношение родителей друг к другу было больше похоже на вражду, хотя, по их словам, они женились по любви.

Вспомнились постоянные сцены за обедом: мама ставит на стол приготовленную еду. Отец кладёт себе на тарелку небольшую порцию, отковыривает несколько кусочков вилок... Его губы плотно сжимаются, а взгляд жёстко упирается в мамино лицо:

— Почему ты до сих пор не научилась нормально готовить? Я работаю днями и ночами, чтобы обеспечить семью и имею право получить на столе то, что можно есть, а не эту гадость!

Мама, давно привыкшая к таким сценам, принимает защитную стойку.

— Я беру рецепты у лучших хозяек нашей округи, и их мужья такой готовкой очень довольны, хотя они работают не меньше тебя.

В бой вступает бабушка:

— Меньше бегала бы по соседкам, больше было бы от тебя толку. Если у своей матери ничему не научилась, так у меня спросила бы. Я уж знаю, чем моему сыну можно угодить.

Отец громко отодвигает стул и уходит в мастерскую...

Я почти никогда не видела, чтобы они шутили или смеялись друг с другом. Он всегда был прав, а она — виновата. Новые платья, принесённые от портнихи, объявлялись безвкусными, новости из жизни округи — глупыми бабьими сплетнями, а каждая попытка дать совет безжалостно пресекались:

— Если тебе очень хочется дать совет, сходи к соседке и дай его ей.

Мама, как мне теперь кажется, мстила ему за все эти унижения исподтишка; как бы случайно пересаливала кисло-сладкое мясо, разбивала его любимые чашки, по ошибке заказывала сапожнику сапоги на размер меньше.

Тогда в детстве я считала отца злым и несправедливым человеком и жалела маму, считая её обиженной стороной. Сейчас я увидела их отношения по-другому; он был человеком талантливым и увлечённым, а она... Её не интересовало ничего кроме хозяйства и сплетен. О чём он вообще мог с ней говорить? Она его раздражала, потому что ему было с ней скучно. Что касается новых платьев, то даже тогда в глубине души я была на его стороне — её расплывшееся неуклюжее тело не могло украсить уже никакое платье. Судя по портрету, нарисованному отцом перед их свадьбой, мама была очень красивой девушкой. Почему она не сохранила для него свою красоту? Она разочаровала своего мужа, и он её разлюбил.

Ну а как обстояло с любовью в моей второй, испанской семье? Элеонор никогда не утверждала, что они венчались по большой любви. Она называла это «большой симпатией». В отличие от моей мамы, она оставалась всё ещё очень красивой. Её прелестные маленькие ручки с ямочками были предметом моей постоянной зависти.

А маленькие изящные ножки! Однажды она разрешила мне примерить свои бальные туфельки; ногу в них, конечно, удалось затиснуть, но... Этим зрелищем можно было только спугнуть на балу всех партнёров.

Я искренне любовалась её нежной кожей, очаровательной улыбкой и грациозной походкой. Даже простые домашние платья смотрелись на ней как произведение искусства. Всё это восхищало меня, но не её мужа. В глазах моего испанского отца, обращённых на жену, читалось то же раздражение, что и в глазах его еврейского собрата по несчастью. Они оба были разочарованными мужьями.

Что же случилось с этой «большой симпатией»? Сейчас, накануне собственной свадьбы, было необходимо во всём разобраться!

Испанский муж тоже был человеком по своему талантливым и очень образованным; он свободно читал старинные книги, собранные ещё его отцом и дедом, на латыни и

древнегреческом, серьёзно разбирался в философии, поэзии и истории. Особо чутко он реагировал на красоту — будь то живая природа, старинный мрамор или настенная живопись. Наша семья была очень богата, и он, потомственный аристократ, мог позволить себе не только собирать книги и произведения искусства, но и покровительствовать молодым художникам и музыкантам.

Вспомнилась сцена во время семейного обеда: отец с увлечением рассказывает о великолепной живописи молодого, ещё никому не известного художника, украсившей купол новой монастырской часовни. Он уже планирует пристроить второе крыло к своей домашней церкви и поручить этому художнику настенную роспись. Элеонор вежливо выслушивает его восторги и, после короткой паузы, перенимает инициативу застольной беседы на себя:

— А вы, кстати, слышали, что наш сосед решился, наконец, сделать предложение предмету своего обожания... но почему-то получил отказ?

Бабушка вскидывает на неё удивлённые глаза, а отец, с детства приученный к хорошим манерам, только пожимает плечами. До конца обеда за столом царит молчание.

Неужели ей было совсем не интересно посмотреть на восхитивший её мужа купол?

Почему красота проходила мимо неё, не затрагивая ни душу, ни разум?

Собственно, моя мама была такой же. Это я могла часами сидеть в углу мастерской отца-ювелира, наблюдая за чудесами, создаваемыми его крепкими, умелыми руками..., а она ...

Она появлялась в мастерской только тогда, когда считала, что пора навести там порядок. Для неё то, что он делал, было просто источником денег.

Эти обе женщины, Элеонор и мама, казались удивительно похожими; обе совершенно не умные, плоские, страдающие врождённой слепотой чувств. В таких женщин можно влюбиться, но нельзя любить долго.

В тот день я сделала для себя потрясающее открытие; совершенно не важно, женятся люди по любви, по расчёту или по глупости (как мы с Филиппом) — важен итог через десять лет. Одни женщины теряют любовь своих мужей, а другие завоёвывают её! Я сделаю всё, чтобы мой муж меня полюбил.

Глава 7

Недели, медленно сменяя друг друга, дотянулись до осени. Мой жених отсиживался у себя в замке, присылая короткие деловые сообщения о ходе подготовки встречи новой хозяйки. Я пыталась отыскать между этими сухими строчками крупинцы нежности, перечитывала их по многу раз в надежде найти то, чего там не было.

В один из таких дней бабушка пригласила меня к себе. Даже не предложив присесть, что у неё всегда было признаком короткого разговора, она сказала:

— «Сегодня я хочу сделать тебе небольшой свадебный подарок, только тебе и только от меня» — и, увидев мою протянутую за подарком руку, рассмеялась: «Опусти руку — он не здесь. За ним нужно ещё съездить. Переоденься и спускайся вниз к коляске. Не забудь перчатки и зонтик. Я предупредила Элеонор, что мы вернёмся только к вечеру — ты слишком бледна и пара часов морского воздуха пойдут тебе на пользу».

Через пятнадцать минут, удобно разместившись на мягком сидении кареты, мы двинулись в путь...

Дорога вилась между холмов, выжженных солнцем до тёмно-терракотового цвета, не оставившего на них ни единого зелёного пятнышка. Только пережившие этот зной, посеревшие и уставшие от жары кактусы стояли вдоль дороги и, выпустив свои длинные острые колючки, отпугивали неосторожного путника, попытавшегося бы воспользоваться их иллюзорной тенью.

Время от времени, искоса поглядывая на бабушку, я мысленно благодарила её за молчание, за то, что она не спешит ни с объяснениями, ни с вопросами, — так было проще нам обеим.

Воздух постепенно становился свежее. Серые кактусы уступили место маленьким зелёным островкам, которые, расширяясь, и сливаясь друг с другом, превратились в настоящие зелёные рощи. Мы приближались к морю.

Бабушка остановила карету почти у самого берега, отпустила кучера, велев забрать нас часа через три, и повела меня «дышать морским воздухом».

Мы по-прежнему молчали и смотрели на море. Я ещё ни когда не видела его таким злым. Оно поднимало свои тяжёлые волны, как бы сжимая кулак, и обрушивало со всей силы на берег, потом отступало на пару шагов, заряжаясь новой яростью, и опять наносило удар. Почему? За что? Ведь берег, распластавшийся под этими ударами, даже не пытался защищаться. Море забрасывало свою жертву грязной тinou, избивало камнями, а та, казалось, не замечая ни унижения, ни боли, равнодушно лежала на спине и глядела в небо.

— Совсем как у нас, у людей, — подумалось мне, — одни всегда правы, а другие — покорны.

— Вот мы и пришли к подарку, — прервала мои размышления бабушка.

Обогнув выступ скалы, похожей на ступенчатую башню, мы вошли в большую спокойную бухту, окаймлённую невысокими зелёными деревьями, в которых спрятался маленький одинокий домик.

— Что ты хочешь мне подарить? Эту бухту? — попыталась пошутить я.

— Я дарю тебе только домик, но бухта даётся в придачу, — засмеялась бабушка и, взяв меня за руку, подвела поближе к этому замысловатому строению. Снаружи оно напоминало развалины старой башни, сложенной из больших, неотёсанных камней, на которые значительно позже водрузили новые стены с небольшими окнами и накрыли всё это простой плоской крышей.

Честно говоря, я недоумевала, зачем мне это чудовище, но вежливость требовала благодарить за подарки, даже если они тебе не нравятся.

Бабушка, не обращая внимания на моё недоумение, открыла большой тяжёлый замок и предложила зайти в дом. Внутри он выглядел значительно просторней, чем это казалось снаружи. Простая деревянная мебель — несколько сундуков, украшенных незамысловатой резьбой и коваными накладками на углах, посередине — большой деревянный стол с резными ножками. На каменный пол было брошено несколько пушистых овечьих шкур. По-домашнему уютно выглядели камин с двумя удобными креслами в углу и глубокая оконная ниша, открывавшая вид на море. Ещё две ниши, вырубленные в противоположной стене, были закрыты толстыми дверьми; значит, дом не ограничивался только одной комнатой.

Я постепенно привыкала к его стенам, цвету и запаху — они действовали успокаивающе.

— Откуда у тебя этот дом и для чего он тебе нужен?

Бабушка указала на кресла: «Давай присядем. Мои ноги становятся с годами всё старше, а дороги всё длиннее, и не спеши с вопросами — я сама расскажу тебе всё по порядку», — осадила она мою торопливость

— Эти развалины нашла когда-то моя мама, твоя прабабушка, на которую ты так похожа. По секрету от всей семьи она построила на этих развалинах маленький домик только для себя. Он стал её тайным убежищем. Вначале она уезжала сюда на один-два дня, чтобы успокоиться и подумать, а в последние годы, когда жизнь семьи окончательно разладилась, переселилась в него насовсем. Незадолго до смерти мама привезла меня сюда и сказала: «В жизни каждой женщины бывают моменты, когда необходимо побыть в одиночестве. Здесь очень хорошо думается; море хороший советчик».

— Как часто ты бывала в этом доме?

— За последние семь лет я побывала здесь дважды.

— И оба раза принимала важные решения?

— Семь лет тому назад я провела тут два дня и приняла решение забрать тебя к нам.

— А второй раз?

— Неделю тому назад. Подготовила дом к твоему приезду.

— Я давно хотела спросить, откуда вы с отцом узнали, что я существую?

— Это произошло семь лет тому назад. Моему сыну, твоему отцу, исполнилось тогда тридцать. Он был уже восемь лет женат на Элеонор, но брак так и оставался бесплодным. Твой отец был единственным из моих детей, оставшимся в живых, а значит, на нём наш род заканчивал своё существование. Как-то раз я выразила ему своё сожаление по поводу их бесплодия. Он поразил меня коротким ответом: «Не надо говорить во множественном числе. У меня есть ребёнок, дочь», — и рассказал историю, произошедшую с ним в еврейском поселении. Он сознался, что несколько лет спустя, незадолго до женитьбы на Элеонор, придумал себе какую-то поездку через это поселение и увидел на крыльце дома ювелира, которого они тогда громили, его жену с ребёнком на руках. Это была девочка с большими серо-голубыми глазами.

— Тоже мне невидаль, еврейский ребёнок с голубыми глазами. После всех разгромов и гонений, выпавших на долю этого народа, какая только кровь в них не намешана! — отмахнулась я от его уверенности.

— У неё были не просто голубые глаза, а глаза моей бабушки, твоей матери, — оборвав разговор, сын пожал плечами и вышел из комнаты.

Весь день я пыталась заняться чем-нибудь полезным, но его рассказ, от которого я с такой лёгкостью отмахнулась, успел зацепиться за какой-то краешек моей души и пустить там корни. Они беспокоили меня, вызывая одновременно раздражение и любопытство.

А что если и в самом деле эта еврейская девочка — моя внучка? Промучившись пару недель, я отправилась в еврейское поселение к ювелиру заказывать украшения, всё равно какие. Важно было увидеть его дочь.

Помнишь нашу первую встречу? Ты разглядывала меня с таким любопытством... на какой-то момент у меня даже перехватило дыхание... на меня и вправду смотрели глаза моей мамы. Я попросила помочь мне с выбором камня... и ты ответила её улыбкой: такие же некрупные зубы с небольшой расщелинкой между двумя передними... изгиб губ... и руки — широковатые, лишённые аристократических ямочек и длинные, ещё по-детски пухлые пальчики...

Признаюсь честно, я уезжала с твёрдым намерением никогда больше к тебе не возвращаться. Моё первое и окончательное решение было таким: заказанные брошки заберёт кто-нибудь из прислуги — всё равно носить их я не собиралась. Они отправятся на самое дно какой-нибудь шкатулки, как напоминание о нашей встрече, о которой никому не положено знать. Так постановил мой разум, а чувства... Они бередили душу воспоминаниями. Ты не знаешь, как это больно — терять детей, а я похоронила троих...

Через неделю я поехала забирать заказ. Разум заключил с чувствами мирное соглашение: надо проверить ещё раз — может это сходство мне только привиделось, может свет падал не с той стороны. Во второй раз он по-прежнему падал не с той стороны — схожесть с моей матерью не вызывала ни малейшего сомнения.

Тогда-то я и скрылась ото всех в этом доме, что бы побыть одной и подумать. Просто внебрачный ребёнок — это не страшно. После каждой, даже самой маленькой войны, по земле побеждённых бегают пара десятков маленьких бастардов с перемешанной кровью. Кстати моя мать тоже была результатом случайной встречи испанской аристократки с каким-то

голубоглазым, светловолосым воином. Воспользовавшись на минуту правом победителя, он навсегда исчез, оставив нам, в память о своей победе, серо-голубые глаза. Всё это называется законом войны, но полуеврейка...

В те дни я долго стояла у окна и смотрела на море, раздражённое моей нерешительностью. Оно как бы говорило мне: «Посмотри на меня. Я срываюсь в пропасть и снова встаю, хотя это подчас очень больно. Я рискую. Я живу! А ты?»

В тот день я поняла нечто, для меня очень важное, и тогда решение пришло само по себе.

Бабушка сидела в кресле, погрузившись в свои воспоминания. Потеряв терпение, я начала её торопить:

— А что было дальше?

— А дальше всё было очень просто: вернувшись домой, я рассказала сыну о знакомстве с тобой и спросила, не хочет ли он забрать свою дочь домой.

— И что же он ответил?

— Да ничего. Ответ однозначно светился в его глазах. А потом он послал людей, которые и привезли тебя к нам. Запись в церковной книге о твоём рождении мы купили в маленькой деревенской церквушке, которая очень кстати пару лет тому назад сгорела.

— А что было то важное, что ты поняла, глядя на море?

Моя мудрая бабушка, задумчиво посмотрев на меня, спокойно произнесла: «Я поняла, что не бывает, правильных или неправильных решений. Знаешь, жизнь устроена как наш парк — на какую бы тропинку ты ни свернула, на левую, правую или среднюю, на длинную или на короткую, ты всё равно, всегда, рано или поздно, выйдешь на главную аллею. Так и в жизни. Человек рождается, чтобы выполнить предназначение, определённое для него Богом. Мы вправе выбирать только тропинки, которые ведут к этому предназначению. И больше ничего!»

— Значит, от нас самих вообще ничего не зависит?

— Почему? От нас зависит очень многое. Мы можем выбрать путь длинный, извилистый и интересный, а можем предпочесть безопасный, прямой и скучный. Единственно, что нам не дано — это изменить конечную цель пути.

Я всё ещё сидела в кресле, задумчиво глядя в незажжённый камин. Бабушкины слова потрясли меня; если всё за нас решено заранее, если нет никакой надежды повлиять на собственную жизнь, то зачем она вообще нужна?

«В доме есть ещё верхний этаж», — опять прервала мои размышления бабушка, и указала на дверь в правой нише. «Поднимись по лестнице и посмотри в окно. Оттуда очень красивый вид».

Теперь я стояла у окна и смотрела на море. Оно больше не злилось и не протестовало. Просто медленно и тяжело поднимало вверх свои волны, а затем, так же медленно опускало вниз. Вдох и выдох... человека, потерпевшего поражение. А берег по-прежнему равнодушно лежал на спине и смотрел в небо. Ему не было никакого дела до чужих страданий.

Постояв ещё несколько минут, я спустилась вниз. Запирая замок, бабушка протянула мне ключ: «Теперь он принадлежит тебе. Дорогу ты знаешь, а значит, сможешь приехать сюда всегда, когда почувствуешь в этом необходимость».

На обратном пути я продолжала размышлять о предназначениях. Что если бог решил наказать семью Филиппа за гордыню, и именно ему надлежало привести это в исполнение? Значит женитьба на простолюдинке, или, что ещё хуже — на полуеврейке, была предопределена. Ему был разрешен лишь выбор — та или другая. Следовательно, я была в этом процессе всего лишь инструментом и появилась на свет только для того, что бы

выполнить эту миссию. Тогда мой отец ни в чём не виноват — совершить злодеяние было его предназначением, а моя мама нужна была вообще только для того, что бы меня родить. Но наши пути с Филиппом должны были когда-нибудь пересечься, а значит, я должна была попасть в аристократическую семью моего отца. Вот почему Бог создал меня такой похожей на прабабушку! Ведь опознали меня только благодаря этой схожести. А роль Элеонор? Её была определена роль бесплодной жены; если бы в семье был законный наследник, никому не пришло бы в голову искать меня. Как сложно всё это задумано!

А почему, собственно, Филипп стал в моих рассуждениях центральной фигурой? Что если в центр поставить нашу семью, тоже когда-то прогневившую бога. Он мог решить покарать её потомков разорением и бесчестьем. На этот раз в центре оказывался мой отец. Построив новую цепочку возможных предназначений, я поняла, что роли основных участников при этом не изменились: Элеонор опять должна остаться бесплодной, мама — жертвой насилия, а я — похожей на прабабушку. Взяв в качестве центральной фигуры саму себя, я запуталась окончательно.

Но зачем богу нужно столько действующих лиц? Вспомнились слова бабушки: « Бог предоставил нам право самим выбирать дороги...» Значит он, как опытный шахматист, предусмотрел все наши возможные ходы и заранее расставил фигуры так, чтобы каждый, рано или поздно, угодил в расставленную для него ловушку. Шах и мат... А что происходит с фигурами, отыгравшими свою роль? Одними жертвуют сразу, другие остаются ещё какое-то время на доске, кого-то защищая, или атакуя, но в решающий момент все они покидают поле, освобождая место для завершающей борьбы титанов. Кто я в этой игре — королева или пешка?

В этот момент карету подбросило на какой-то кочке, и я опомнилась. Какое счастье, что бабушка не умеет читать мыслей, иначе она обвинила бы меня в неверии и богохульстве!

В голове и в душе царил полный хаос, и поговорить об этом было не с кем. Как можно обременять папу или бабушку своими стенаниями, когда они заняты таким важным делом — подготовкой свадьбы своей единственной наследницы! Они предоставили виновнице торжества самой разобраться с её девичьими проблемами.

И тогда я решила писать дневник, начав его со слов: «... хорошо помню себя лет с пяти...»

Временами плача от жалости к одинокому ребёнку, временами смеясь над собственными шутками, я дописала свои воспоминания до конца, до того самого дня, когда получила в подарок от бабушки заброшенный дом и пустынную бухту. Завернула тетрадку, наполненную моими обидами и горестями, в обрезок кожи и спрятала в маленький деревянный сундучок для украшений.

Этот сундучок станет хранителем моего сокровища, моего детства. Он будет беречь его до тех пор, пока я не стану совсем взрослой, не разберусь в своих чувствах и не перестану, как голодный зверь, гоняться за призраком, который люди называли «любовь к ближнему».

В старых легендах пираты всегда зарывали сундуки с сокровищами в землю, и я, как опытный пират, тоже нашла подходящий тайник для моего клада: в парке под нашим с Лией кривым деревом. Ведь эта история принадлежит нам обоим, и хранить её мы должны вместе.

Дома меня ждало письмо от Филиппа. Он сообщал, что замок приведён в образцовый порядок, повар заучил наизусть список моих любимых блюд и ежедневно тренируется в изготовлении гусиного паштета, доводя свой рецепт до полного совершенства, а старая кухарка, запомнившая моё пристрастие к вишнёвому варенью, наварила уже два увесистых бочонка. Так что, добавляя мой будущий супруг, лазить за вишнями не придется — деревья в парке она ободрала до гола.

Под конец просил приложиться за него к бабушкиной ручке, низко поклониться Элеонор и похлопать папу по плечу, если тот, конечно, допустит подобную фамильярность.

Во всяком случае, советовал рискнуть и посмотреть, что из этого получится. Обещал приехать через неделю и лично проверить качество исполнения наказа будущего главы семьи.

Со времени его отъезда это было первое письмо, написанное без напряжения. В нём чувствовался прежний, с детства знакомый и любимый Филипп. Червь ревности, поселившийся в моей душе со дня сватовства, поднял голову и подозрительно прошептал:

— Похоже, твой жених благополучно отрегулировал свои любовные проблемы. Отослал любовницу подальше в деревню, или наоборот, поселил её вблизи «замка». Что может быть практичнее — жена зазевалась на минутку, а муж уже сидит в гостях у соседки.

— Замолчи, мерзкий, ревнивый червяк. Дай побыть полчаса оптимисткой и помечтать, что он разочаровался в своей любовнице и понял, что лучше меня ему всё равно никого не найти.

Пару дней спустя бабушка призвала меня к себе. Она сидела в кресле неестественно прямо, напряжённо перебирая руками край кружевного платочка. Два красных пятна украшали её упругие щеки.

— Елена, я хочу поговорить с тобой об одной очень важной вещи. Через несколько недель ты выйдешь замуж и... В общем... пора тебе уже кое-что узнать о жизни замужних женщин и об их священных обязанностях. Сядь, пожалуйста.

Я села в указанное мне кресло и послушно приготовилась слушать... о священных обязанностях жён.

— Самый главный долг каждой замужней женщины — родить детей, достойно воспитать их и так далее... Ты понимаешь, что я имею в виду?

— Да, да. Конечно, понимаю. Таковы священные женские обязанности.

— Да нет, дело не в этом...

Бабушка начала мучительно ёрзать по креслу, беспощадно терзая ни в чём не повинное кружево, собрала последние силы и, наконец, выпалила:

— Что бы родить детей, женщина должна выполнить супружеские обязанности! Вот!

Это может быть и не совсем приятно, но в принципе ничего страшного. Все так делают. Я имею в виду замужних женщин...

— А незамужние этого не делают?

— А незамужние... фу... не говори глупости!

Мне пришлось спрятать глаза под ресницами, чтобы моя бедная, мучительно краснеющая и заикающаяся бабушка, не заметила в них смешинки. Не могла же я ей объяснять разницу между барышнями, выросшими за высокими стенами дворянских особняков и девчонками, проводившими половину своего жизни на улицах еврейского посёлка. В соседских домах постоянно рождались дети, половина женщин была вечно беременна, а собаки и кошки, не стесняясь присутствия посторонних, исполняли свои «супружеские обязанности» прямо на пороге дома. Девчонки постарше тут же на примере живого учебного пособия разъясняли малолеткам все биологические подробности процесса. Бедная, милая бабушка! Ну, зачем ты себя так мучаешь?

Но мужественная женщина не собиралась сдаваться. Она набрала полные лёгкие воздуха, как перед прыжком в воду, и... и довела своё благородное дело до конца:

— Значит так... Слава богу, Филипп — уже взрослый мужчина. Он знает, что делать. А ты... ты со временем к этому так привыкнешь, что даже замечать перестанешь.

— Ладно, бабушка. Поняла. Во всём положусь на Филиппа, — послушно промямлила я, вспоминая шуточки маминых подруг. Их громкий смех и блеск глаз явно противоречили бабушкиной теории. Судя по всему, они «это» очень даже хорошо замечали.

— Фу, устала. Иди к себе. Мне нужно отдохнуть.

— Подожди минутку. Мой жених велел приложиться за него к твоей ручке, предупредил, что через неделю приедет и проверит, правильно ли я выполнила задание. Мне пора привыкать во всём полагаться на него. Дай руку.

— Господи, какие вы ещё дети, — облегчённо вздохнула многоопытная дама, протягивая маленькую холёную ручку, — прикладывайся и иди.

Я нежно погладила её руку и приложила к своей щеке, мысленно извиняясь за свою иронию и за пережитые ею муки. Просвещение невесты на пороге свадьбы — это священная обязанность матери, а у меня её не было, вернее она была, но слишком далеко.

Через неделю приехал будущий глава семьи. Он, как всегда, ураганом влетел в дом, закружился по комнатам и увлёл всех и вся, кто встречался на его пути, в весёлую пляску под названием «торжество жизни».

В один из дней мы отправились вдвоём на прогулку. Во всех прочтённых мною романах, жених и невеста накануне свадьбы говорили только о любви, обменивались клятвами в вечной и нерушимой верности, готовности отдать жизнь друг за друга. Они гуляли в лунном свете, писали в альбомы романтические стихи, а мы... мы, как и пять лет назад, обменивались только шутками и подначками.

— На днях бабушка сказала, что на тебя во всём можно положиться. Это правда?

— Ну, насчёт положиться... это ещё надо обдумать, а вот опереться на меня можно, — отвечал Филипп, протягивая согнутую в локте руку.

Я взяла его под руку и чинно зашагала рядом.

— Итак. В чём же ты хочешь на меня положиться?

— В последнем письме ты дал мне три задания. С двумя из них я успешно справилась: в тот же день приложилась к бабушке и поклонилась Элеонор, а вот третье... в нём мне хотелось бы положиться на тебя. У тебя руки крепче, твоё похлопывание отец лучше прочувствует.

— Гусь, у тебя опять нелады с грамматикой. Это называется не полагаться на другого, а перекидывать на него свои обязанности. Тебе было поручено хлопнуть папу по спине. Вот подкрадись сзади и хлопни, а я оценю качество.

— И напишешь мне в альбом романтические стихи. В награду за послушание.

— И сколько же таких стихов ты в нём уже накопила? — мне почувствовалась в его голосе нотки ревности.

— А сколько за свою жизнь ты успел уже написать?

Глаза Филиппа, как тогда, в гроте его мамы, загрузили и спрятались за ресницами.

— Если бы ты только знала, насколько мне все эти годы было не до стихов!

Моя ладонь ощутила напряжённую силу руки взрослого мужчины, и что-то внутри оторвалось и покатило вниз. И «этого» можно не замечать? — мысленно спросила я свою многоопытную бабушку, — Могло так случиться, бабуля, что ты в своей жизни что-то не доглядела?

Шутить больше не хотелось. Ладонь вспоминала давно забытую мягкую уютность мамы. Тогда ни что не обрывалось и не скатывалось вниз... просто исчезали тоска и одиночество, а сейчас...

...А сейчас я стояла перед зеркалом в подвенечном платье, удивлённо разглядывая своё отражение. Какая же Элеонор умница! Она продумала всё до малейшей детали. Широкие модные рукава, посаженные чуть-чуть выше обычного, создавали ощущение хрупких, изящных плеч. А воротник! Распахнув свои кружевные крылья вокруг высокой причёски, он плавно переходил в глубокий остроугольный вырез, даря мне длинную, почти лебединую шею. «До

чего же тонка у невесты талия», — удивлялось зеркало, — «Можно подумать, широкая, белая юбка просто парит в воздухе, едва зацепившись за стебелёк цветка».

Не было больше ни длинного носа, ни толстых щёк, ни коренастого пони... передо мной в зеркале стояла прабабушка.

Сзади скрипнула дверь, и отражение показало высокую, стройную, элегантно одетую фигуру отца. Он медленно подошёл к зеркалу и встал рядом.

— Смотри, какая я теперь большая. Доросла, как и обещала, до твоего уха, ну почти доросла...

Его отражение ответило печальной улыбкой:

— Да, почти. Только зачем так быстро? Кажется, только вчера... маленькая, насмерть перепуганная девочка, примостившись на краешке кресла, смущённо поджимала ноги в непомерно больших ботинках... Думал, радость вошла в мой дом на долгие годы... Жаль, что не знал раньше, как быстро вырастут дети.

Я вспомнила о третьем задании и выполнила его, только по-своему. Подняла руку и прикоснулась к темным, густым волосам:

— Смотри, твои виски уже начинают седеть. Не старей, пожалуйста... или, если это необходимо, то как можно медленней.

Его волосы оказались значительно жёстче, чем я ожидала. Странно, мои ладони до сих пор хранят ощущение мамы, а отца... его они просто не знают. Почему я никогда не решалась к нему прикасаться? Так хотелось ещё раз провести рукой по седеющим волосам... Но отец уже подталкивал меня к двери:

— Нам пора. Гости сгорают от любопытства увидеть невесту во всём её великолепии. И Филипп в церкви наверняка, как застоявшийся конь, бьёт от нетерпения копытом, и каждые полминуты поглядывает на часы.

Из всей процедуры венчания моя память сохранила только три картинки: светящиеся на солнце сине-лиловые витражи церковных окон, растерянное лицо Филиппа и тяжёлые волны органной музыки, мягко уносившие нас под самый купол, а потом, так же бережно, опускавшие вниз.

Надо же. До чего ритмична жизнь! Опять, как семь лет назад, — свадьба накануне отъезда. Только на этот раз — моя свадьба.

Тогда прощание происходило в доме, за закрытыми дверями. Отец, придерживая меня за плечо, медленно спустился по лестнице навстречу людям в сером. Мама выскользнула из комнаты вслед за нами. Не оборачиваясь, повелительно подняв вверх свободную руку, он велел ей остановиться, и она покорно замерла на верхней ступеньке. Бросив взгляд на сопровождающих, отец решительно перекрестил меня:

— Да хранит тебя Бог. Всё, иди.

В этот момент мама вскрикнула, рванулась вниз, и, не обращая внимания на протесты мужа, вцепилась мне в плечи. Мой нос привычно уткнулся ей в живот и в последний раз вдохнул успокаивающий, родной запах... Лучше бы она этого не делала.

Сегодня прощание было многолюдным и шумным. Весь дом высыпал на парадное крыльцо. Бабушка истово крестила нас обоих, целовала по очереди в щёки, просила любить и беречь друг друга. Отец наигранно оживлённо давал последние наставления, а Элеонор..., взяв отца под руку и игриво прижавшись к его плечу, всем своим видом желала нам таких же, как у них, супружеских радостей. Старый повар просил передать его преемнику привет, утверждая, что тот всё равно никогда не научится правильно готовить для барышни её

любимые лакомства, а садовник преподнёс целый букет особых роз, выведенных специально для свадьбы. Прощание было одновременно весёлым и грустным, но главное — не навсегда.

Глава 8

Первые недели семейной жизни я, как растение, пересаженное на чужую почву, грустила и чахла. Филиппу хотелось, что бы я полюбила его дом так же, как любил его он; показывал старинную мебель, выполненную по индивидуальным заказам лучшими мастерами прошлого века, объяснял уникальную технику изготовления орнаментов, собранных из крошечных кусочков особо ценных пород дерева:

— Смотри, каждая порода имеет свой цвет и структуру, а все вместе они создают настоящую картину. Только она тоньше и теплее, чем написанная маслом. Наклонись поближе... чувствуешь, они всё ещё хранят свой живой аромат... А этот прелестный маленький комод, выложенный перламутром! Какие дивные пропорции! А стол на стройных резных ножках!

Я послушно наклонялась, нюхала старый шкаф, гладила стройные резные ножки и ничего не чувствовала, кроме раздражения. Зачем мне эти старые вещи, привезённые в дом сто лет назад чужими людьми?

Зачем мне бесконечные портреты родственников? Филипп часами водил меня по залам, подробно рассказывая о каждом предке в отдельности, об их заслугах перед королями и отечеством... Галерея чужих надменных лиц, не вызывающих ни малейшей симпатии!

Филипп чувствовал мой внутренний протест, и в его больших, тёмных глазах на многие месяцы поселились вопрос и разочарование.

Меня мучила совесть, но, ни шкафы, ни героическое прошлое предыдущих поколений, ни... «супружеские обязанности», о которых, мучительно краснея, рассказывала бабушка, не занимали в эти недели моих мыслей. Я постоянно искала следы женщины, в которую был влюблён мой муж. Кто она, где, что он с ней сделал? Если она была кухаркой или горничной, то в доме остались её подруги и родственники. Какими глазами они должны смотреть на меня, богатую наследницу, жизнь которой выслана, как ковром, деньгами её родителей. Я вглядывалась в лица прислуги, ища в них следы досады и осуждения, но... находила лишь понимание и симпатию. Они знали меня с детства, когда, под опекой и покровительством бабушки я гостила здесь целый месяц.

На светских приёмах было ещё хуже. Кто из молодых замужних дам вздрагивает и краснеет при виде Филиппа, из чьих задрожавших рук случайно падает веер, кто, гордо повернув к нам напряжённо выпрямленную спину, уходит в дальний конец зала?

Странно, но веера не падали из рук, и никто при нашем появлении не покидал зал. Женщины засыпали меня вопросами, мужчины — комплиментами, сочувственно улыбались ответам «невпопад» и дружно радовались, что на свете есть хотя бы одно правило, не допускающее исключений: красивое женское лицо говорит, прежде всего, о несусветной глупости его обладательницы.

Поздно вечером, когда то, чего бабушка советовала не замечать, оставалось позади, Филипп, подперев голову левой рукой, прорисовывал правой мои брови, нос, окантовку губ, и задавал вопросы, на которые не решался при дневном свете:

— Что случилось? Ты совсем разучилась смеяться. Тебе плохо со мной?

— Нет, конечно, нет. Всё хорошо, просто вся эта новая жизнь, новые люди... мне нужно немножко времени, совсем немножко...

Разве можно было сознаться, что я... неизлечимо отравлена ревностью?

Вот и всё! Случилось то, что рано или поздно должно было случиться. За завтраком, разбирая утреннюю почту, Филипп вскрыл очередное письмо. Напряжённо сведя брови,

перечел его несколько раз, молча встал из-за стола и скрылся в своём кабинете. Он появился только к вечеру, почернев и постарев лет на десять:

— Знаешь, возникли непредвиденные осложнения. Мне нужно на пару месяцев уехать.

— А я? Я поеду с тобой?

Ответ прозвучал, как выстрел:

— Это невозможно. Я отвезу тебя на это время домой. Твоему отцу всё объясню сам.

В тот момент меня резануло слово «домой». Значит, все эти полгода я была здесь в гостях! И сегодня меня, как назойливого посетителя, вежливо выпроваживают за дверь, ссылаясь на головную боль хозяйки! Злость, перемешанная с обидой, поднявшись откуда-то из середины живота, ударила в голову и тяжёлой, тягучей массой растеклась по всему телу. Встать, спокойно выйти из комнаты... только бы он не заметил, как трясутся губы...

— Елена, не сердись. Я приеду за тобой так скоро, как только смогу, и тогда всё объясню.

— Когда мы выезжаем?

— Завтра утром.

Вечером, собирая вещи, я пыталась осознать своё новое положение. Кто я теперь? Жена в отставке или вдова при живом муже? Красивые платья, сшитые по моделям Элеонор, больше не понадобятся — они останутся здесь вместе со всеми подарками Филиппа. Пусть разбирается с ними сам; захочет — выбросит, захочет — передарит своей любовнице.

Почему у него не хватает смелости объясниться сейчас? Неужели потом будет легче?

И вот мы, как полгода назад, сидим вдвоём в карете, только на этот раз она движется в обратном направлении, в прошлое. Сегодня, как восемь лет назад, меня — «тяжёлое испытание», ненужную, старую вещь крутят в руках, не зная в какую кучу лучше отправить — «на выброс» или «на реставрацию». Так и не поняв, что с ней делать, относят на чердак, где годами хранится старое барахло. Принцип разумного хозяйства — пусть полежит до лучших времён, авось когда-нибудь пригодится.

Я сижу, вжавшись в угол кареты, и смотрю в окно. Тогда оно было залито дождём и залеплено дорожной грязью. Сегодня — режет глаза отвратительно яркое солнце. Филипп тербит мою руку, заунывно бубня что-то нечленораздельное:

— Милая, не переживай так, всё будет хорошо. Всего несколько месяцев, и мы опять будем вместе.

— Я должна знать сейчас, что случилось, куда ты так торопишься. Для меня это очень важно.

— Сейчас не могу, не имею права об этом говорить.

— Боюсь, что «потом» для нас уже не будет.

Спрятав занемевшую руку, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.

Первая неделя моей новой жизни осталась позади. Роль жены, отправленной в изгнание, постепенно прирастала ко мне, как новая кожа, но не только душа, а всё тело протестовало против этого чужеродного вторжения; оно покрылось мелкими отвратительными волдырями и постоянно чесалось. Бабушка пыталась помочь ему какими-то примочками и компрессами, но оно отчаянно бунтовало, выбрасывая всё новые фейерверки зудящих, пунцовых прыщей.

Отец предлагал почитать новые книги, Элеонор увлекала плетением венецианских кружев, а повар — французским фрикасе из цыплёнка с грибами. Если бы они знали, как я им благодарна за помощь и сочувствие, и как меня тошнит только при одном виде этих проклятых кружев и фрикасе!

Я часами носилась по парку, проживая мысленно вновь и вновь каждый день, каждую минуту проведённую вместе с Филиппом. В какие-то дни выстраивалась чёткая картина под

названием «Во всём виновата я сама»: скучная, скованная, неумная... холодная. Несколько дней спустя вырисовывался совсем другой сюжет: «Во всём виноват он»: лживый, честолюбивый, самовлюблённый, в вечной погоне за дешёвым успехом. Месяц за месяцем эти две версии ритмично сменяли друг друга: по четным дням недели был виноват он, по нечётным — я.

В один из таких дней, сидя в библиотеке и машинально расчёсывая сгибы локтей, я прочла название рукописи, лежавшей на папином столе: «история Инквизиции», а рядом — сборник отдельных листов под общим заголовком «Инквизиция без Маски»

Каждый испанец знал с детства, что нет в жизни ничего страшнее Инквизиции, но говорить о ней, а тем более писать...

Первые же строчки печатного текста поразили меня своей смелостью:

«Инквизиция является церковным Трибуналом, поэтому её строгость не соответствует проповедуемому католическими священниками духу смирения...

Жёсткие приговоры противоречат учению Иисуса Христа о всепрощении. Способ ведения судебных процессов попирает ногами основные права граждан. Инквизиция затормозила на многие годы развитие науки, культуры и экономики».

Дверь скрипнула, и на пороге показался отец. Он взглянул на бумаги, разложенные на столе, и смущённо улыбнулся.

— Ты получил это недавно?

— Ты права. Очень неосторожно оставлять такое на столе, когда по дому бегают два пронзительных глаза и любопытный нос.

— Можно мне читать дальше?

— Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы ты читала весь трактат. Это очень жестокая история. Лучше я расскажу тебе основную суть и взаимосвязи, — предложил он, садясь рядом.

— История Инквизиции началась в 1478 году, когда король Фернандо и его жена, королева Изабелла испросили у папы римского Сикста IV разрешение на создание Инквизиции в Испании. В тот период испанские монархи больше всего боялись влияния арабов и иудеев, потому что культура, торговые навыки и связи этих двух народов были основаны на древнейших традициях и многовековом опыте. Испанцы в этом смысле им явно проигрывали. Официальной целью учреждения Инквизиции была борьба за чистоту и совершенство католицизма, а неофициальной — очистить территорию Испании от опасного соперника. Арабы и иудеи были поставлены перед выбором: или они переходят в католицизм, или покидают страну.

Многие из них действительно уехали, но многие предпочли изгнанию христианство. Их называли новыми христианами, или конвертированными. Но вся беда была в том, что в руках многих из оставшихся концентрировался капитал. Они продолжали активно торговать с Индией, американскими колониями, с Англией. У них были деньги, а значит и власть. Испанская монархия по-прежнему чувствовала себя неуверенно. На помощь пришла святая Инквизиция: она объявила конвертированных лжецами, принявшими истинную веру только формально. Населению внушалось, что в душе эти обманщики остались такими же безбожниками, и втайне по-прежнему соблюдают свои традиции и молятся своим богам. Два столетия потратил святой Трибунал на изничтожение «неверных». Безусловно, преследовали не только евреев и арабов. Жертвами Инквизиции становились протестанты, колдуны и колдуньи, люди, занимающиеся наукой и искусством, а так же болтливые и неосторожные.

Механизм был разработан до мелочей: достаточно просто доноса — доказательств не нужно, под пытками человек сам во всём сознается. Суд — чистая формальность. Приговор — либо многолетнее заключение в тюрьму, либо казнь — сожжение на костре, но при этом всегда полная конфискация имущества. Именно об этих методах ты только что и прочла в трактате.

Представляешь, какой неиссякаемый источник дохода! Если в сети попадалась мелкая рыбёшка — его козу или корову получал донёсший на него сосед. Крупная добыча делилась между инквизицией и казной.

Владельцы богатых торговых домов и банков толпами покидали Испанию, увозя с собой свои капиталы. Страна нищала, хотя её географическое положение, полуостров, окружённый со всех сторон водой, а значит и портами, создавало все предпосылки для быстрого экономического развития.

В 1626 году владельцы крупнейших торговых домов, находившихся за границей, обратились с деловым предложением к Филиппу IV: «Король обеспечивает нам защиту от преследований Инквизиции, за что мы со своей стороны отправляем в восточную Индию, Анголу, Кап Верде и другие колонии многочисленные корабли с товарами. Особо выгодна в настоящее время торговля с Бразилией. Туда будут поставляться из Европы машины для обработки сахара, на который во всём мире огромный спрос. Все таможенные пошлины поступят в испанскую казну. Денег только от этой сделки хватит на содержание и обновление всего военного морского флота. Точно также все остальные таможенные пошлины будут принадлежать Вашему Величеству».

— Ну и как отреагировал король на это предложение?

— Вся беда была в том, что с этим проектом выступили конвертированные евреи, бежавшие когда-то из Испании, спасаясь от террора. Король разрешил им въезд, не обещая безопасности. Естественно, никто из них в Испанию не вернулся. Таможенные пошлины текли по-прежнему в казну Франции, Италии, Голландии и Англии.

— Неужели в те времена не нашлось ни одного умного человека, или группы людей, которые могли бы повлиять на эту безумную политику?

— Такой человек был — Граф Оливарес, премьер министр Филиппа IV. Поставив себе целью восстановить и стабилизировать испанскую монархию, он предложил крупным финансистам из конвертированных, живущих в изгнании, вернуться на родину, пообещав даже компенсировать нанесённый ущерб.

— И что из этого получилось?

— А ничего хорошего. Некоторые из них, поверив обещаниям, действительно вернулись, развернули свои дела, а потом... Жесточайший террор, начавшийся в Мадриде в 1655 году, вынудил тех, кто, конечно, успел, снова покинуть страну. В книге, лежащей на моём столе, описан целый ряд процессов, потрясших в те годы весь просвещённый мир. Вот смотри: 1650г. — Один из крупнейших банкиров того времени, Мануэль Коррицос де Вилласанте. 1669г. — Луис Маркус Кардосо, владелец табачной монополии, Франсиско дель Кастилло, Симон Руиц Песоа, и т.д. Те, кто вовремя опомнились, сбежали со своими капиталами во Францию или в Голландию.

— Я не понимаю логики правительства. В моём понимании — если в курятнике имеется курица, несущая золотые яйца, зачем отправлять её на суп, если можно каждый день складывать в корзинку по золотому яйцу?

— Это нормальная логика человека, у которого нет такой курицы. Для Инквизиции важно было другое: управлять голодным, тёмным, а главное, запуганным народом проще, чем сытым и просвещённым, а для себя и монархии денег хватит — конфискация — прекрасный источник дохода.

— Папа, ты, кажется, начитался запрещённой литературы!

— А ты откуда о ней знаешь?

— Нашла у Филиппа в библиотеке. Правда прочесть толком ничего не успела. Он заметил и перепрятал.

— Правильно сделал. Тебе ещё рано. Кстати о литературе. В восемнадцатом веке количество громких процессов резко сократилось — один в два, а позднее и в три года.

Инквизиция сосредоточила своё внимание на цензуре. Между 1747 и 1807 годами она запретила порядка 500 книг только на французском языке. Среди них Вольтер, Руссо, Монтескьё. Запрещены были Лейбниц, Декарт, Бэкон и т.д. Другое дело, что во времена правления Карла IV при желании можно было достать эту литературу. Кадниц был для неё открытым портом.

В общем и целом я обрисовал тебе историю развития нашей страны за последние 300 лет. Могу только добавить — у нас этот инструмент был доведён до полного совершенства, и уверен, этим опытом воспользуются ещё, и не раз, будущие поколения. Думаю, что на сегодня тебе хватит.

— Только один, последний вопрос. Как, несмотря на все эти преследования, удалось выжить моей семье... я имею в виду, моей первой семье?

— Я могу только предположить, что их безопасность оплачивалась какими-то очень богатыми людьми. Они оказались, по твоему выражению, той златоносной курицей, которую было выгоднее оставить в курятнике, чем пускать на суп.

— А ты... что занесло тебя тогда в это поселение? Зачем?

Похоже, отец был готов к этому вопросу. Он, умный и тонко чувствующий человек, наверняка понимал, что его прошлое до сих пор держит меня настороже.

— Что меня туда понесло? Глупость и юношеское бахвальство. Тогда я ещё не прочёл всех этих книг, — он указал на свои книжные шкафы и стол, — мои мозги, как и у всех моих сверстников, были засорены официальной пропагандой. То, что я сделал — большой грех.

— А откуда ты всё же узнал, что я существую?

Ко второму вопросу папа явно не успел подготовиться; он... теребил бумаги на своём столе и молчал, а я терпеливо ждала. Столько лет я ждала ответа на этот вопрос — ещё несколько минут уже не имели значения. Наконец он оторвался от бумаг и повернулся ко мне. Лицо, как тогда, после урока верховой езды, слегка покраснело, а глаза смотрели смущённо и просяще.

— Я попытаюсь тебе всё объяснить — теперь ты замужняя дама и, надеюсь, сможешь это понять. Мужчины устроены иначе, чем вы; через их жизнь проходит множество женщин. Одни из них приходят и уходят, а другие... другие остаются в памяти навсегда. Так было с твоей мамой; я не помню её лица, никогда не слышал её голоса, но то, что я испытал с ней, запомнилось на всю жизнь. Такого не было со мной ни до неё, ни после, вообще никогда больше не было. В какой-то момент она приподняла ресницы, и я увидел её дивные, тёмно-вишнёвые глаза. В них не было ни страха, ни вражды, только удивление.

— А что было потом?

— Потом... В общем... мне очень хотелось увидеть её ещё раз, и года через три я придумал какие-то дела в районе вашего поселения... Она сидела на пороге дома, держа на руках ребёнка с густыми белыми кудряшками. Я остановился возле колодца — помнишь колодец на улице против вашего дома? — и стал поить лошадь. Твоя мама, бросив равнодушный взгляд в мою сторону, поставила ребёнка себе на колени и повернула ко мне лицом. Знаешь, как на картинах старых мастеров, «Мадонна, предъясняющая миру своего младенца». Только она держала в руках не мальчика, а девочку с большими, серо-голубыми, моими глазами. Минуту спустя она, молча, поднялась и ушла в дом. Так я узнал, что ты существуешь. Вот и вся история.

— Не вся. Ты видел её ещё один раз, когда приезжал говорить обо мне. Она стояла во дворе и развешивала бельё. Ты спросил её о хозяйине дома, и она указала рукой на вход в мастерскую.

— Жаль, но тогда я не обратил внимания на женщину, по-видимому, был слишком озабочен предстоящим разговором.

Я разглядывала его профиль; тонкий, с едва заметной горбинкой нос, очень чётко очерченные губы, висок, отливавший в свете свечей серебром... Никогда, больше никогда, как бы плохо мне ни было, не назову его в своих мысленных монологах «испанским негодяем». Человеческая жизнь слишком длинная, что бы прожить её без единого греха.

Поздно вечером, лёжа в постели, я размышляла об истории Инквизиции, судьбе моего народа и моей первой семьи. Казалось, они вели нормальную, человеческую жизнь; справляли свадьбы, рожали детей, давали мальчикам образование, вели свои внутрисемейные войны — кто лучше ведёт хозяйство и крахмалит бельё, но на самом деле они были заложниками. Пока текут деньги — их не трогают, но, как только поток иссякнет...

Почему они не уезжают, как многие из их соплеменников, чего они ждут?

Вспомнилось возмущённое восклицание ювелира после разговора с моим отцом: «О чём они думают, забирая тебя к себе? Как они смеют рисковать твоей жизнью?»

А о чём думает он сам, оставаясь в Испании и рискуя жизнью своих детей?

Потом мысли переключились на историю отца и мамы; две случайные встречи, два коротких эпизода... и воспоминания на всю оставшуюся жизнь.

Почему Элеонор прошла бесследно через жизнь своего мужа, а мама запомнилась навсегда? Как он выразился тогда, на поляне? В семейной жизни есть вещи важнее красивых платьев... Да есть, и эти «вещи» люди смущённо называют супружескими обязанностями. Год назад, рассуждая о разочарованных мужьях, я назвала их жён плоскими, неумными, страдающими врождённой слепотой чувств, считала, что ценность женщины измеряется количеством прочитанных ею книг. Живя полгода с Филиппом, я каждую свободную минуту сбегала в библиотеку, выбирала книги с его пометками на полях, пыталась понять ход его мыслей и мечтала, что когда-нибудь обо всём самом важном он будет говорить только со мной. Вот и домечталась; пока жена читала книги — муж сбежал к любовнице. И совершенно не важно кто она, его любовница, кухарка или знатная дама, важно только одно — с ней он испытывает то, что никогда не испытывал со мной. Я представила себе Филиппа, его гибкое, подвижное тело, чуть смугловатую кожу... и что-то внутри охнуло, оборвалось и покатилося вниз.

Всю ночь мне снился один и тот же кошмар; я бегала по бесконечной картинной галлерее, увешанной сотнями мадонн, предъявляющих миру своих младенцев. Бегала в поисках одной особой картины и не могла найти. На всех картинах младенец был мальчиком, а мне нужна была — с девочкой.

Глава 9

Утром я отправилась в парк к нашему с Лией дереву, откопала своё сокровище и, присев на каменную скамейку в беседке из роз, вписала в свой дневник самый первый абзац, начав со слов: «Я родилась в состоятельной еврейской семье...»

Осень опять вступила в свои права, освежив розы и мелкие голубые цветочки в расщелинах истертых камней. Лучи солнца, проскальзывая между листьями купола, забросали мою юбку зеленоватыми пятнышками и позолотили струйку воды, веками напевающую свою весёлую, незамысловатую песенку.

Вечером бабушка, втирая в прыщи, обильно усыпавшие мои щёки, новую мазь собственного изобретения, в сомнении покачала головой и постановила:

— Завтра едем к морю. С этим безобразием пора кончать. Будешь дышать морским воздухом, пока вся эта гадость не исчезнет. Собери необходимые вещи и не забудь ключ от своего дома.

И опять, как год назад, мы не спеша приближаемся к бухте, спрятавшейся за скалой, похожей на ступенчатую башню, и опять, как тогда, — эти невыносимые море и берег. Подобно супружеской паре, давно надоевшей друг другу, они без устали ведут свою тысячелетнюю войну: море что-то раздражённо доказывает, швыряясь грязью и злобно урча, а берег, не имея возможности встать и уйти, равнодушно валяется под открытым небом, делая вид, что ничего не слышит и не чувствует.

Так будет и со мной, если Филипп, выбирая между чувством и долгом, надумает вернуться. Я буду, как моя мама, всегда и во всём виновата, а он, бедный и обездоленный, всегда прав.

Бабушка прервала мои размышления деловым замечанием:

— Вести хозяйство нам придётся самим. И готовить тоже.

— А ты что, готовить умеешь?

— Не могу же я в твоё тайное убежище тащить весь домашний персонал! Что сварим, то и съедим, — и растерянно помолчав, с надеждой спросила, — а ты умеешь готовить?

Я вспомнила, как когда-то при первой же попытке проникнуть на кухню, была безжалостно выброшена за дверь.

— Нет. Я даже посуду вытирать не умею.

— Ну что ж. Придётся недельку прожить без деликатесов — для здоровья очень даже полезно.

Прошла уже неделя с тех пор, как мы, два Робинзона, сидим на необитаемом острове, ведём наше незамысловатое хозяйство и дышим морским воздухом. Похоже, моё здоровье не зависит от количества поедаемых деликатесов: тело по-прежнему зудит, а прыщи, увядая за ночь под воздействием ядовитых мазей, распускаются к полудню подобно розам на бабушкином подоконнике. Разве может бабушка знать, что мази и воздух бессильны, когда отравлена душа! Отравлена ревностью и обидой.

Вечером я сижу с задранной юбкой в кресле, а мой неутомимый лекарь, не желающий признавать очевидного поражения, прибинтовывает к расчёсанным ногам пациентки своё новое изобретение. Не поднимая глаз от работы, она бросает в воздух вопрос:

— Если я не ошибаюсь, ты за всё это время не написала Филиппу ни одного письма?

—

— Я, кажется, задала вопрос. Очень бы хотелось получить на него ответ.

—

— Итак?

— Я не собираюсь ему писать. Зачем? Только унижаться.

— Почему унижаться?

— Он отправляет меня домой, как ставшую ненужной вещь, а сам сбегает к любовнице...

— К какой любовнице?

— Откуда я знаю к какой. К той, в кого он был влюблён, перед тем, как женился на мне. Он получил от неё письмо, сорвался и полетел по первому же зову, едва успев забросить меня к вам. Ты знаешь это лучше меня — он тебе всё рассказывает...

Бабушка молча закрепила последний узелок на хитрой повязке и аккуратно сложила инструменты в сумку. Она явно тянула время. Потом, слегка склонив голову на бок, подняла на меня глаза:

— Детка, я ничего не знаю про его любовниц. Да, он сорвался и полетел, но не к любовнице... а на войну, и там, в этом аду, человек счастлив любой весточке от любящей и преданной жены. Кстати, юбку ты можешь опустить.

— Ничего не понимаю. Какая война? Что он там забыл? Объясни, пожалуйста, всё по порядку. Почему он мне ничего не сказал?

— Филипп считал, что ты слишком молода, и, зная твоё богатое воображение, решил, что так будет лучше. Похоже, он ошибся. Твоя бурная фантазия с трагически-романтическим уклоном превратила тебя в цветущий розовый куст, разодранный собственными шипами. Я вижу, в твоём случае, правда — это единственная мазь, способная залечить болячки.

Твой муж с ранней юности с головой увяз в политике. Я рассказывала тебе о его дяде, к которому он переехал после смерти родителей. Дядя был премьер министром при Карле IV и серьёзно поддерживал идеи Годоя. Эти идеи вызывали тогда много споров: с одной стороны Годой боролся за сближение с Францией, видя в этом единственный путь к экономическим реформам и просвещению, а с другой стороны... сама понимаешь — дружба с сильным и богатым соседом всегда опасна; рано или поздно слабый превращается в вассала, вынужденного бороться за интересы своего суверена, в пушечное мясо. Как ты помнишь, Годой был свергнут, а дяде Филиппа пришлось уйти в отставку. Ещё совсем молодой племянник принадлежал в те годы к партии Фердинанда, состоял в его свите во время переговоров с Наполеоном в Байоне и сопровождал лишённого трона наследника в Валенсию, в замок Талейран, выбранный Наполеоном в качестве места изгнания Фердинанда.

— Это было в начале лета 1808 года. А потом он пригласил нас к себе?

— Да. Тем летом ты впервые побывала в его замке.

— Он казался таким весёлым, вечно счастливым...

— У нас он всегда отдыхал от больших потрясений. А потом ты... рядом с тобой он сразу превращался в счастливого ребёнка.

— А я думала, это я, вечно надутая и замкнутая, оживаю в его присутствии.

— Вы оба оживали, он и ты. Потому-то Филипп и попросил тебя в жёны. Он сказал, что ты — единственная женщина, с которой он хотел бы прожить жизнь, хотя ещё и очень маленькая.

— А что было в прошлом году, когда он сделал мне предложение?

— Когда мы вернёмся домой, просмотри ещё раз прошлогодние газеты. Твой отец их никогда не выбрасывает. Тогда испанские патриоты и политики учредили так называемые кортесы, перенявшие регентство над потерявшим доверие Жозефом Бонапартом.

— Кортесы — это что-то вроде английского парламента?

Совершенно верно. Каждый округ выдвигал туда своих кандидатов, общим числом около 120 человек. Филипп был выдвинут одновременно от двух округов. В тот год кортесы бурно обсуждали новую испанскую конституцию. Филипп подробно пересказывал потом содержание дискуссий твоему отцу. Я знаю об этом только в общих чертах. Твой муж находился в центре левого, прогрессивного крыла, а его дядя возглавлял консерваторов. Зажигательные, темпераментные выступления племянника склонили на его сторону многих заседателей. В итоге его редакция была принята большинством голосов — 90 против 60. Бывший министр обозвал племянника политическим авантюристом и выскочкой и порвал с ним все отношения. К нам он приехал залечивать душевные раны.

— И по случайности, между делом, женился на мне.

— Глупости. Этим всё равно, рано или поздно, должно было кончиться. Для твоего отца предложение Филиппа было полной неожиданностью, да и для Элеонор тоже, а мне всё давно было ясно. В последний вечер за ужином, он принимал нас тогда в своём замке, мальчишка появился к столу в белом камзоле... вы оба были такими забавными и так откровенно влюблены.

— А куда Филипп так нервно уехал после помолвки?

— Мириться с дядей. Несколько аргументов старого опытного политика произвели на него сильное впечатление. Они с папой потом долго их анализировали. Филипп признал свою неправоту и очень переживал по этому поводу.

— Мнение дяди имело для него такое большое значение?

— Дело не в дяде. Он понял, что политика — это не игрушки, что любой фанатик или честолюбец, обладающий силой убеждения, может увлечь за собой массы и нанести стране непоправимый вред.

— Так кто же он, по-твоему, фанатик или честолюбец?

— Ни то и не другое. Он — романтик, мечтающий спасти мир. Слава богу, мальчик умеет думать и не боится признавать своих ошибок.

— Ну а как с дядей, перемирие состоялось?

— А ты разве не помнишь — дядя присутствовал на вашей свадьбе.

— Честно говоря, свадьбу совсем не помню... тогда у меня в голове был полный сумбур, как, впрочем, и сейчас. А что было в том письме? Почему он помчался на войну?

— Ты знаешь, что уже два года англичане воюют с французами на нашей территории. Приблизительно полгода тому назад удача склонилась на сторону Веллингтона, то есть англичан, тем более, что основные силы Наполеона увязли в России. Для Испании возник, наконец, реальный шанс избавиться от французской оккупации. Филипп получил письмо от главнокомандующего испанской армией. Тот обратился к нему, как к патриоту, предлагая возглавить один из дивизионов в качестве генерала.

— Боже, какой из Филиппа генерал! Что он понимает в стратегии и тактике войны?

— А что, ты думаешь, он изучал все эти годы во Франции? Явно не историю древнего искусства.

Мне стало невероятно стыдно за себя. Это какой же надо быть душой с залепленными глазами, чтобы ничего не видеть вокруг себя и ничего не понимать! Поставить себя в центр Вселенной и постоянно решать одну единственную, дурацкую проблему — любят меня или не любят!

— А папа? Он тоже тайком занимается большой политикой?

— Раньше занимался, а потом... девять лет назад полностью отошёл от дел.

— Почему?

— Девять лет назад мы забрали тебя к себе. Мой сын решил, что не имеет права рисковать твоей жизнью. Ты стала для него важнее политики.

Вот так, мудрый, старый ювелир! А ты говорил: «Как он смеет...». Так кто же из вас прав? Кто из вас двоих рискует жизнью детей, а кто жертвует ради них своей гордыней?

— Ну что, девочка, теперь ты успокоилась?

— Не знаю. Понимаешь, для моего самолюбия, — я машинально вытянула вперёд руку ладонью вверх, — предпочтительнее война, а для его безопасности, — другая открытая ладонь, показывая вторую сторону медали, взвешивала аргументы на чаше весов... — уж лучше бы он пересидел смутное время у любовницы.

Бабушка, хитро улыбнувшись, скопировала мой жест:

— Как знать. Представь себе, Филипп пересидевает смутное время у любовницы в спальне... в одном сапоге, а тут на пороге появляется разъярённый, ревнивый муж..., —

она чуть приподнимает правую ладонь вверх, — хорошо, если сразу вызовет на дуэль, — в воздух всплывает левая, — а если выследит в тёмном переулке и прирежет, как зайца, кинжалом? — и разводит руки в стороны, вопросительно глядя на меня.

Я представила своего мужа, зайцем петляющего в одном сапоге по кривым переулкам, спасаясь от разъярённого ревнивца...

Похоже, бабушкино воображение нарисовало тоже нечто подобное, во всяком случае расхохотались мы одновременно.

Эту ночь я впервые спала спокойно — тело почти не зудело. Чудодейственные мази, наконец, подействовали. Неделю спустя мы вернулись домой.

Перечитываю последние страницы своего дневника, написанные почти год назад. Теперь я, наконец, поняла истинный смысл слов, сказанных отцом после сватовства Филиппа: «В жизни в любой момент может сложиться политическая ситуация, когда человека нужно убрать с дороги, и тогда о нём узнают всё...»

Дочитав «Историю Инквизиции» до конца, я узнала, что по испанским законам человек, претендующий на государственный пост, обязан доказать чистоту своего происхождения, то есть отсутствие даже у дальних предков арабской или еврейской крови, а мой муж... у него столько политических врагов!

Узнать о моём происхождении легко. Отец, когда он накинулся на жену ювелира, был не один, а значит осталось много свидетелей. Весь посёлок знал, что через девять месяцев после погрома у изнасилованной женщины родился «меченый» ребёнок. Да и свекровь никогда не придерживала язык за зубами, понося непутёвую невестку. Предполагаю, что найдётся много желающих продать эту информацию за хорошие деньги. А люди в сером, которые знают, откуда они забирали ребёнка и куда привезли. Боже! Как легко сложить всё это в чёткую картину: из дома ювелира исчезает голубоглазая дочь, и в тот же день у испанских аристократов появляется, до сей поры никому не известная голубоглазая наследница. Просто замечательно.

Отец вышел тогда из политических игр, чтобы не рисковать, а тут появился на сцене Филипп. Вот она, моя теория о предназначениях.

Тогда я закончила её вопросом: «Кто я в этой игре — королева или пешка?» Ответ на него могу дать сегодня: «Ни то и ни другое. Самовлюблённая дурочка, не понимающая и не чувствующая людей, живущих рядом. До сих пор люди оставались для меня просто статистами, плоскими пустыми схемами, носителями внешних признаков, которыми я награждала их по своей воле или по незнанию. Отца я считала умным аналитиком снаружи и бесчувственным злодеем внутри, а он оказался мудрым романтиком. Филипп... Что знала я о нём? Только внешнюю оболочку: жизнерадостный, красивый, в вечной погоне за удовольствиями и весельем, а он... Что я знаю о Элеонор? Каково было ей все эти годы чувствовать нелюбовь мужа и учить при этом хорошим манерам «плод его романтической любви» к другой женщине?

А бабушка, моя чудесная, мудрая бабушка. Как она понимает и поддерживает своего сына. Отходит в тень и не вмешивается, когда это не нужно — чаще всего во время его стычек с женой, и вновь появляется на сцене, когда он нуждается в помощи.

Если у нас с Филиппом когда-нибудь будут дети, смогу ли я, как она, остаться для них другом на всю жизнь?

Подумала о Филиппе и ужаснулась. Опять философствую о себе, а он в это время...

Когда пришло от него последнее письмо? Что, если как раз сейчас, в этот самый момент... его больше нет в живых!

— Папа, когда ты получил последнее письмо от Филиппа?

— Три дня тому назад. Через час отправляю обратную почту. А что?

— Не отправляй, подожди меня, вернее моего письма.

Отец с интересом заглянул мне в лицо, взял за руку и провёл пальцами по заживающим царапинам:

— Похоже, бабушкины примочки помогли, или потребовалось хирургическое вмешательство?

— Хирургическая операция прошла успешно. Пациент идёт на поправку.

— Давай, пациент, иди и пиши своё патриотическое письмо. Жена генерала всегда остаётся его соратницей, даже если сидит дома и вяжет чулки.

Моё короткое письмо заканчивалось совсем не патриотично: «Милый, я так соскучилась по тебе. Возвращайся, как можно скорее. Постарайся остаться живым, а всё остальное — не важно».

Дни, бесконечно тягучие, как капли смолы, медленно складывались в недели. Прыщи и царапины исчезли, уступив место венецианским кружевам и куриному фрикасе с грибами. Чудеса, выплетаемые нежными ручками Элеонор, вызывали восхищение даже у отца, а мой не в меру разыгравшийся аппетит — у повара.

Обычный, ритуальный, бесконечно длинный завтрак. Отец просматривает утреннюю почту, и его лицо расцветает буквально на глазах. Он протягивает мне нераспечатанный конверт:

— А это письмо — генеральше. Лично в руки. Короткая записка, написанная рукой Филиппа: «Послезавтра ровно в полдень грозный муж возвращается к Вашим ногам, миледи. Постарайтесь быть дома и обязательно улыбайтесь».

В назначенный день я с утра стою у окна, как стояла все эти годы в день приезда Филиппа. Первой услышать дробь лошадиных копыт за поворотом, а пару минут спустя, размахивая руками, приветствовать вылетающую на главную аллею карету. Только тогда всё было иначе: разгар лета, солнце, карета, скользящая по сухой, звонкой дороге, прочерченной голубоватыми тенями стоящих по обеим сторонам деревьев. Тогда я нетерпеливо теребила край занавески, предвкушая целый месяц радости, веселья и танцев.

А сегодня... Конец осени. Дождь льет целую неделю, стекает тонкими струйками по оконному стеклу, мелкой дробью стучит по каменным лестничным плитам, размывая дорогу в грязное липкое месиво. Я стою у окна, теребя рукой занавеску, и жду... Нет, сегодня мне не нужны ни музыка, ни танцы, ни веселье... сегодня я жду своего мужа.

Равномерная дробь копыт, и... несколько минут спустя, медленно переваливаясь по лужам, в аллею вползает карета.

Я срываюсь с места, и, не обращая внимания на крики Элеонор, мчусь по дороге, волоча по грязи свою нелепо длинную юбку. Филипп бежит мне навстречу, его ноги скользят и расползаются в жирном месиве. Мы буквально врезаемся друг в друга. Вцепившись в его плечи обеими руками, я, сама того не замечая, захлёбываюсь бабушкиным голосом:

— Господи, вернулся! Живой... и здоровый.

Он слегка охает: «Осторожно, плечо...»

Обхватываю за талию, крепко сомкнув руки за спиной, прижимаюсь каждым своим сантиметром к твёрдому, тёплому, почти забытому телу, и, уткнувшись носом в его шею, как когда-то утыкалась в мамин бок, вдыхаю запах мокрой, дорожной пыли. Вдыхаю ещё и ещё раз... и не могу надышаться.

Филипп накидывает мне на спину полы плаща, прижимает к себе и гладит по волосам.

— Всё хорошо. Я вернулся... живой и здоровый. Маленький, родной мой, гусёнок... успокойся... теперь все романсы мира будут только для тебя. Любимая, родная... не надо... не плачь...

— Я не плачу.

— А что ты делаешь?

— Я тебя нюхаю. Ты так замечательно пахнешь!

— Правда? — Филипп проделывает щель между моим воротником и волосами, просовывает в неё свой холодный нос и шумно втягивает воздух. — Боже!.. а ты... полжизни за один вздох!

Так мы и стоим посередине дороги, в грязи под дождём, обхватив друг друга руками, и не можем надышаться.

С крыльца раздаются призывы родственников:

— Хватит, идите сюда, у вас ещё вся жизнь впереди!

Медленно возвращаемся в дом, завернувшись в мокрый плащ, скользя и по очереди спотыкаясь о мокрый подол моей юбки.

В эту неделю я сделала ещё одно замечательное открытие. Какое счастье, что господь придумал супружеские обязанности — без них жизнь была бы такой же пресной, как... фрикасе без соли и перца.

Глава 10

Врач перевязывает Филиппу раненное плечо, бабушка, по его команде, подает нужные инструменты и тампоны, а я с ужасом смотрю на куски рваного человеческого тела, тела моего мужа, и едва сдерживаюсь. Он сжимает посеревшие губы и молчит, а у меня отнимаются ноги и холодеют пальцы. Боже! Как люди могут делать такое друг с другом! Ведь это же так больно! Филипп поднимает на меня беспомощные глаза измученной собаки:

— Елена, выйди, пожалуйста. Подожди снаружи. Мы скоро закончим.

Как я могу выйти и оставить его одного с этим страданием? Вот она — цена чужих честолюбий и жажды наживы. Зачем ему всё это нужно?

— Филипп, ведь я — жена генерала и должна учиться перевязывать раны. Боюсь, что это не последняя война в нашей жизни.

Врач, не отрываясь от работы, даёт короткий приказ:

— Здесь генерал — я. Руки вымыть и продезинфицировать, волосы завязать платком и не разговаривать.

Увлечённая самогигиеной, я и не заметила, как рана покрылась ослепительно-белой повязкой и в помощи моей больше не нуждалась.

Вечером мы с Элеонор сидим в гостиной у камина и вышиваем. Каждая молчит о своём. На белом холсте Элеонор расплывается пунцовая роза с прозрачной капелькой росы, повисшей на краешке лепестка, а у меня перед глазами стоит воспалённая, рваная рана на плече Филиппа, и пунцовое кровавое пятно, медленно проступающее через ослепительно белую повязку.

Мужчины опять закрылись в кабинете отца и дискутируют. Из-за двери доносятся их приглушённые голоса. Элеонор не выдерживает молчания:

— Сколько можно говорить о политике? Неужели им ещё не надоело?

— А тебе совсем не интересно о чём они говорят?

— Нет.

— Почему?

— Я считаю, политика — не женское дело. Мы созданы для другого.

— А для чего?

— В библии сказано: предназначение мужчин — добывать в поте лица хлеб насущный, а женщин — заботиться о домашнем очаге и... рожать детей. Наша задача в этой жизни — создавать и хранить красоту. Вот роза, которую я вышиваю. Она расцвела на кусте, прожила два — три дня и исчезла, а я поймала это ощущение, перенесла на холст и сохранила его навсегда. Кто-то выразил свои чувства в романсе или в балладе, а я спою их тебе ещё и ещё раз, и мы переживём их вместе и порадуетесь или, может быть, запечалимся, но это хорошая печаль, потому, что она никому не причиняет боли. А политика... это всегда обман, жестокость и, в конечном счёте — боль. Как может женщина, рожающая людей, убивать их своими же руками?

— Но ведь в истории известны женщины, занимавшиеся политикой. Они рожали детей и вели войны. К примеру, Клеопатра — у неё был сын от Юлия Цезаря, и она воевала с половиной мира. А английская королева Елизавета! А две русские императрицы — Елизавета и Екатерина... У Екатерины был законный сын, наследник престола, но она тоже прославилась своими завоеваниями.

— Ты выбрала плохие примеры. Это были неправильные женщины. Клеопатра — язычница, Елизавета — протестантка, а русские императрицы — вообще какие-то византийские ортодоксы. Они все были безбожницами, потому и жили не так, как надо. А мы с тобой — верующие, католички и жить должны по закону божьему.

Мне стало скучно. Элеонор так интересно начала разговор и так бесславно его закончила. Сделав вид, что полностью согласна с её аргументами, я снова углубилась в вышивание, продолжив размышления в одиночку.

Что это было? Осторожность, перенятая у мужа, или страх подойти слишком близко к опасной черте, своему бесплодию, неисполненному женскому предназначению? В наших беседах она всегда скользила по поверхности — мода, мелкие сплетни, беззлобные шутки... что творилось в её душе, глубоко спрятавшейся под венецианскими кружевами? Войдя в семью мужа, она так и осталась стоять на обочине. Собственно так же, как и моя мама. Последнее время я много времени проводила с бабушкой, но не слышала от нее ни одного упоминания ни о муже, ни об умерших детях. Однажды, выбрав подходящий момент, набралась смелости и спросила:

— Скажи, как давно умер мой дед? У тебя сохранились его портреты?

Она долго рылась в корзинке для рукоделия, морщила лоб, тянула время и наконец буркнула:

— Были где-то, а сейчас нет. Сгорели... при пожаре, — и быстро перевела разговор на другую тему.

Я пыталась разгадать секрет семейной жизни; что в ней самое важное, как нужно строить отношения с мужем, чтобы не остаться на обочине. Похоже, что одних «супружеских обязанностей» всё же маловато.

Прошло много недель, прежде чем врач торжественно объявил, что опасность миновала. Рана на плече Филиппа затянулась, оставив на память длинный розовый шрам.

Дорожки в парке тоже просохли. Садовник залечил их раны щебнем и свежим песком, а весна разукрасила голубыми тенями деревьев и ароматом свежераспустившихся магнолий.

Мы совершали нашу ежедневную, предписанную доктором часовую прогулку. Муж, как всегда, размышлял о своём, а я, молча, шла рядом, пытаюсь приспособиться к его энергичным шагам. Наконец Филипп прервал молчание:

— Сегодня врач сказал, что я здоров и в его услугах больше не нуждаюсь. Бабушка, конечно, не захочет меня отпускать, но, всё же, пора возвращаться домой.

— Но ведь твоя рука всё ещё плохо двигается.

— Это не страшно. Разрабатывать её можно и дома. Я вот что хотел спросить... Ты готова поехать со мной или хочешь остаться здесь?

— Как это — остаться?

— Видишь ли, все те месяцы, что мы прожили вместе, у меня было чувство, что ты очень несчастна. А в тот день, когда я сказал, что отвезу тебя домой, ты как будто, сразу успокоилась. В дороге вообще не хотела разговаривать, отвернулась к окну, сказав, что «потом» у нас не будет. Почему ты молчишь? Я прав?

— Нет.

— Прав. Приехав домой, ты скрылась в своей комнате, даже не простившись, и за все эти месяцы не написала ни одного письма. А я, дурак, так ждал! Каждый день просматривал почту, в надежде увидеть твой почерк, но... сама знаешь. Похоже, твой отец был прав, считая, что тебе рано выходить замуж. Ты ещё слишком молода для семейной жизни. ...Или я тебя в чём-то разочаровал? Не знаю.

Его шаги становились всё энергичнее и быстрее. Мне пришлось перейти на бег, чтобы не плестись у него за спиной, как потерявшая хозяина собака. Филипп впервые говорил со мной так категорично, и такого лица у него я раньше не видела. Жёсткое, холодное, не терпящее возражений лицо генерала. Боже, что я рядом с ним? Маленькая, наивная, фантазёрка. В этот момент он показался мне совсем чужим...

— Да, так что я хотел сказать... О ранении никому сообщать не хотел — зачем зря людей тревожить. После госпиталя собирался поехать сразу к себе. И вдруг, в последний момент, твоё сумбурное письмо. Не выдержал и помчался на зов, как мальчишка...

Я смотрела на его лицо, повернутое в пол оборота, прямой нос с тонкими, изящно вырезанными ноздрями, плотно сжатые, злые губы... даже трудно было представить, что они бывали такими нежными. Вспомнила день его приезда, заляпанные, мокрые сапоги, ноги, скользящие и расползающиеся в грязном месиве размокшей дороги... И взволнованное лицо... вовсе не генеральское.

— Короче. Я не хочу тебя принуждать жить со мной. Через неделю возвращаюсь домой, а ты... Право решения остаётся за тобой. Сейчас ничего не говори. У тебя есть несколько дней на обдумывание.

Какое-то время мы шли молча. Я, зная себя, понимала: если сейчас промолчу, значит останусь дома одна. Глупая гордость нарисует на моём лице равнодушное спокойствие, заставит развернуться, уйти к себе в комнату и, не попрощавшись, запереть дверь. На этот раз — навсегда. С трудом преодолевая внутреннее сопротивление, собрала всё своё мужество и задала мучивший меня вопрос:

— А тебе совсем не интересно, почему я себя так вела, что происходило всё это время со мной?

— Расскажи, если считаешь нужным.

— Я ничего не знала о тебе, о твоей жизни. Видела тебя всегда весёлым, чем-то увлечённым, постоянно куда-то спешащим. Ты сделал мне предложение, но выглядел в те дни таким несчастным, как будто женишься по принуждению... Я думала, что дело во мне... Вернее, не во мне, и я тут вообще ни при чём.

— Не понял. Так в тебе или не в тебе?

— В тебе. В общем... я придумала глупую историю, очень глупую, даже стыдно говорить... и, короче... все это время сходила с ума от ревности. У тебя дома все полгода искала следы бывшей любовницы, а когда ты получил письмо и сказал, что срочно уезжаешь — была уверена, что полетел к ней. Потому и не писала, не хотела навязываться.

— А почему любовница?

— Но я же не знала, что ты занимаешься политикой.

— Значит, по-твоему, мужчины заняты либо политикой, либо любовницами? Ну, Гусь, у тебя и представления о жизни! А ещё говоришь... взрослая!

— Но ты даже ни разу не сказал, что я тебе нужна, что ты меня любишь!

— А ты мне это когда-нибудь говорила?

Этот вопрос окончательно сбил меня с толку. Разве девушкам можно первым признаваться в любви? Но, если быть честной, я сама предложила ему себя в жёны. Вернее, когда-то предложила взять в сёстры, а потом — в жёны. Значит, и в любви объясняться надо было первой.

— Если быть честной, то я влюбилась в тебя ещё в детстве. А поняла это, когда мы с бабушкой приезжали к тебе в замок. Если бы ты не сделал мне предложение, осталась бы наверняка в старых девах, потому что всех сравнивала с тобой, и все они всегда оказывались хуже. Только никогда не знала, зачем я тебе нужна. Думала, забываешь о моём существовании, как только карета скрывается за поворотом дороги, а вспоминаешь — увидев на пороге дома ровно через год.

— Мне трудно так сразу объяснить своё отношение к тебе. Теперь ты знаешь, что все эти годы были заполнены напряжённой и, правда, не всегда, но опасной работой. Не буду врать, что помнил о тебе постоянно, но планируя поездку к вам, радовался, прежде всего, тому, что увижу тебя. У меня ведь, кроме вас никого нет, а ты... только с тобой я мог забыть обо всём и... Рядом с тобой жизнь всегда превращалась в маленький праздник.

— Но зачем же было жениться? Только потому, что я глупо пошутила?

— И поэтому тоже. Вернее это не совсем так. Я тогда действительно не думал о женитьбе, не до этого было, но после твоей шутки задумался. Ты действительно стала взрослой и невероятно привлекательной девушкой. Целый вечер отбою не было от кавалеров... понял — не пройдет и года, ты выйдешь замуж и станешь чужим мне человеком. А что дальше? Встречаться случайно раз в два — три года в свете, целовать ручку и поздравлять с рождением очередного ребёнка? Я не хотел тебя терять, поступил как эгоист и занял плацдарм прежде, чем появились опасные конкуренты.

— И правильно сделал. Быстрота и натиск — залог успеха. Как на войне. А почему — эгоист?

— Во-первых, твоя детская влюблённость — это ещё не любовь, это нормальное состояние юности. Все молоденькие девушки всегда в кого-нибудь влюблены. А во-вторых, положение политика, а я, как ты поняла, серьёзно увяз в ней, очень опасно. Сегодня он на коне, а завтра — на эшафоте, и тянет туда за собой всех близких. Твой отец пытался меня отговорить, ссылаясь на твоё полузаконное происхождение, но для меня это, в конечном счете, не играло большой роли. Важнее было другое. Я всё время ощущал себя этаким «Синей бородой», обманом затащившим маленькую принцессу в свой замок и запершим её за семью замками, практически лишив шанса полюбить по-настоящему. И чем больше ты грустила и замыкалась в себе, тем сильнее грызла меня моя нечистая совесть.

— Пока тебя грызла совесть, обезумевшая от ревности маленькая принцесса рыскала целыми днями по замку в поисках надёжно спрятанной любовницы.

— Вот поэтому-то мне с тобой так хорошо. Любой разговор, не успев стать банальным, оборачивается в шутку и заканчивается смехом... Ты просто чудо, и я очень тебя люблю, гусёнок. Ну что, поедешь со мной?

— Конечно, поеду. Единственно о чём я хочу тебя попросить — не утаивай от меня свою жизнь. Я не хочу, что бы мы стали супругами, встречающимися друг с другом только два раза в день — в спальне и за обедом. Пусть я буду тебе не только женой, но и другом.

— Ну, знаешь! Не слишком ли много ты от меня требуешь? Для любого нормального мужчины люди делятся на друзей, женщин, соратников и противников, а ты хочешь упаковать всё это в одну корзину и назвать её одним словом — «Жена»

— Нет, не всё. «Противник» останется снаружи. А ты попытайся стать «ненормальным» женщиной!

— А с тобой разве можно остаться нормальным?

— Ты самый лучший на свете, самый ненормальный муж!

Я обхватила Филиппа за талию и попыталась покружить в вальсе, но он не сдвинулся с места. Его лицо почему-то опять напряглось, а между бровей легла глубокая складка. Он обхватил меня здоровой рукой за плечи и развернул в сторону дома. Жаль, но, значит, ему сейчас не до танцев.

Глава 11

Через неделю мы вернулись к себе домой. На этот раз «замок» действовал на меня совсем по-другому. Старинная мебель казалась не только изысканной, но и романтичной; шкафы и в самом деле бережно хранили запах живого дерева, перламутр на чёрном лаке комода, как лунные блики, рассыпавшиеся по неподвижной глади озера, мерцал и переливался в переменчивом пламени свечей, портреты предыдущих поколений... да, именно они казались самым важным сокровищем дома. Я могла часами разглядывать их лица, слушать рассказы Филиппа о судьбах и характерах этих людей. Кто знает на кого из них будут похожи наши дети. А вдруг, как и я, на прабабушек или прадедушек.

В эти дни мне казалось, что вечно страдающая душа окончательно и навсегда выздоровела. Боль «недолюбленности» прошла. Я никогда не занимала места, предназначенного для кого-то другого, ни в жизни моих родителей, ни в жизни Филиппа. Теперь я знала, что пришла в этот мир и заняла место, приготовленное для меня.

Мы оба учились быть «ненормальной» супружеской парой: мой муж подробно разъяснял политические коллизии последних десятилетий, интересы и роли главных действующих лиц, свои взгляды и устремления. Я, прошедшая большую школу таких занятий с отцом, слушала, не перебивая, лишь иногда позволяя себе наводящие вопросы, и невольно сравнивала своих учителей. Отец объяснял всегда очень спокойно, как бы сохраняя нейтралитет. Руки лежали на столе, и в них не было напряжения. Иногда, анализируя события, он, говорил: «С одной стороны...», и открывал правую руку ладонью вверх... «Но с другой стороны...», и левая открытая ладонь располагалась на одном уровне с правой, оставляя обеим позициям равное право на существование. Мы вместе искали решающий аргумент, нарушавший мнимое равновесие.

А Филипп... ох уж этот Филипп! Он носился по комнате из угла в угол — я только успевала крутить головой, чтобы не потерять его из виду — образная речь, пересыпанная парадоксами и иронией. Разведённые в сторону руки с пальцами, плотно прижатыми друг к другу, замыкали вокруг себя пространство всезнания: «Ну, где это видано? Разве так можно?», горящие, возбуждённые глаза и тёмная, взлетевшая вверх волнистая грива. В такие моменты не оставалось ни крошки сомнения, что во всём может быть только одна правда и принадлежит она лично ему, окончательно и безраздельно. Отец учил меня мыслить, Филипп — преданно верить. Ну что ж, я сама напросилась ему в единомышленники, значит нужно мыслить едино, то есть так, как он. В такие моменты колени машинально сжимали сложенные вместе ладони — поза, ставшая привычной во время занятий с отцом-ювелиром. Тогда были арестованы только руки, а сейчас — мозг. Я была публикой, которую надо было очаровать, убедить и повести за собой. Он действительно очаровывал меня своим азартом, красотой, великолепной образной речью, но не убеждал, во всяком случае, не всегда. Мне не хватало «двух сторон».

Отец всегда говорил: «Если существуют два противоположных мнения, значит, правду нужно искать где-то посередине. В дискуссии важно не победить, а понять». Для Филиппа важно было победить.

Однажды, увлечённая темой, я переступила проложенную моим учителем границу — дала совет поискать эту середину, но, даже не успев закончить начатую фразу, получила жёстокий отпор:

— Знаешь, Гусь, советы ты можешь давать нашему повару или своей горничной, а мне... пока рановато. Не доросла.

Вспомнила раздражённое лицо отца-ювелира, обращённое к маме:

— Если очень хочется дать совет, походи к соседке и дай его ей.

Боже! Какие они, эти мужчины, разные и как при этом друг на друга похожи! А я ... я не была похожа на маму. Она, привыкшая к покорности, опускала голову и молча оставалась сидеть за столом, а я... задохнувшись от возмущения, выплюнула первое, что пришло в голову:

«Уж если ты сравниваешь меня с этим животным, так не путай, хотя бы, род и падеж. Правильно будет не Гусь, а Гусыня, можешь даже добавить — глупая», — резко выскочила из кресла и направилась к выходу. Филипп, опытный фехтовальщик, успел совершить резкий прыжок в сторону и вцепиться в моё плечо:

— Ты куда?

— На кухню. Отнесу повару совет.

Зарвавшийся супруг смотрел на меня несколько секунд ничего не понимающими глазами, а потом... потом откинул назад голову, открыл рот и ... расхохотался. Я всё ещё пыталась сохранить сердитое лицо, но оно уже вышло из моего подчинения. Через мгновение мы хохотали хором. И оба до слёз.

Нет, всё же он не похож на ювелира. Того даже представить себе хохочущим было невозможно.

Вечером, сидя за вышиванием, я размышляла о случившемся. Конечно, это очень обидно, когда тебя так резко ставят на место, но, может быть, не права была я?

Что если бы моя горничная, старше меня всего на пять лет, но уверенная в своём безграничном понимании всех тончайших нюансов жизни и этикета, взялась давать мне советы, кого приглашать на званный обед, а кого нет, не имея ни малейшего представления ни о политических конъюнктурах, ни о дипломатических планах моего мужа? Наверное, я отреагировала бы так же, как Филипп: отправила бы её к повару.

В этот день я сделала для себя очень важное открытие: совет — это очень опасный предмет. Им нельзя бросаться в кого попало. Его можно разве что предложить и только тому, кто готов его в данный момент принять. А с мужьями лучше вообще не связываться — не любят они умных жён. Жена всегда должна оставаться лишь сообразительной ученицей.

Пожалуй, среди нас троих, мамы, меня и Элеонор, последняя была самой мудрой. Я никогда не слышала, что бы она давала отцу советы. Он сообщал ей о принятом решении — она приподнимала бровь, слегка наклонив голову, смотрела на него снизу вверх беззащитными глазами и спокойно произносила: «Ну и хорошо, что ты уже всё решил. Тебе виднее».

С советами было покончено, но и роль бессловесной публики начала понемногу надоедать. Однажды я решила на маленькую хитрость: ученица не имеет права на собственное мнение, но ей разрешается не всё сразу понимать, а значит иногда переспрашивать и задавать вопросы. Однажды, во время очередной пламенной речи, когда отсутствие «второй стороны» особенно бросалось в глаза, я, воспользовавшись короткой передышкой и задала робкий вопрос:

— Я поняла почти всё, что ты сейчас объяснял, только один момент... не совсем. Ты сказал, что проведение реформ в таком виде, как задумали эти авантюристы, было бы губительным для страны. А что случилось бы с нами, я имею в виду со страной, если бы они были всё же проведены? В какую сторону развилась бы тогда экономика?

— В какую сторону развилась бы тогда экономика? — Филипп резко затормозил свой стремительный бег по комнате, несколько секунд озадаченно помолчал, а потом помчался дальше. «Как ты не понимаешь! Если они придут к власти, нам не будет места в этой стране. Мы станем политическими банкротами».

Его ответ абсолютно убедил меня в том, что для него есть только одна «сторона» — его убеждения и их полная и окончательная победа.

О чём собственно шла речь во всех этих дискуссиях? Проиграв войну против Испании, Наполеон был вынужден вернуть трон Фердинанду VII. 20 Ноября 1813 года в Валенсии, в резиденции Фердинанда, где он последние пять лет находился в изгнании, состоялись переговоры, результатом которых явился «Валенсийский договор».

Переговоры велись с испанской стороны Хосе Мигелем де Карваял и герцогом фон Сан Карлос и с французской — Антуаном Рене Матурином и графом де Лафорестом. Основной текст «Договора» не был опубликован ни в одной газете, но из коротких выдержек следовало, что Наполеон признаёт право Фердинанда на испанский трон, обязуется прекратить все враждебные действия против Испании, и признаёт права испанской аристократии на их владения. Фердинанд, со своей стороны, обязуется не только отказаться от преследования бывших сторонников Жозефа Бонапарта, но и восстановить их во всех прежних правах: им сохранялось их имущество, достоинство и честь. Кроме того, владелец престола обязался выплачивать ежегодную пенсию в 30.000 реалей родителям, Карлу IV и Марии Луизе.

Пресса с восторгом приветствовала возвращение Бурбона, а народ, как всегда, разошёлся с ней во мнениях.

По рукам ходили листовки с полным текстом этого договора. Из него, по мнению аналитиков, следовало, что Испания по-прежнему остаётся под контролем Наполеона, что Фердинанд, так же, как и его отец, — только послушная марионетка в руках французского императора, а значит, война и вся пролитая на ней кровь были напрасны.

С другой стороны Кортесы, заседавшие с января 1814 года в Мадриде, обратились к Фердинанду с официальным приглашением прибыть в столицу и принести торжественную клятву соблюдать Конституцию, принятую Кортесами в 1812 году, и проводить политику, руководствуясь только интересами испанского народа, что явно противоречило условиям, записанным в «Валенсийском Договоре».

4 мая Фердинанд официально вступил на престол, но признавать Конституцию не торопился. Серьёзную поддержку он получил от генерала Элио с его армией в 40.000 человек. 11 мая Кортесы были упразднены и разогнаны, и только после этого, 14 мая Фердинанд въехал в Мадрид.

Вскоре в неофициальной печати появились записи некоторых его выступлений. Одну из них Филипп дал мне почитать:

«...заслуженно носить звание католического короля. Недавние беспорядки, шестилетняя война, истощившая все мои провинции, столь же продолжительное пребывание в них иностранных солдат, принадлежавших к различным сектам и почти поголовно относившихся враждебно к католической религии, беспорядок, являющийся неизбежным результатом подобных несчастий, безучастное отношение к религии в течение всего этого времени, — все это в сильной степени способствовало разнузданности страстей, дало возможность скверным людям жить так, как им хотелось, и вызвало появление в Испании испорченных и отвратительных взглядов, которые распространены в других государствах... Я решил, что при настоящих обстоятельствах крайне важно восстановить святой трибунал и дать ему возможность действовать в том

объеме, в каком он действовал ранее. В этом смысле мною было получено много адресов от ученых и добродетельных прелатов, от корпораций и частных лиц, занимающих высокое положение, как в духовном мире, так и в недуховном; все они без исключения заявляют, что Испания обязана инквизиционному трибуналу тем, что в XVI веке не была заражена тем злом, которое причинило столько несчастий другим европейским государствам. Инквизиции Испании, по мнению названных лиц, также обязана славной плеядой великих писателей и ученых, тем блеском, которым озарен путь святости и добродетели. Все согласны также с тем, что главнейшим средством, к которому прибежал притеснитель Европы, чтобы сеять семена продажности, испорченности и беспорядка, было запрещение этого трибунала под лживым предлогом, будто прогресс и культура несовместимы с его дальнейшей деятельностью. Так называемые общие и чрезвычайные кортесы руководились теми же мотивами, что и чужеземный притеснитель, когда они отменили этот трибунал, беспорядочно прибегнув к голосованию конституции к крайнему огорчению народа. Вот почему меня усиленно и неустанно просят о скорейшем восстановлении инквизиции...»

Собственно об этом и рассуждал Филипп все эти месяцы. Он считал, что только поддержка Франции и опора на Конституцию могут обеспечить нам экономическое и культурное развитие, а вассальская зависимость от Наполеона... да она, судя по тексту «Договора», частично остаётся, но это всё же лучше, чем инквизиция.

Теперь я окончательно убедилась в правоте своего мужа, потому что нет ничего страшнее инквизиции.

Вечером перед сном я, как учила бабушка, всегда обращалась к богу с благодарностью за прожитый день и с короткой молитвой о благополучии тех, кто мне дорог. В тот вечер я просила бога за Филиппа:

— Я готова ежедневно по несколько часов быть его восхищённой публикой, во всём согласным парламентом, его единомышленником или оппонентом, всем, чем он хочет, только пусть остаётся дома. Сделай так, что бы он никогда больше не ввязывался в политические игры! Пусть никогда больше на теле моего мужа не будет этих жутких рваных ран... на теле, созданным тобою с таким совершенством... Пожалуйста, пощади это совершенство и сохрани его для меня.

Но, похоже, Всевышний имел в отношении нас совсем другие планы, не совпадающие с нашими желаниями, во всяком случае, с моими. Пару дней спустя Филипп получил из Мадрида тонкое письмо в глянцево-конверте с парадными королевскими монограммами. Они даже на расстоянии источали отвратительный запах опасности. Пальцы, разрезавшие конверт, едва заметно подрагивали.

— Что там?

Филипп долго вчитывался в содержание, переворачивал лист, надеясь найти на обратной стороне какие-то дополнительные пояснения, но, похоже, их там не было.

— Почему ты молчишь?

— Подожди, не паникуй. Дай подумать. Через два часа поговорим, — он спрятал письмо обратно в конверт и скрылся в кабинете.

Два часа неизвестности, любопытства, перемешанного со страхом, два часа «...а вдруг...» сменяющиеся на «а что, если...?» Какими длинными могут быть два часа!

Наконец, дверь в гостиную распахнулась, и Филипп, одетый в костюм для верховой езды, пригласил меня на незапланированную прогулку.

Наши лошади не спеша трусили по знакомой дороге, вьющейся между старых, заросших серым мхом, валунов. Дороге, ведущей к гроту его матери. Июньское солнце, ещё не успевшее иссушить изумрудную зелень травы, стояло высоко над деревьями, отбрасывая короткие, чётко прорисованные тени. А деревья, забыв о ежегодно и неотвратимо наступающей осени, высокомерно тянули вверх свою плотную, трепещущую на ветру роскошь.

Мы привычно спешили у каменной чаши, десятилетиями хранящей покой и тишину этого уголка, и присели на траву. Филипп не спешил с объяснениями, а я не торопила: что изменят в нашей жизни эти несколько минут молчания?

— Ну вот, теперь можно и поговорить. Я не хотел делать это дома в присутствии слуг — даже самые верные из них часто нуждаются в деньгах, а значит, могут предать.

— Что в этом письме?

— Приглашение на аудиенцию к королю.

— Зачем?

— Не знаю. Там указаны только дата и время. Больше ничего. Письмо написано сухо и официально, явно кем-то из канцелярских, подписано, правда, рукой Фердинанда.

— И что это может означать?

— Боюсь, ничего хорошего. Против благополучного исхода аудиенции говорят три очень весомых аргумента.

— Ты в чём-то провинился перед королём?

— Нет, моей личной вины перед ним нет, просто случайно оказался рядом в самые тяжёлые и унижительные для него моменты жизни. Я состоял в его свите, когда он вместе с отцом был вызван Наполеоном на переговоры в Байоне. Как ты знаешь, там, после длительного нажима и угроз, он был вынужден отказаться от трона в пользу своего отца.

— Ты присутствовал на этих переговорах?

— Нет, что ты. Они велись за закрытыми дверями. Нас, я имею в виду двух представителей с испанской стороны и двух с французской, пригласили в зал для переговоров только в момент подписания отречения, как свидетелей. Во всяком случае, моя подпись стоит на этом документе.

— Почему именно ты удостоился такой чести?

— Не знаю. Мы все, я имею в виду, сопровождающие, сидели в зале ожидания, когда вышел секретарь и назвал имена тех, кто приглашался в кабинет. Принцип отбора мне не известен.

— Но ты был горд доставшейся тебе исторической ролью?

— Тогда я не думал об этом. Мне было очень жаль Фердинанда. Он выглядел таким подавленным — красные пятна на щеках, опавшие плечи... он не сидел в кресле, а как бы расплывался в нём... Ещё бы, Наполеон — это мощная, безжалостная машина, уничтожающая всё, что стоит у него поперёк дороги, а Фердинанд стоял у него поперёк дороги. На испанском престоле Наполеону нужен был не он, а Жозеф Бонапарт... Мне действительно было жалко незадачливого наследника, ведь мы с ним почти ровесники. Тогда мне казалось, у меня ещё вся жизнь впереди, а для него — все кончено.

— А что было потом?

— А потом, по непонятному стечению обстоятельств, я был включён в состав свиты, сопровождавшей Фердинанда в изгнание. Официально нам было приказано охранять наследника, незаконно захватившего престол, от мести разгневанного народа, но на самом деле мы были просто его стражей, его тюремщиками. Собственно так он с нами и обращался;

ехал в закрытой карете с наглухо задёрнутыми шторами, все приказы отдавал через своего личного секретаря, запретив даже приближаться к себе во время коротких остановок, но «свиту» свою, как это потом выяснилось, знал поимённо.

— Какое он в те дни производил впечатление?

— А какое впечатление может производить человек, потерпевший полное и, как тогда казалось, окончательное крушение? Злые, поджатые губы и безнадёжно опавшие плечи... большего сказать не могу, я видел его только издали.

— А какой третий аргумент, направленный против тебя?

— Моё активное участие в заседаниях кортесов по подготовке конституции, ограничивающей абсолютизм королевской власти. Я практически возглавлял на этих заседаниях «левое крыло», и именно наша версия была принята большинством голосов. Под всеми протоколами стоит моя подпись. Таков третий аргумент. Как ты знаешь, Фердинанд, вступив на престол, аннулировал эту конституцию и разогнал кортесы. Вот так.

— Но всё же один аргумент говорит в твою пользу — ты участвовал в освободительной войне против французов, и именно эта победа вернула ему престол.

— Да, на чаше весов — один против трёх, но каждый из трёх значительно тяжелее, чем этот один.

— Почему?

— Потому что на войне я был один из многих, без лица и имени, и, к тому же, очень далеко. А в день отречения — один из двух, совсем рядом, с конкретным именем и лицом, и имя это было ненавистно ему с детства. Ты слышала, что мой дядя занимал очень высокий пост при Годое и поддерживал его профранцузскую политику, то есть был одним из тех, кто отсекал Фердинанду доступ к престолу. Я, к сожалению, был не только рядом — я был свидетелем его унижения, а этого короли никогда не прощают.

— И что же ты собираешься делать?

— Мне назначена аудиенция через четыре дня. Значит, послезавтра вечером я выезжаю.

— А ты уверен, что это необходимо? Я имею в виду — ехать в Мадрид.

В эти минуты я вспоминала папин трактат об инквизиции, о еврейских банкирах. Расторопные и дальновидные успели вовремя покинуть Испанию, спасти не только жизнь, но и капиталы, а те, кто промедлил — погибли на кострах. Почему Филипп должен ехать на заклятие? Ради чего? Ради чужих страстей?

— У нас есть ещё два дня, что бы покинуть Испанию, переехать во Францию, или в Голландию, или ещё куда-нибудь, где Фердинанд тебя не достанет. Зачем тебе добровольно жертвовать своей жизнью? Для кого и для чего?

— Да. Я понимаю тебя, и знаю, что многие на моём месте так бы и поступили. Более того, предполагаю, что король именно этого от меня и ожидает — не случайно дал четыре дня сроку на побег, но что мне делать в изгнании? Как жить? Каждое утро не знать, чем заполнить время между завтраком и обедом, а после обеда злиться на прислугу за то, что так долго не подаёт ужин... и так день за днём, год за годом, а их, этих пустых лет, может оказаться очень много — тридцать или даже сорок! Нет, я так жить не смогу.

Я понимала его страх перед пустотой жизни — именно эта пустота ужасала меня в жизни мамы, бабушки и Элеонор, но разве политика, это единственное, чем можно её заполнить? Похоже, что для Филиппа она действительно была единственным смыслом, а значит спорить с ним — бесполезно.

— А ты действительно уверен, что Фердинанд будет мстить? Что он за человек?

— Не могу сказать точно, ведь я видел его вблизи всего несколько дней, но мне он показался слабым и каким то... мелочным. Очень чётко запомнился один эпизод: он ставил

свою подпись под отречением, рука дрогнула и большая чёрная клякса брызнула ему на кружевной манжет. Все время, пока подписывались свидетели, он тербил несчастное кружево, пытался затереть кляксу, а потом запихал его под обшлаг рукава, как маленький ребёнок. Рядом с Наполеоном он смотрелся очень жалким. Да и что можно ожидать от молодого человека, выросшего в такой семье! Отец, пропадая целыми днями на охоте, предоставил управление государством любовнику своей жены... Пятый сын в семье, выбившийся в наследники престола только потому, что остальные слишком рано умерли. Откуда ему было взять силы и уверенности в себе?

Филипп молча смотрел на упругую струйку воды, разбивающуюся о каменную чашу, подставил под неё сложенную горстью ладонь и ждал, пока она доверху наполнится светло-голубой влагой.

— Обмой лицо маминой святой водой — навсегда останешься молодой и красивой, как сегодня.

Я зачерпнула воды из его ладони и освежила горящие щёки. Воспалённая жарой кожа тут же успокоилась и задышала. Мокрую руку он вытер о свой уставший от мыслей лоб. Неужели он, взрослый мужчина, тоскует по своей матери так же часто, как я — по своей? Во всяком случае, ему легче — он имеет право говорить о ней, сколько хочет. Но теперь мои мысли были далеки от похожести нашего детства, они крутились вокруг Фердинанда.

— Все твои аргументы построены на том, что король тебя ненавидит и хочет уничтожить. Но если он расправится со всеми энергичными, умными политиками, то с кем тогда будет править?

— Ну, этого добра крутится возле любого правительства в избытке. И потом никому не нужны умные и энергичные — нужны послушные и всегда со всем согласные.

— Совсем такие как я, когда слушаю твои доклады.

— Как ты? Ну, Гусь, ты явно переоцениваешь свои актёрские способности. Когда я вижу свои глаза во время «докладов», у меня всегда возникает чувство, что ты вот-вот вцепишься мне в волосы и...

— И что...?

— Или открутишь голову, — под густыми ресницами заплясали смешинки, — ... или утащишь в спальню.

— Гениальная идея! Скорее в седло — и домой. У нас в запасе так мало времени... всего два дня!

Боже, до чего разными бывают два дня. Они могут тянуться долго и вязко, как смола, а могут... волшебной стрелой просвистеть над головой, оставив на память чувство зависти к себе, когда-то молодой и счастливой... улетевшей с этой стрелой в прошлое.

Глава 12

Три дня, три мучительных дня, прошло с тех пор, как я проводила Филиппа. Три дня страшной неизвестности и угрызений нечистой совести. Он положил на чашу весов три аргумента, выводящие его на дорогу к эшафоту, а их было четыре. Четвертым аргументом было мое еврейство. Слова отца бились в висках: «Если нужно кого-то убрать с дороги, о нем узнают все, что может его погубить».

Я уже не пыталась оправдываться перед собой, говоря, что, принимая предложение Филиппа, ничего не знала. Да, не знала подробностей, но... прожив в еврейской семье первые девять лет жизни, я прекрасно знала, что мы — изгои, бесправные изгои, ненавидимые испанским миром. В первые годы я часто мысленно упрекала отца, выдернувшего меня из привычной жизни, увезшего от мамы, но... обратно туда, к отверженным — не хотела, не хотела быть такой, как они.. Изю всех сил старалась следовать последнему совету отца-

ювелира, училась манерам, языкам, всему, что отличало испанскую аристократку от еврейской девчонки. Мне было велено забыть прошлое, и я его забыла, на время...

Пару лет спустя отец жестко напомнил мне о нем, отругав за поспешное: «Я согласна». Был ли тогда шанс забрать у Филиппа легкомысленно данное слово? Был, но я им не воспользовалась, прикусила язык и сбежала в кусты. Почему? Берегла честь отца? Ничего я не берегла — обозлилась на него, переложившего, как мне тогда казалось, на мои плечи ответственность за свои грехи. Сбежала, потому что не хотела терять ни Филиппа, ни свое положение, а теперь, зарывшись с ногами в глубокое кресло, мучилась угрызениями совести и страхом. Два дня назад, у грота его матери, я обязана была предупредить о четвертой опасности, дать время подумать, подготовиться к защите или сбежать. Вместо этого я опять промолчала и ... и потащила его в спальню. Я прожила два волшебных дня, стремительно улетевших в прошлое, и цена их, этих дней, может оказаться слишком высокой — возможно, я не только лишилась Филиппа навсегда, но и погубила его.

Временами пыталась оправдаться перед собой:

— А разве они лучше? Отец просто для развлечения искалечил жизнь людям, не причинившим ему никакого вреда. Филипп... скольких людей он лишил жизни на войне, сколько сирот и вдов осталось у него за спиной? Почему им можно, а мне нельзя? Почему они не забиваются с ногами в кресло и не мучаются угрызениями совести?

... И сама давала себе однозначный и честный ответ: они причиняли зло людям, которых не знали и не любили, наносили удары «в никуда», в пространство без имени и глаз, а я... я сотворила зло, глядя в глаза, которые мне доверяли.

За эти три дня, проведенные в кресле, я повзрослела на полжизни, перебрала день за днём своё прошлое, переселилась по очереди в души своих близких и мысленно прожила их жизни, жизни тех, на кого столько лет обижалась и кого судила. В эти дни я впервые прочувствовала вкус чужой боли. «Не суди, и не будешь судимым», — написано в библии, и это — правильно.

Из кресла вытащил меня отец, появившийся на пороге без доклада и предупреждения.

— Почему ты приехал?

— Потому что знал, что застаю тебя именно здесь, в кабинете Филиппа, и в этой позе.

— Ты знаешь что-нибудь о нём?

— Только то, что он три дня тому назад уехал в Мадрид. А ты? Никаких известий?

— С тех пор — никаких.

— Очень нервничаешь?

— А ты — нет?

— Я тоже... за вас обоих.

— Это моя вина. Ты был прав. Я не имела права выходить за него замуж. Если он погибнет из-за меня, из-за моего еврейства... как жить с этим грехом дальше?

— Девочка, не вали все грехи сразу на себя одну, соблюдай равноправие. Оставь мне, пожалуйста, хотя бы половину. И потом, твое происхождение, если до него вообще докопались, может явиться только поводом для расправы. Причина, как ты знаешь, в другом: все последние годы, по странной причуде судьбы, Филипп оказывался рядом с Фердинандом в самые неподходящие моменты жизни, а это уже не твоя вина.

— Скажи, почему ты, когда он попросил моей руки, не сказал правды о моей маме?

— Потому что он не хотел ее слышать. Я дважды начинал этот разговор, и дважды он отмахивался от него, как от назойливой мухи: «Я собираюсь жениться на Елене, а не на ее матери. Ее мать меня не интересует. Пусть это останется Вашей тайной, мой любвеобильный друг».

Я как будто видела перед собой его высокомерное лицо и движение руки, отбрасывающее собеседника в сторону. Именно так он, тогда в парке, отбросил в сторону и меня, едва заговорившую о своём происхождении, прикрылся якобы хорошо известной ему с детства гордостью отца. Почему Филипп так упорно прятался от этого разговора, чего он не хотел обо мне знать?

— Что же нам теперь делать, папа?

— Ничего. Сидеть, ждать, молиться за него и просить бога о пощаде.

— А если не пощадит?

— Мы ничем не можем Филиппу помочь. Вспомни любимую теорию твоей бабушки о коротких и длинных дорогах к предназначению. Если таково было его предназначение, значит, он к нему уже подошел. Печально конечно, что он, его путь, оказался слишком коротким. Ему я уже ничем не смогу помочь, разве что тебе...

Лицо отца, стало смущенным и слегка покраснело. Глаза, чудесные серо-голубые глаза, опять смотрели виновато и просительно:

— Я бы хотел увезти тебя во Францию, прямо сегодня, сейчас. Пусть хотя бы твоя дорога окажется длиннее...

— Спасибо... но не надо. Та, которую я прожила все эти годы с тобой и с бабушкой, а потом с Филиппом... это было так замечательно... лучше уже не будет. Если так суждено — пусть моя тоже будет короткой. Мы будем ждать его здесь. Ведь надежда еще осталась.

Последующие два дня мы не говорили ни о страхах, ни о надеждах. Отвлекали себя пустой болтовнёй и короткими прогулками. В конце второго дня пришла записка от Филиппа: «Всё хорошо. Через два дня, живой и здоровый, возвращаюсь домой. Ждите и не волнуйтесь»

— С каких пор мой муж обращается ко мне на «Вы»!

— «Вы» — это не ты, а мы. Сообщив мне о приказе короля прибыть в Мадрид на аудиенцию, он ни минуты не сомневался, что я тут же помчусь к тебе. Это письмо адресовано нам обоим.

Боже, эта вечно повторяющаяся мелодия моей жизни — я стою у окна и смотрю на дорогу... на дорогу, возвращающую мне мужа. А он, как всегда — и это уже другая мелодия, бравурная и стремительная, — выскакивает на ходу из кареты, взлетает по лестнице через две ступени и обрушивает на нас шквал радости и торжества жизни.

Час спустя мы сидим в кабинете, и Филипп разыгрывает перед нами, восхищёнными зрителями, сцену разговора с королём:

«На аудиенцию меня пригласили только на третий день. Два дня Фердинанд был занят якобы неотложными государственными делами, переносил встречу и держал провинившегося в напряжении. Наконец, сочтя насмерть перепуганного преступника созревшим для разговора, соизволил допустить в кабинет.

Король сидел за огромным письменным столом, заваленном документами особой государственной важности, и дочитывал какую-то срочную депешу, требующую неотложного королевского решения. На этот раз он не растекался в кресле — он вписывался в него по хозяйски уверенно. Сочтя затянувшуюся паузу вполне соответствующей придворному этикету, Его Величество спрятал бумагу в глянцевую кожаную папку и поднял на меня глаза.

— Ну что, генерал, совсем оробели? Это Вам не поле боя: помахал саблей — и уже герой.

Он бесконечно долго вглядывался в моё лицо, даже глаза прищурил, будто их слепило солнце, хотя, на самом деле, оно слепило меня.

— Да, за эти годы Вы сильно изменились, возмужали. И лицо... оно тоже стало другим, потеряло юношескую округлость, стало гораздо жёстче, чем тогда. Я хорошо запомнил его, Ваше лицо. И знаете, почему?

—

— Потому что, в тот день оно было единственным, выразившим сочувствие мне. Все остальные смотрели преданно и восхищённо на Наполеона. По моему настоятельному требованию, если у меня тогда вообще было право что-то требовать, Вы были включены в свиту, сопровождавшую меня к месту изгнания. Я доверял Вам, рассчитывал на Вашу защиту, сомневался, что мне позволят доехать до замка Талейран живым. Наполеон, как любой умный стратег, понимал — пока жив законный наследник, трон под его братом висит на волоске. Да, так что я хотел сказать...

Он покинул своё кресло и, заложив руки за спину, прогуливался по кабинету взад и вперёд в метре от меня.

— Так вот. Я наблюдал за Вами все эти годы. Кортесы, конституция, азартные выступления, какое мальчишество, какая политическая незрелость! Неужели Вы до сих пор не поняли, что после стольких лет разрухи, безвластия и бандитизма стране необходима жёсткая власть, железная дисциплина и порядок! Реформы, конституции, свободы... всё это будет, когда придёт время, когда страна встанет на ноги и окрепнет. Сейчас, как после тяжёлой болезни, ей важен режим. Надеюсь, Вы меня поняли, генерал. Кстати, Вы не забыли, что всё ещё состоите у меня на службе?

— Конечно, нет, не забыл.

— Мне докладывали, Вы хорошо воевали, были даже тяжело ранены в бою. Как сейчас со здоровьем?

— Всё в порядке. Врач сделал своё дело на славу.

— Вот и хорошо. Пора возвращаться на службу.

— Благодарю, Ваше величество за доверие. Когда прикажете приступить? И где? Я знаю, что остатки моего дивизиона были присоединены к другому, находящемуся сейчас под командованием генерала Элио.

— Всё правильно, но в настоящее время преданные люди нужны мне в другом месте. Энергия и азарт плюс политическая грамотность, которой Вам ещё предстоит поучиться, нужны здесь, в Мадриде. Мы будем вместе создавать мощную, просвещённую католическую Испанию. Вы хотели проводить в жизнь новые реформы — я даю Вам этот шанс. С этого момента Вы — министр культуры и просвещения.

Фердинанд остановился в нескольких шагах от меня, с любопытством наблюдая за реакцией. А какой она могла быть, моя реакция? Разве я мог отказаться? Для подданных приказ короля — закон, не поддающийся обсуждению. Дозволены только радость и благодарность, которые я и выразил в подобающей этикету форме.

— Кстати, Вы не находите это назначение символичным: дядя служил министром у Годоя, а племянник — у меня? — король довольно потёр руки, как будто одержал лёгкую победу в трудной шахматной партии, — да, я люблю символы и парадоксы.

Я надеялся, что аудиенция подошла к концу — шея и лицо затекли от затянувшегося выражения верноподданнического почтения и восторга, но Фердинанд всё ещё прохаживался по кабинету.

— Мы о Вас уже успели позаботиться, уважаемый господин министр, подобрали очень импозантный особнячок вблизи нашего дворца, так что через месяц можете туда въезжать. Обустройство поручите супруге, а сами — за работу. Время не терпит... Кстати о супруге...

Филипп, изображая короля, остановился прямо напротив меня, пристально вглядываясь в лицо, как будто видел его впервые:

— До нас дошли слухи, — он выдержал нестерпимо длинную паузу, — что Ваша жена не только молода и привлекательна, но и..., ещё одна изматывающая нервы пауза, — нда... говорят, она к тому же, ещё и умна. Такое сочетание достоинств в одной женщине встречается не часто — как правило, один из трёх компонентов всё же отсутствует. Мы заранее рады её появлению в свете. Присутствие привлекательных образованных дам действует освежающе на наши, занятые государственными делами, умы.

Филипп ещё несколько мгновений упруго раскачивался, перекатываясь с носка на пятку, перед моим лицом — из его глаз сочилась угроза, затем, резко развернувшись на каблуках, промаршировал к письменному столу. Я бросила беспомощный взгляд на отца — его брови, сошедшиеся на переносице, плотно сжатые губы, напряжённый взгляд, направленный на Филиппа... Что всё это значит?

Наконец, по-видимому, приняв какое-то решение, отец пересёк комнату и остановился в метре от Филиппа в той же позиции, в какой тот за несколько минут до этого стоял передо мной.

— Мне кажется, Вы рассказали Вашу историю не до конца, упустили некоторые важные детали. Очень хотелось бы услышать её полностью.

Как похожи были эти двое мужчин, и какими они были разными! Оба высокие и гибкие. Но лица... одно, слегка удлинённое, тонко очерченное, излучало силу, которой невозможно было противостоять, а другое, с крепкими щеками и широковатыми скулами — упрямую злость и ещё что-то, затаившееся в опустившихся вниз уголках губ. Это было похоже на дуэль.

Филипп сдался первым — сначала отвёл взгляд в сторону, затем опустил его вниз:

— Больше рассказывать нечего. Просто мне не нравится, когда короли проявляют интерес к жёнам своих министров.

— Я понимаю Вас. Мне это тоже не нравится. И Вы, по-видимому, тревожитесь, что Ваша жена, не успевшая накопить достаточного опыта светского общения и дипломатии, не сумеет сохранить необходимую в таких случаях дистанцию, не повредив своим отказом Вашей карьере?

Филипп опять поднял глаза и продолжил начатую дуэль, затянувшуюся для меня на целую вечность. Наконец решив, что взгляд его был достаточно красноречивым, подвёл итог:

— Да, и это меня тоже тревожит.

— У Вас, мой друг, в запасе ещё целый месяц, что бы обучить жену дипломатическим хитростям, — отец очаровательно улыбнулся и дружески похлопал Филиппа по плечу.

Разговор закончился, но напряжение осталось — мы оба, отец и я, поняли, что на самом деле тревожило моего мужа: легкомысленная любвеобильность матери, которую вполне могла унаследовать её дочь. Ведь, по официальной версии, я — не что иное, как плод романтического увлечения какой-то светской девицы или дамы. Да, ложь оказалась не лучше правды.

Глава 13

В этот момент трудно было назвать лицо Филиппа красивым. Глаза, обычно большие и тёплые, превратились в две узкие злые щели, а губы с чётко прочерченными контурами вытянулись в прямую линию и побледнели. Что привело его в такое бешенство? В чём я перед ним провинилась? Привычная реакция не заставила себя долго ждать: резко развернувшись, я решительно покинула гостиную и заперлась у себя в комнате.

Через час Филипп уже скрёбся под дверью:

— Гусёнок, отопрись, я тебе кое-что принёс.

—

— Пожалуйста, только на одну минутку, а потом, если захочешь, опять запрёшься.

В приоткрытую щёлочку просунулся вначале огромный букет цветов, а за ним и его подноситель.

— Вот. Это тебе. А ещё официальное поздравление с повышением в звании — вчера ты была только генеральшей, а сегодня произведена в министерши.

Его глаза были опять большими и сияющими, а виновато улыбающиеся губы... боже, разве можно перед ними устоять дольше одной доли секунды!

Через час нас позвали к обеду. В столовую мы возвращались умиротворённые и невероятно голодные.

В этом был весь Филипп. Он взрывался как порох, мгновенно и устрашающе, и остывал, как будто бури и не было, как будто она мне только привиделась.

Я была, к сожалению, совсем другой. Получив удар по самолюбию, я, прежде всего, пыталась защититься, сделав вид, что ничего не заметила. Сохранить по возможности равнодушное лицо, не показать, что мне больно. Только потом, оставшись одна, давала волю своей фантазии. Важно было не то, что сказал или сделал другой человек, а зачем он это сделал. Меня обижали не отдельно взятые эпизоды, а их взаимосвязь.

Почему ему нужно причинять мне боль? Как он ко мне относится?

Что он чувствует, какой он? Не зная ни истинных причин, ни истинных мотивов действий другого человека, я создавала немыслимые теории, объяснения, не имеющие ничего общего с реальностью, нанизывая на эту нить всё новые нюансы и подробности, вытасканные из услужливой памяти, доводя себя до нервного срыва и чесотки. Старый опыт, теория о влюблённости Филиппа в кухарку, с которой я носилась почти год, научил меня осторожности.

Присев на скамейку во внутреннем дворике, и разглядывая длинные тени, отбрасываемые мраморными статуями, я заставила себя сосредоточиться на чувствах Филиппа. Да, он когда-то принял на веру официальную версию моего появления на свет, но как он мог относиться к женщине, родившей ребёнка вне брака, отдавшей его на воспитание чужим людям и скрывшейся в неизвестном направлении? Женщине, которая наверняка через пару лет вышла замуж, прикинувшись чистой и праведной? На такое способна только безответственная, легкомысленная лгунья, и эти качества она могла передать по наследству своей дочери. Король, проявив интерес к его жене, разбудил спрятанный глубоко в душе страх. Страх быть опозоренным и обманутым, сделал его глаза маленькими и злыми, а губы — узкими и бесцветными. Бедный Филипп, как же тебе не повезло с женой! Мы запутали тебя во лжи, и самое смешное — сами не знаем, какая из этих двух версий для тебя хуже.

Отец пробыл у нас ещё один день и уехал, сказав, что спешит доложить бабушке и Элеонор о новом повышении Филиппа. Хитрец, он просто почувствовал себя лишним и не хотел нам мешать.

Мой муж воспринял совет тестя очень серьёзно, и мы занялись изучением светских интриг и борьбы с ними. Я не была в этих вопросах полной невеждой: оказывается кое-что полезное можно вычитать не только в научных трактатах, но и в любовных романах. В моей памяти хранилось множество историй о наивных девушках, соблазнённых и покинутых коварными искателями приключений, о скучающих светских дамах, охотящихся за молодыми романтическими юношами. Обманщики наслаждались своими победами, не имея иной цели, как развеять скуку и испытать очередной раз торжество и безграничность силы своего обаяния. Филипп рассказывал о политических интригах, когда соблазнить, подчинить своей воле, воздействуя, таким образом, на ход истории или собственную карьеру, было общепринятым оружием, используемым чуть ли не чаще, чем шпага.

— Неужели в этом обществе никогда не встретить нормальных искренних отношений, обычной человеческой симпатии или дружбы?

— Такое тоже случается, только неопытному новичку очень трудно отличить одно от другого, я имею в виду — искренность от обмана.

— А ты умеешь их различать?

— Видишь ли, я рос, в отличие от тебя, совсем в другой обстановке. Ты — в дружной, любящей семье, которой не нужны были ни интриги, ни ложь, а я — рядом с фанатично увлечённым политикой дядей. Я с детства привык ходить в жилетке, застёгнутой на все пуговицы, скрывать чувства от всех и вся и не верить ни одному слову. Именно поэтому я всегда рвался к вам. Пусть только на пару недель скинуть эту защитную кольчугу и побыть самим собой. И ты... ты была для меня единственной женщиной, на которой я мог жениться, потому что носить эту проклятую кольчугу в собственной спальне было бы непереносимо.

Я вспомнила приезды Филиппа, зажигаемый им фейерверк радости и восторга. А потом он уезжал и увозил этот фейерверк с собой. Как рвалась душа вслед за ним, в жизнь, полную радости и новых впечатлений, а что оказалось... Он уезжал, застёгивая в карете свою защитную жилетку на все пуговицы, что бы вновь окунуться в свой безрадостный и фальшивый мир.

— Неужели там, в Мадриде, у тебя нет ни одного друга, или хотя бы доброжелателя?

— В этом мне ещё предстоит разобраться. Ведь друзья — это дело такое... Сегодня он друг, а завтра — враг. Поменялись политические конъюнктуры, и ты, вчерашний друг, стоишь у него поперёк дороги... Вот в какой мир я увожу тебя, моя маленькая, неопытная министерша.

— И ты веришь, что я смогу со всем этим справиться, не испортить твоей карьеры и, что еще хуже, не подвергнуть твою жизнь опасности?

— Я буду руководить тобой. Помнишь нашу стратегию с «нежелательными женихами»? Подмигиваю правым глазом — собеседник опасен. В этом случае нужно вежливо улыбнуться, бросить пару ничего не значащих слов и отойти в сторону. Подмигиваю левым — прислушайся внимательно к тому, что он говорит, и дословно передай мне.

— О, так ты вскоре окосеешь на оба глаза!

— Не важно. Зато продвинусь по служебной лестнице ещё на одну ступеньку. Преуспевающего мужа косоглазие не портит, даже наоборот — создаёт дополнительные удобства. Во-первых, косоглазый муж не заметит маленьких шалостей своей жены, а во-вторых, она никогда точно не определит, кому из окружающих прелестниц он в данный момент строит свои косые глазки.

Вечером, сидя одна с каким-то нелепым вышиванием в руках, я вспоминала об откровениях Филиппа. Вспомнились слова бабушки, перевязывавшей мои расцарапанные ноги:

— Филипп сказал, что ты — единственная женщина, на которой он хочет жениться, — Теперь я понимала почему.

В этот месяц я узнала много нового, и не только о законах светской жизни. Прежде всего, я начала понимать своего мужа. Он больше не был для меня солнцем, на мгновение освещающим лежащие в темноте рубины. Он всё больше приобретал человеческие черты, и эти черты очаровывали меня гораздо больше, чем призрачные лучи исчезающего за горизонтом солнца. Он становился для меня живым человеком со всеми его слабостями, страхами и печалью.

Через месяц мы покинули наш замок, захватив лишь самые необходимые вещи. Филипп не хотел разрушать дом, хранящий столетиями свою историю, запах и воспоминания.

— Мы уезжаем ненадолго, и вернувшись обратно, я хочу застать его таким, каким он был для меня всегда.

В Мадрид мы уезжали втроём: по всем признакам, известным даже таким неопытным женщинам как я, мы ожидали наследника.

Глава 14

Особняк, предоставленный нам Фердинандом, был не только обставлен мебелью предыдущих владельцев, но и сохранил созданную ими атмосферу. Я не хотела знать, ни кем они были, ни что с ними стало. Кто знает, как долго нам суждено здесь прожить, и как скоро мы окажемся там же, где и хозяева всех этих со вкусом подобранных вещей. Филипп держался очень мужественно, но я чувствовала, что и ему было не по себе.

С первого же дня мы окунулись в ту жизнь, к которой готовились целый месяц. Не только мужчины, но и женщины осыпали меня комплиментами. Первые, целуя ручку, многозначительно заглядывали в глаза, вторые приписывали мне все мыслимые и немыслимые достоинства — юность, свежесть, безукоризненный вкус в сочетании с необыкновенным здравомыслием. Как и предсказывал Филипп, на меня началась настоящая охота; кто первый захватит плацдарм и прорвётся в друзья и наставники, тому и воздействовать на нового министра через его молоденькую, глупенькую супругу.

Первая серьёзная проба сил состоялась примерно через месяц. Женщины, собравшись за дневным чаем, вели неспешную беседу о мужьях и политике. Самой активной в этой компании была маркиза Долорес ла Дегас. Дама не первой молодости, ухоженная и всегда невероятно элегантно одетая, была женой одного из главных фаворитов Фердинанда, принадлежавших к старому поколению политиков, переживших, как и дядюшка Филиппа, правление Карла, Годоя и Жозефа Бонапарта. Благосклонность нынешнего короля к этому антиквариату объяснялась его старыми заслугами — когда то он позволял себе расходиться с Годоем во мнениях, быть откровенно сдержанным в отношении Бонапарта и одним из первых торжественно приветствовать Фердинанда в Мадриде.

Хитренько поглядывая на остальных дам, Долорес высказала свою первую сентенцию:

— Наши наивные мужья думают, что они управляют государством. Не правда ли это очень смешно?

Окружающие дамы согласно закивали головами и захихикали:

— Да уж, они управляют. Пусть так и умрут в неведении.

Главная «охотница за наивными душами», ласково заглядывая мне в глаза, пояснила причину всеобщего веселья:

— Нашим мужьям только кажется, что они самостоятельно принимают государственные решения. На самом деле самые важные из них нашёптываем им мы, их верные и преданные жёны. Женщины вообще гораздо хитрее и дипломатичнее мужчин. Они всегда найдут нестандартное решение, обходной маневр там, где мужчина будет ломиться напролом и в конце концов увязнет в болоте. Милочка, Вы, конечно же, это и сами давно заметили?

Её большие, тёмные, доброжелательно устремлённые на меня глаза, крупные, слегка желтоватые зубы, приоткрытые в ласковой улыбке, обволакивали, вызывая на откровенность. Как хорошо, что Филипп заранее предупредил меня о ловушках, мастерски расставляемых этой очаровательной дамой.

На какое-то мгновение я растерялась. Зачем он притащил меня сюда и бросил на съедение этим акулам? Зачем ему всё это надо?

Мои собеседницы терпеливо ждали конкретного ответа, и его, хочешь или не хочешь, но пришлось давать. В памяти всплыл разговор о политике с Элеонор. Какая всё же она умница! Спасибо, дорогая, и прости, что я бесстыдно краду твой ответ:

— В библии сказано, что предназначение мужчин — добывать в поте лица хлеб насущный, а наше, женское предназначение — рожать детей, охранять домашний очаг и создавать красоту. Я с этим согласна. Пусть мой муж принимает все свои решения самостоятельно, без моего участия, а я буду рожать ему наследников и окружать их всех

заботой и вниманием, — произнося последние слова, я выразительно сложила руки на ещё не успевшем округлиться животе и смущённо потупила глазки.

Окружавшие меня дамы тут же оживились: когда речь идёт о беременности — политика может подождать.

— Боже, милочка, как это замечательно! Поздравляем! Ваш муж должен быть горд и счастлив!

У вас должны быть очаровательные дети — вы оба ещё так молоды и хороши собой!

Даже Долорес, капкан которой сегодня остался пустым, приняла активное участие в общем оживлении, обрушив на меня целый шквал полезных советов и наставлений.

Я с облегчением перевела дух. Надеюсь, на ближайшие месяцы светские интриганки оставят меня в покое. Во всяком случае, так было всегда в нашем еврейском посёлке — мамини подруги очень снисходительно относились к очередной беременной соседке. Ей позволялось быть обидчивой, не понимать шуток и говорить глупости. У них это звучало приблизительно так: «Что ещё можно ожидать от женщины в этом состоянии? Всё равно у неё сейчас весь ум в животе».

Вот и хорошо. Пусть они думают, что у меня тоже весь ум в животе. Как учил папа — лучше прослыть невеждой, чем попасть в расставленную на тебя ловушку.

Слухи распространяются в нашем обществе с невероятной скоростью: вечером, хитренько улыбаясь, Филипп поздравил меня с первой дипломатической победой, поинтересовавшись, как бы между делом, какой именно красотой я собираюсь его окружать.

— Я буду петь тебе романсы с утра и до вечера, — ехидно пообещала я.

— Я это может ещё и выдержу, но он... пожалуйста, не губи молодую, зарождающуюся душу. Ему и без того предстоит в жизни множество серьёзных испытаний.

— Именно поэтому к трудностям надо готовить его заранее, не откладывая их на потом, решительно постановила я, напомнив Филиппу, что дома, как учили меня сегодня мои многоопытные покровительницы, все важные решения всё равно принимает жена.

Я честно рассказала о своих постоянных страхах попасть впросак, ляпнуть какую-нибудь глупость, которая повлечёт за собой большие неприятности для него, только начинающего свою придворную карьеру. Филипп, ласково потрепав меня по плечу, принялся исправлять допущенную с самого начала ошибку:

— Похоже, я несколько перестарался, изображая светские отношения похожими на джунгли, где за каждым кустом прячутся кровожадные, вечно голодные хищники. На самом деле это не совсем так. Всем этим людям, так же, как и нам, не чуждо ни что человеческое — любовь, ревность, страх потерпеть поражение, желание и просто симпатия к кому то, кто вызывает нормальный человеческий интерес. Это, прежде всего, живые люди, и их не надо бояться. Достаточно просто научиться отличать фанатичных честолюбцев, рвущихся любой ценой к безграничной власти, от нормальных, преследующих лишь свои естественные человеческие цели — определённое место в обществе, состояние, позволяющее получать удовольствие от жизни, а главное — безопасность для себя и своей семьи. Собственно, таких, как я.

— А к какому типу людей относится Долорес?

— Долорес? Умная, волевая женщина, давно отвоевавшая председательское кресло в «дамском клубе». Она формирует общественное мнение о каждой «новобранке»: умна она или глупа, достойна общественного внимания, или его совершенно не заслуживает. Самая из убийственных характеристик, даваемых Долорес, звучит приблизительно так: «Это пустое место, которое нам не интересно».

— Боже! Как глупо я себя повела с ней сегодня!

— Совсем наоборот. Она рассказала о вашей сегодняшней беседе очень доброжелательно, похвалив тебя следующим образом: «Мой милый, Вы сделали очень хороший выбор. Ваша жена — это то, что нужно каждому мужчине, начинающему серьёзную придворную карьеру. Она мастерски уходит от тем, на которых можно поскользнуться. Прирождённая дипломатка». Так что, гусёнок, считай, что первый экзамен ты выдержала на «отлично».

Я не смогла подавить торжествующую улыбку. До чего всё ещё сильна во мне зависимость от похвалы. Когда-то вокруг моей головы загорался золотой нимб от похвал ювелира или старшего брата, позднее я расцветала от гордости, заслужив одобрение отца, бабушки или Элеонор, а теперь губы расползаются в идиотской улыбке, праздная похвалу двух таких мощных авторитетов, Филипп и Долорес. До чего всё же противна эта зависимость!

Утром камердинер торжественно вручил мне записку от моей высокопоставленной покровительницы — приглашение на завтрак вдвоём. Она писала, что в это время у неё никого не будет, и мы сможем уютно поболтать о нашем, о женском. Филипп назвал это приглашение большой честью, и пожелал приятно провести время.

Я продумывала свой туалет с особой тщательностью: завтрак требовал скромной элегантности, соответствующей домашней, интимной обстановке. Как бы оделась в этом случае Элеонор? Я пыталась припомнить её туалеты во время подобных визитов. Прежде всего это должна быть лёгкая, мягкая ткань и спокойные, пастельные тона. Я остановилась на серебристо-голубом, который всегда подходил к моим глазам. Платья, сшитые уже в Мадриде по новой испанской моде, всё ещё хорошо сидели на моей, не успевшей располнеть, фигуре.

Новая мода увлекла наших дам — лёгкие, почти греческие хитоны с юбкой, начинающейся прямо под грудью, что особо подходило для начинающих беременных. Конечно же, мы переняли эту моду у парижанок, но, как истинные патриотки, победившие французов, гордо внесли в неё особый испанский дух — более смелые, контрастные сочетания цветов, кружевные шали, юбки, расширяющиеся в последней трети, так что при ходьбе они завивались вокруг колен, придавая походке ощущение танца.

А как быть с украшениями? Какие лучше всего подойдут к завтраку вдвоём? Уроки отца-ювелира пришлись как нельзя кстати; я прикладывала различные камни к выбранному платью, подносила к окну под прямые лучи солнца, отступала в тень, следя за изменением цвета. Кто знает, какое место предложит мне хозяйка дома. В итоге выбрала александриты, лёгкие, нежные, как капельки воды, одинаково беспроярительные при любом освещении. На солнце они становились почти бесцветными, а в тени их голубизна сгущалась, сохраняя свою прозрачную лёгкость. Это был особенно интересный камень. Ювелир говорил, что он откликается на свет; на солнце — от серебристого до интенсивно голубого, а при свечах — от розового до сиреневого.

Закончив свой туалет, я покрутилась несколько минут перед зеркалом, сначала медленно, а затем, резко поворачиваясь в разные стороны, наблюдала за изменением цвета камней и колыханием юбки. Всё соответствовало моей задумке — выбор сделан правильно.

Ровно в полдень, как и стояло в приглашении, я появилась у Долорес. Боже, что это была за встреча! Можно было подумать, она ждала меня всю жизнь; радостные возгласы, умильные улыбки и взгляды, нежные поцелуи в обе щёки... Что только не делает с человеком желание понравиться!

Графиня пригласила меня в небольшую гостиную с приглушённым освещением:

— Думаю, тут нам будет спокойнее. Не люблю слепящего солнца. Вы не возражаете?

— Конечно, нет. Это самое подходящее место для уютной беседы. Меня тоже утомляет изобилие света. Всё просто замечательно — лучше не придумаешь.

Расположившись в уютных креслах, мы обменивались ничего не значащими замечаниями о погоде, пили чудесный, ароматный чай и разглядывали друг друга с одобрением и симпатией.

— Детка, как Вы себя чувствуете? Как переносите своё состояние? Ведь и посоветоваться Вам сейчас не с кем — мужья в наших делах плохие помощники. Сделали своё дело — и в кусты. Как всегда, всё самое важное предоставляют решать нам.

— Это точно, но со мной пока всё в порядке, летаю как на крыльях.

— Это Вы замечательно сказали. Я была в таком состоянии четыре раза, и знаете, каждый раз это было по-разному. С сыновьями тоже летала на крыльях — ни тошноты, ни головокружений, и выглядела просто замечательно. Муж говорил, что если бы он не был уже в меня влюблён, то наверняка, увидев такую женщину, влюбился бы в неё без памяти. И роды были хорошие — быстрые и лёгкие, а вот с дочерьми я намучилась, особенно со старшей. По утрам страшные головокружения, тошнота, несколько раз даже падала в обморок. А расплылась то как! Лицо распухло, руки и ноги отекали, даже двигаться не хотелось. Так почти всё время и просидела дома. И знаете, потом и в жизни так было; с сыновьями — полное согласие, а у дочерей — вечные капризы, претензии... сложные были девочки. Слава богу, обе выросли здоровыми и благоразумными. Сейчас уже замужем, но тогда... много доставили хлопот.

— Я тоже хочу, что бы у нас было много детей. Большая семья — это так интересно; разные характеры, разные способности, разные методы воспитания, и выглядят все по-разному.

Один — в папу, другой — в маму, третий — вообще в прабабушку, а у четвёртого — ото всех понемножку. Очень интересно.

Мечтая о многочисленных детях, я автоматически разглядывала портреты, украшавшие стены малой гостиной. Долорес, проследив за моим взглядом, тут же сменила тему:

— Милочка, похоже, Вас заинтересовали эти портреты?

— Да, очень. У моего мужа тоже большая коллекция старинных портретов его предков, до четвёртого или даже до пятого поколения. Очень интересно наблюдать, как повторяются лица и судьбы. И потом...

— Что потом...?

— То, как написаны эти портреты... я имею в виду сильные контрасты между светлыми и тёмными красками... очень похожи на те, что хранятся у Филиппа.

А Вы случайно не помните, кто писал портреты родственников Вашего мужа?

— Конечно, помню. Их писал Диего Веласкес. Но они были написаны ещё до его настоящего восхождения. Тогда он был ещё молод, чуть за двадцать, и жил в Севилье. Насколько мне известно, его учителем был художник Франсиско Пачеко, убеждённый последователь Караваджо. Отсюда и эти цветовые контрасты...

Выдав такую тираду, я с ужасом посмотрела на удивлённую Долорес. Как можно быть такой неосторожной! Как же теперь с ролью наивной дурочки? Но после минутного размышления успокоилась: я собираюсь окружать свою семью красотой, значит имею право кое-что о ней знать. Дурочкой нужно быть только в политике.

Моя покровительница, радостно блестя глазами, указала на заинтересовавшие меня картины:

— Детка, это просто замечательно. Оказывается мы с Вами почти родственники. Я имею в виду не по крови, а по портретам. Эти тоже написаны Веласкесом, но несколько позже. Если хотите, я расскажу Вам их историю.

— Да, это необычайно интересно.

— В то время Испанией правил молодой король Филипп IV, (это было в 1622 году) и ему по наследству от отца достались четыре придворных художника, имена которых сейчас известны только обладателям их картин. Это были Родриго де Вилландрандо, Бартоломе

Гонзалес, Ойдженио Кахес и Висенте Кардушо. Все они находились под сильным влиянием Караваджо.

Более всех прознавал король де Вилландрандо и только ему дозволялось писать портреты Его Величества и его жены Изабеллы фон Бурбон, многие из которых до сих пор украшают стены королевского дворца. В те годы все основные государственные решения Филипп переключал на графа Оливареса, который, проведя много месяцев в Севилье, успел познакомиться с Диего Веласкесом. Это было тем, что мы все охотно называем «перст судьбы». Важно, что этих «перстов» было два. Вторым оказался мой предок по линии отца Джуан де Фонзеса. Он был когда-то главным настоятелем Домского Собора в Севилье, то есть тоже слышал о Веласкесе, а к 1622 году был удостоен звания главного каплана при молодом короле. Представляете, дальше события развивались, как в сказке. В декабре 1622 года умирает почитаемый Филиппом IV Вилландрандо, и, по рекомандации этих двух влиятельных особ, Веласкеса приглашают в Мадрид. Наш родственник предоставил молодому художнику несколько комнат в своём доме и стал его первой моделью. Его портрет, как я поняла, и привлёк с самого начала Ваше внимание.

— Да, именно он. На нём Ваш предок выглядит очень благородным и в то же время очень... я бы сказала... чувствительным, не высокомерным. Очень спокойные, умные глаза.

— Да, пожалуй, Вы правы. Во всяком случае, это лицо всегда вызывало у меня большую симпатию. Но самое интересное, что эта картина заложила начало придворной карьере художника; со всех сторон на него посыпались заказы, и вскоре сам король разрешает ему написать свой портрет. Веласкес рискнул изобразить не идеализированный облик Филиппа IV, а реальный — худощавый, с тонкими ногами и романтичным удлинённым лицом. Соперники предвкушали провал, но... король пришёл в восторг от такого понимания себя, и вскоре Веласкес был назначен первым придворным художником, практически заняв опустевшее место бывшего любимца. С этого момента он стал не только богатым, но и очень влиятельным. Король объявил, что впредь ни один другой художник не будет писать ни его портретов, ни портретов его семьи. Вот такая история.

— Но, насколько мне известно, он довольно быстро изменил своё мнение. У моего отца хранится несколько копий с портретов короля, выполненных Рубенсом.

— Да, так оно и было. В 1628 году Рубенс, который находился в то время в зените славы, провёл девять месяцев в качестве дипломата при мадридском дворе и, по сохранившимся записям Франсиско Пачеко, когда-то учителя, а потом тестя Веласкеса, Филипп поручил своему первому придворному живописцу познакомить знаменитого гостя с испанским искусством. Скорее всего, эти записи очень предвзятые. Известно только, что король не упустил возможности заполучить несколько своих портретов, написанных кистью такой знаменитости, как Рубенс. Что касается Веласкеса — он тоже не проиграл от обмена опытом, наоборот: этот обмен укрепил его давнишнее желание продолжить своё образование в Италии.

— У моего отца хранится несколько картин, на этот раз ему удалось купить оригиналы, написанных после возвращения из Италии. Он показывал мне разницу между старым и новым стилем, где очень чувствуется влияние Тициана и Тинторетто. Краски стали гораздо мягче и светлее, никаких резких контрастов, мягкие переходы одного тона в другой... Совсем другой Веласкес.

— Я смотрю, Вы получили серьёзное домашнее образование.

— Мой отец всегда очень интересовался искусством, философией и историей... древней.

— Да, похоже, Вашему мужу с Вами действительно очень повезло.

— Мне кажется, что нам обоим друг с другом очень повезло.

Долорес очень внимательно разглядывала моё украшение, поворачивала голову, склоняла её на бок и прищуривала глаза:

— Эти камни так подходят к Вам — они тоже в каждый момент разные... Знаете, я очень рада, что мы познакомились. С тех пор, как дети разъехались, дома бывает иногда так одиноко...

И потом... я не люблю эти безликие обращения «милочка», «дорогая», а с титулами — слишком официально. Давайте во время наших личных встреч обращаться друг к другу по именам. Меня зовут Долорес, а Вас?

— А меня — Елена.

— Редкое имя для мадридского двора. Откуда оно у Вас?

— Его дал мне мой отец. Сказал, что я родилась маленькой и невзрачной, а ему хотелось, что бы дочь выросла красивой. Вот он и назвал меня в честь Елены троянской.

— Ой! Так рисковать! Но, слава богу, Ваш Парис прилетел вовремя и Менелаю здесь делать уже нечего.

Мы ещё пару минут поболтали о разных мелочах, и я начала собираться домой.

Что бы ни говорил о Долорес Филипп, но общение с ней было очень интересным. Эта женщина притягивала меня, сохраняя при этом необходимую дистанцию. Подобное чувство я испытывала когда-то в мастерской ювелира; он, стоявший на недостижимой для меня высоте, снисходительно давал пояснения, отвечал на вопросы, и, оценивая каждый шаг ученицы, не давал ни на минуту расслабиться. Я испытывала постоянное напряжение, как будто от любого, невпопад сказанного слова, зависит моя жизнь. Одна случайная оплошность — и интерес ко мне угаснет навсегда, я буду изгнана и забыта. Это напряжение не утомляло, оно заряжало азартом, как игра в карты, заставляя наблюдать за реакцией партнёра, отступать назад, передавая инициативу ему, или перехватывать её, направляя события в новое русло. Сейчас, как впрочем, и тогда, моя партнёрша была значительно старше и умнее меня, и игру вела конечно она, давая мне шанс лишь на пару случайных плюс-пунктов, но именно они, эта пара плюс-пунктов — искорки интереса в её глазах, и были самым ценным выигрышем.

Вечером пришлось давать подробный отчёт Филиппу. Ему была интересна каждая мелочь: где она меня принимала, как мы сидели, что ели, во что были одеты и о чём разговаривали. Я старательно удовлетворяла его любопытство:

— Мы, собственно, разговаривали только о двух вещах; о беременностях и о... Веласкесе...

Брови Филиппа взметнулись вверх, а глаза удивлённо округлились:

— А какое отношение имеет Веласкес к женским беременностям?

Я выступила в защиту давно умершего великого художника:

— У него тоже были дети, значит, имеет.

Мой муж, приняв шутливую подачу, вернул мяч:

— Ну ладно... Долорес в её почтенном возрасте... но ты-то как успела обернуться? ... два века назад, а потом ещё и обратно?

— Пути женских хитростей неисповедимы, — брякнул мой неразумный язык и тут же присох к гортани. Разве можно так шутить с Филиппом, имеющим устойчивое предубеждение против моей дурной наследственности!

Слава богу, но на этот раз обошлось; из глаз не посыпались искры, и рот не вытянулся в узкую бледную линию.

— Нет, правда. Почему Веласкес?

— Просто, оказалось, что некоторые портреты её предков были написаны Веласкесом, как и те, что ты показывал у себя дома... и манера показалась мне знакомой.

— О! Похоже на этот раз тебе удалось блеснуть своими познаниями, — в его голосе звучала откровенная ирония.

— Нет. Познаниями блистала Долорес, а я только слушала. Она чудесная рассказчица, а я внимательная слушательница. Мы прекрасно подходим друг другу.

Чуткое ухо Филиппа уловило в моём голосе обиженные нотки, и он поспешил загладить неловкость:

— Не надо скромничать. Ты действительно неплохо разбираешься во многих вещах, о которых другие барышни в твоём возрасте даже не слышали.

Всё было бы хорошо, не останься в душе небольшая царапина: я уже не в первый раз замечала, что Филипп, признавая за мной кое-какие достоинства, не любил, когда их замечали другие.

Почему ему это мешало? Возможно, когда нибудь я пойму и это.

Пару дней спустя муж преподнес мне очередной маленький подарок, торжественно объявил:

— В субботу весь двор приглашён на королевский праздник — Корриду. Когда-то Карл IV под влиянием Годоя и его профранцузской политики запретил бой быков. Фердинанд, вступив на престол, отменил запрет отца, и в субботу впервые за много лет в Мадриде, на главной площади, площади Майор, состоится настоящий бой быков. Это его решение вызвало неудовольствие многих противников такого рода зрелищ, но король считает Корриду, как и инквизицию, одной из древнейших испанских традиций, которые он собирается восстанавливать и поддерживать в течение последующих ста лет.

— А мне обязательно туда идти?

— А тебе разве не интересно?

Он задал вопрос, и в его глазах промелькнуло сомнение.

— Мне не хочется на это смотреть. Что может быть отвратительнее безнадёжной борьбы затравленного животного с группой вооружённых, хорошо обученных наёмных убийц. Странно, но в этот момент мне вспомнился погром в доме ювелира, бессмысленность сопротивления и невозможность мести.

— Ты не совсем права. Это честный поединок, исход которого непредсказуем — может победить тореадор, а может и бык, если он настоящий борец. Коррида — это дуэль, это бой, ведущийся по строгим правилам, и побеждает в нём тот, кто сильнее или тот, кому больше повезёт. Не случайно само слово *corrida* образовано от глагола *correr una suerte* — претерпеть судьбу. А идти туда надо — мы принадлежим к ближайшему окружению короля, и такие приглашения равносильны приказу.

Филипп целый вечер объяснял мне правила ведения боя, показывал многочисленные гравюры с изображениями завершающих сцен, портреты знаменитых матадоров в роскошных костюмах, разъярённых быков, целящихся в сердце будущего победителя... а у меня перед глазами металось на полу мощное тело молодого ювелира, с руками, прикрученными к деревянной балке.

В субботу, в пять часов вечера мы заняли свои привилегированные места на теневой стороне арены. Нарядная, возбуждённая публика жаждала зрелищ, а я молила бога дать мне силы справиться со страхом и отвращением, переполнявшими душу.

И вот оно, это жуткое представление, началось. Публика приветствовала Фердинанда бурными аплодисментами. Он, в голубом, расшитом золотом камзоле и тесных, доходящих до колен рейтузах, обтягивавших его полные короткие ноги и круглый, гордо выставленный напоказ живот, кивал головой и разводил в стороны чуть приподнятые вверх, округлённые руки, возвращающие благодарному народу его вековые традиции.

Громкая, маршевая музыка возвестила начало шествия участников представления. Первым вышагивал матадор — тот, кому предстоит завершить бой, нанеся быку последний, смертельный удар. Рядом, отставая на какие-то полшага — верные, готовые в любой момент прийти на помощь, ассистенты. Гибкие, тренированные, затянутые в узкие светлые рейтузы, подчёркивающие силу и стройность ног, короткие, не достигающие до талии, расшитые серебром камзолы, натянутые на широкие прямые плечи... они кланялись королю и приветствовали публику, обещая всем своим видом быструю и изящную победу над взбесившимся зверем.

Публика захлёбывалась от восторга; ещё бы — знаменитый Хосе Дельгадо, прозванный в народе Пепе Илло, лучший матадор, столько лет пребывавший в вынужденном забвении, опять на арене и в наилучшей форме. Виват, Пепе!

Вслед первой группе будущих победителей появилась вторая — гордо восседающие на закованных в яркие защитные доспехи лошадях, пикадоры. Их задача — не забить быка насмерть, но раззадорить, «разогреть», причинив боль воткнутыми в загривок острыми пиками, заставить атаковать, показать свою силу и боевой азарт. Не демонстрировать же публике унылый бой с ленивой, полусонной коровой. Виват, доблестным пикадорам!

Шествие замыкали многочисленные, нарядно одетые музыканты и работники сцены, готовые в любой момент поддержать и защитить главных героев. Виват музыкантам и работникам сцены!

Публика ликовала. Дамы размахивали разноцветными платками, мужчины подбрасывали в воздух шляпы, подпевая браваурной мелодии марша, а я... я ждала самого главного участника события. Я ждала быка.

Барабанная дробь, с грохотом распахнувшиеся створки ворот и он, громадный, чёрный с белыми, завернувшись к небу рогами, вылетает из своего загона на арену, думая, что вырвался на свободу. Остановившись на полпути, бык замер, широко расставив мощные передние ноги, и поднял удивлённые глаза к публике: «Кто они, почему они здесь, и зачем мне столько врагов?»

«Виват, бык!», — мысленно произношу я, — «Да поможет тебе бог».

Первая терция началась!

Доля минуты на размышление, и первый враг, тореро с «капоте» — большим, тяжёлым розовым плащом, уже начинает свои блестяще отточенные пируэты — Он вызывает быка на себя, выставляет вперёд капоте и отводит назад противоположную ногу. Бык атакует.

Маэстро вращает зверя по кругу, фиксирует на месте, дразнит плащом, подзадоривая к новой атаке. Они враги и партнёры, их движения подобны азартному танцу, и уже не понять кто ведущий, а кто — ведомый. Тореро пронесёт капоте над своей головой, разворачивается лицом к быку и завершает первую серию пируэтов, первую веронику. Трибуны раздражаются аплодисментами.

Этот танец партнёры повторяют ещё дважды, каждый раз с нарастающим темпом и мастерством, изматывая, и заряжая друг друга.

Трубы возвещают вторую терцию — выход пикадоров. Тореро может передохнуть, а бык... он обязан бороться дальше.

Конный пикадор, всё это время находившийся за пределами внешнего круга, мчится к разъярённому животному, отвлекая его внимание на себя. Встреча, атака... кто враг — человек или лошадь? Острые рога вонзаются в защищённый доспехами лошадиный бок, а всадник... он, пользуясь своей недоступностью, артистично изгибается и загоняет две острые пики в незащищённый загривок всё перепутавшего зверя. Вот это обман! Вот это коварство! Быку больно, он в ярости, он жаждет реванша, но ему доступна только лошадь. Её нужно перевернуть, погрести под ней седока и безжалостно растоптать обоих! Бык снова и снова бросается на ни в чём не повинную лошадь, расплачиваясь новыми кровавыми ранами за

такое естественное всему живому желание — отомстить за унижение и боль... Обезумевший бык мечется по арене, неся на шее, как терновый венец, острые цветные пикарды, из-под которых струится тёмная, густая кровь.

И опять трубы и барабанная дробь, возвещающие последнюю терцию, терцию смерти.

Пепе Илло, держа мулету и шпагу в левой руке, правой снимает шляпу и направляется к королевской ложе. Всем ясно — свою победу он посвящает королю. Рука вытянута, непокрытая голова склонилась в низком поклоне, короткая посвятельная речь... и шляпа летит через плечо на арену... стон ужаса на трибунах — шляпа упала дном вверх! Ближайший помощник подскакивает к шляпе и переворачивает её — предзнаменование должно сулить удачу. Вперёд, Пепе, всё будет хорошо. Бык измотан и тяжело ранен. Победа сама идёт тебе в руки.

Маэстро, великий артист, выбрасывает вперёд мулету, небольшой красный плащ, натянутый на деревянную палку, перед самой мордой быка, приводя его в ещё большее бешенство. В какой-то момент кажется, что инициативу перехватил зверь: он нападает, преследует матадора, а тот, предугадывая каждое движение, отступает, чтобы через секунду вновь перейти в наступление. Это был бешеный танец Пасадобль, дуэль двух титанов, уважение к силе противника и всё же — не на жизнь, а на смерть.

И вот он, этот страшный миг — бык, запутавшийся рогами в мулете, голова наклонена вниз, передние ноги вытянуты слегка вперёд и маленький треугольничек между лопатками, прикрывающий бычье сердце, открыт для удара шпаги, давно ждущей своего часа. Пепе изгибается дугой и заносит оружие...

Что это? Бык из последних сил делает рывок в сторону живота матадора и, ткнув его рогом, валит на землю. С трибун несётся испуганный вой.

Тело, за секунду до этого танцевавшее бешеный Пасадобль, лежит ничком на жёлтом песке арены. Под его животом растёт и набухает яркое красное пятно.

Пепе, это ты должен был сейчас мчаться вдоль трибун, потрясая боевыми трофеями — ушами и хвостом, срезанными с мертвого быка, это для тебя должна была греметь победная музыка, но коррида — это судьба, и твоя шляпа упала сегодня не той стороной.

Победителем вышел Бык, и это он мчится по кругу арены, развеивая боевыми трофеями — пронзившими шею цветными пикардами. Сегодня они — его корона, его лавровый венец. Он обречён, ему не будет пощады, это последние минуты его жизни, последние минуты его славы. Бык, я горжусь тобой, я счастлива.

Домой мы вернулись молча. Филипп тревожно заглядывал мне в лицо, но я не падала в обморок, не требовала нюхательной соли и не прижимала кружевной платочек к трясущимся губам. Я просто молчала. Через час, решив, что опасность миновала, он заговорил, нежно поглаживая мне руку:

— Прости, малыш, я был не прав. Нельзя было заставлять тебя, в твоём состоянии, присутствовать на таком представлении. Как ты себя чувствуешь?

— Ничего страшного. Всё обошлось. А что с ним будет дальше?

— Ты имеешь в виду Пепе? Мне сказали, что рана не смертельна. Король послал к нему одного из лучших придворных врачей. Так что надежда есть.

— А что будет с быком?

— У него надежды нет и быть не может. Думаю, он уже мёртв.

— А как же честная дуэль? Ты говорил, что каждый имеет право на победу.

— Да, на победу, но не на жизнь. Это разные вещи.

— А где же справедливость?

— Видишь ли, тут дело не в справедливости, а в безопасности. Я не большой специалист по корридам, но знающие люди говорят, что бык, переживший бой, сохраняет в памяти на всю жизнь не только приобретённый опыт, но и ненависть к людям. Он становится очень агрессивным, а значит, опасным. Поэтому его не оставляют в живых.

Да, этот аргумент звучал вполне убедительно, и спорить было не о чём.

Все последующие дни коррида стояла в центре общественных интересов. Наш «дамский клуб» принимал горячее участие в судьбе несчастного Пепе. Врач сообщил, что жизнь его вне опасности, но выступить он больше не сможет.

— Бедняга. Он ещё так молод и так хорош собой! — печально вытягивала пухленькие губки баронесса Бильбаго, — как ему дальше жить? Вы знаете, что у него на плечах жена и трое детей?

— Я считаю, мы должны ему помочь, — решительно предложила контесса Родригес, — собрать деньги, или, ещё лучше, объявить лотерею в его пользу. Если мы активно возьмёмся за дело, можно обеспечить вполне приличную сумму.

— А у меня есть другое предложение, — вступила в дискуссию третья активистка, — можно обратиться с прошением к королю о выделении Пепе Ильо пожизненной пенсии. Я считаю, он её заслужил.

— Да, — глаза контессы возбуждённо заблестели, — мы вообще могли бы основать фонд поддержки пострадавших в бою тореодоров. Благотворительность всегда была женской епархией, мужчинам такие мысли вообще никогда не приходят в голову.

Последняя идея вызвала всеобщее одобрение. Ещё бы — мы опять оказывались умнее и тоньше наших мужей. Предложения сыпались, как из рога изобилия. Через час проект фонда был готов, и все занялись обсуждением кандидатур в учредительный комитет.

— Графиня, — глаза баронессы радостно обратились в мою сторону, — я считаю, Вы — просто находка для нашего комитета. Ваша молодость, энергия, умение быстро находить нужное решение — это то, что совершенно необходимо для успешного проведения работы. Вы, конечно же, согласны со мной? — она пробежалась взглядом по кругу сидящих в удобных креслах дам, встретив в каждом лице радостное и безоговорочное одобрение.

Единогласное признание такого количества достоинств подействовало на мою честолобивую душу освежающе. Да, я действительно очень чувствительна к похвале, но не ко всякой. Compliments моей молодости, свежести и привлекательности либо смущают, либо оставляют равнодушной. Чем тут гордиться? Молодость и свежесть быстро пойдут, оставив после себя побледневшую, вялую кожу, пару портретов и сочувственные взгляды окружающих: «Да, когда-то она была действительно недурна». Красота... разве это моя заслуга? Это подарок судьбы, доставшийся мне совершенно случайно, не потребовав ни усилий, ни напряженной работы. Красота — это творчество природы, пусть она им и гордится.

По-настоящему радовала лишь похвала моих знаний, умения мыслить, быстро схватывать суть и придумывать нестандартные решения, так как за этим стоял мой многолетний, усердный труд.

Я спешно начала соображать: «А почему бы и нет? Благотворительная деятельность не может помешать карьере моего мужа; ею так или иначе занимаются все светские дамы, и потом... нельзя же всё время выскальзывать...». Мой рот уже приоткрылся для согласия, но...

Уверенный, низкий голос Долорес перевернул все планы: «Разве так можно, уважаемые дамы. У графини сейчас совсем другие заботы! Ещё пару месяцев, и ей будет не до нас. Я считаю, что с общественной деятельностью ей лучше обождать», — и, умильно посмотрев на меня, добавила, — «Милочка, Вам нужно беречь силы. Вы так хорошо сказали о нашем самом важном в жизни предназначении».

Столь же умильно поблагодарив её за заботу о моём здоровье, я предалась размышлениям: «А чем, собственно, мешало ей мое присутствие в этом дурацком комитете?»

Прощаясь, маркиза нежно потрепала меня по плечу и прочирикала в самое ухо:

— А Вы не хотели бы пригласить меня завтра на чай? Давно хотелось посмотреть коллекцию картин Вашего мужа. Вы заинтересовали меня его Веласкесом».

День спустя мы сидели за маленьким столиком на открытой террасе, густо обвитой плющом, кокетливо украсившим себя крупными ярко-красными цветами. Одна из чашек тонкого костяного фарфора, поймав случайно пробившийся лучик, светилась изнутри, отбрасывая на скатерть золотистую тень.

Маркиза уже успела повосхищаться замечательными портретами предков, установить схожесть Филиппа с дедом по материнской линии, выпить две чашки чая с моим любимым вишнёвым вареньем, а я... я гадала над истиной причиной её визита. Поболтав ещё пару минут о погоде, она перешла к делу:

— Вы, похоже, вчера слегка обиделись на меня? Я так решительно отвела Вашу кандидатуру на выборах в учредительный комитет... но, знаете... я хочу сказать, что у меня была на то веская причина.

— Нет, что Вы, я не обиделась, скорее, удивилась, — гордость не позволила сознаться, что всё же обиделась.

— Видите ли, с этим комитетом всё не так просто. Сомневаюсь, что его Величество одобрил бы эту затею.

Долорес задумчиво переставила чашку подальше от края стола, обрисовала пальцем контур золотистой тени и, собравшись, наконец, с мыслями, продолжила свои объяснения:

Король, хоть и послал одного из своих лучших врачей к Пепе, на самом деле очень рассержен проигрышем. Эта коррида замышлялась как праздник победы над французами. Бык должен был символизировать униженного, разбитого Наполеона, а матадор — победителя Фердинанда. А что из этого получилось? Выиграл бык. Фердинанд очень суеверен, и боюсь, истолковал это, как дурное предзнаменование: освобождение Испании от французов — лишь короткая передышка. Наполеон скоро снова усядется на наш трон, а короля ждёт новое изгнание! Он запретил даже напоминать ему об этой корриде, а значит идея с фондом и комитетом сейчас совсем неуместна. Вам не следует ввязываться в эту историю. Надеюсь, Елена, Вы больше не сердитесь?

— Нет, наоборот, очень благодарна. Я, честно говоря, не уловила этой связи и готова была принять предложение.

— Я это заметила, потому и оборвала дискуссию..., хотя, возможно, слишком резко.

Долорес с любопытством заглядывала мне в лицо. Она, как когда-то отец, объяснив очередную взаимосвязь явлений, наслаждалась произведённым эффектом, а потом задала вопрос:

— Ну что, теперь Вам всё понятно?

— Да, с реакцией его Величества — всё. Только вот с символами — не очень. Почему именно бык символизировал Наполеона? Бык боролся один, а у Наполеона была целая армия. Бык не причинял людям никакого зла, он даже не хищник, он простой травоядный?

— А Вы вспомните греческую мифологию о быке Минотавре, ежегодно пожиравшем человеческие жертвы. Так и Наполеон. Он был для нас Минотавром, пожиравшим не только наших людей, но наше достоинство и традиции. Фердинанд стал, пользуясь этой аналогией, Тесеем, уничтожившим зло. Вот и вся символика.

Мы выпили ещё по чашке чаю, поболтали о всякой ерунде, и моя гостья удалилась. Наш разговор напомнил мне пирог с начинкой; сверху и снизу — вязкое тесто, а посередине суть, истинная цель сегодняшнего визита.

Её объяснение вызвало целую бурю мыслей в моей несчастной голове. Сколько разных трактовок можно дать одному и тому же событию! Для меня коррида — это избиение. На потеху публике группа негодяев бьёт одного, того, кто им лично не причинил никакого зла. Они избивают его по очереди: первый, что бы потешиться и обозлить, второй — слегка покалечить, а третий — добить до смерти. Для меня бык символизировал молодого ювелира, которого били и унижали только за то, что он еврей. Они не повредили его тела, они просто изломали ему жизнь и покалечили душу.

Для короля коррида — это война, где бык — Наполеон должен быть наказан за все беды, причинённые не только Испании, но и Фердинанду лично. Пять лет назад император морально избил, унизил молодого, неопытного наследника престола, лишил трона и отправил в изгнание. Представляю, как страстно желал Фердинанд отомстить обидчику, расквитаться с ним и восстановить свою честь!.

Для публики — это торжество силы и мужества воинов, побеждающих зло. Боже, как много значений у одного и того же события, как много сторон у одной и той же медали!

Но почему среди всей этой массы народа, заполнявшей в тот день трибуны, я была единственной, кто сочувствовал быку? Ответ на этот, казалось бы, непростой вопрос лежал на поверхности. Прости, мудрый ювелир с изломанной душой, ты научил меня очень многому, но твоё последнее наставление я не смогу исполнить. Родиться еврейкой, прожить первые девять лет среди отверженных, а потом всё забыть и родиться заново... Нет, это невозможно. Я — бык, побывавший в бою.

Папа, ты учил искать истину посередине, но где лежит она, эта середина, если у каждого в прошлом своя коррида?

Вечером мы, как всегда, обменивались впечатлениями прожитого дня. Накануне Филипп вернулся домой поздно, чем-то озабоченный и уставший, поэтому все новости, накопившиеся за два дня, пришлось на сегодня. Я рассказывала всё по порядку: о пенсии и лотерее для Пепе Ильо, об организации фонда поддержки пришедших в негодность тореодоров и о выборах в учредительный комитет.

По ходу моего рассказа брови Филиппа то взлетали вверх, то изгибались дугой, но глаза отсутствовали. Казалось, мысленно он пребывал где-то в другом месте и в другом времени. Лишь при упоминании об отводе моей кандидатуры, предпринятом Маркизой с такой стремительной уверенностью в своей правоте, он очнулся.

— Ну-ка, повтори этот эпизод ещё раз и постарайся точно вспомнить слова и выражение её лица.

Я, кожей ощутив беспокойство мужа, старательно повторила всю сцену, сосредоточившись на нюансах и подробностях.

— А ты знаешь, почему маркиза себя так повела? — похоже, в Филиппе проснулся придворный дипломат.

— Вчера я этого не поняла, и, честно говоря, даже слегка обиделась, но прощаясь, она напросилась ко мне на чай, поэтому обиду пришлось отложить на потом.

— И что же случилось потом?

— Сегодня Долорес объяснила причину своей поспешной реакции. Она сказала, что король очень расстроен поражением матадора и ему не понравилась бы наша инициатива.

Филипп с интересом выслушал версию маркизы о королевском суеверии, отхлебнул вина из своего любимого хрустального бокала и, одобрительно похлопав меня по руке, весело рассмеялся:

— Ну что, Гусь, поздравляю с успешным началом шпионской деятельности!

— И что же я такого важного нашпионила?

— А я последние три дня практически не встречался с королём и об его отношении к итогам корриды не был проинформирован, а ты всё разнюхала и своевременно доложила, — в его голосе чувствовалась издевка.

Опять эта непонятная реакция — то ли ученица слишком глупа и делает из мухи слона, то ли сведения и в самом деле полезны, но гордость не позволяет ему это признать. Эти мысли слегка царапнули моё самолюбие и улетели: сейчас не время для мелочных разборок. Важнее узнать его мнение о Долорес: похоже, в ближайшее время наши частые встречи неизбежны.

— А как ты думаешь, зачем ей понадобилось меня предупреждать?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно кое-что знать об этой даме. Она умна и энергична, но никогда не плетёт самостоятельных интриг. Маркиза — преданный и самоотверженный страж интересов своего непотопляемого мужа. Вчера у неё была возможность тебя чуть-чуть подставить. Действительно только чуть-чуть, потому что Фердинанд очень снисходителен к женской инициативе, и в государственном преступлении вас никто не обвинил бы. Просто в его памяти остался бы лёгкий осадок, связанный с твоим лицом, а это ни тебе, ни мне не нужно. Интересно другое. Почему маркиза не воспользовалась этой возможностью?

— И как ты думаешь, почему?

— А не воспользовалась она ею потому, что им, ей и её мужу, это сейчас не нужно. Это значит, что в данный момент я не стою у него поперёк дороги, и в его присутствии король не высказывал в мой адрес особого недовольства. Всё очень просто. А ещё, могу предположить, к тебе лично она относится с определённой симпатией, иначе не стала бы утруждать себя такими подробными объяснениями. Вот и вся дипломатия, малыш. Думаю, на сегодня хватит.

К концу вечера у меня сильно разболелась голова. Я чувствовала, что безумно устала от сложных переплетений дворцовой жизни. Надводные и подводные течения, чужие амбиции, приоритеты... Неужели придётся посвятить этому всю жизнь? Как хочется домой, к папе и к бабушке. Лучше плести вместе с Элеонор чудесные венецианские кружева или вышивать розы с повисшими на лепестках капельками росы, чем размышлять о суеверии его Величества или собачьей преданности маркизы её антикварному мужу. Неужели Филиппу всё это действительно интересно?

Несколько месяцев назад он отклонил моё предложение покинуть Испанию, чётко объяснив смысл своей жизни: движение, риск, служение высшим целям, возможность воздействовать на ход истории... Всё остальное — скука и бессмысленное прозябание. Но нужен ли такой смысл жизни мне? Стать с годами второй Долорес — просидеть всю жизнь на страже честолюбивых амбиций фанатично увлечённого политикой мужа и умереть с сознанием добросовестно выполненного долга? Стоило ли ради этого приходить в мир, полный чарующей красоты, роскошного торжества цветущих деревьев и опьяняющей душу музыки?

Сложный вопрос, на который, похоже, мне предстоит отвечать всю оставшуюся жизнь.

Следующую неделю, сославшись на головокружение и общую слабость, я просидела дома, с наслаждением вышивая чепчик для живущего во мне маленького человечка. Почему-то мысли всё время крутились вокруг Элеонор. Живя дома, я никогда не принимала её всерьёз, интуитивно почувствовав и переняв пренебрежительное отношение к ней папы и бабушки.

Она, не вникая в дела и интересы семьи, жила в ней своей отдельной жизнью. Моё появление Элеонор встретила спокойно и равнодушно, не проявив ни симпатии, ни протеста. Я была очередным решением семьи, принятым без её участия. Порученные мужем и свекровью занятия со мной — музыкой, вышиванием и светскими манерами — она выполняла со свойственной ей добросовестностью, как когда-то это делал мой старший брат по принципу: «Часа в день будет достаточно». Мы прожили все эти годы, почти не соприкасаясь друг с другом, но почему-то сейчас именно к ней, почти чужой женщине, всё чаще возвращались мои

мысли. Чем занималась она в свободное время? Готовя уроки по математике, я слышала, как Элеонор часами разучивала какую-нибудь музыкальную пьесу, и, повторяя по многу раз одну и ту же фразу, добивалась максимальной выразительности. Однажды, заинтересовавшись этими упражнениями, я проскользнула к ней в комнату. Она, раскрасневшаяся, с блестящими глазами сидела за роялем, и, забыв обо всём, творила. И хороша она была не заученной красотой, а натуральной.

В другой раз я застала её в парке за рисованием. Она, несколько смутившись, отложила кисти и вопросительно посмотрела в мою сторону:

— Ты хотела меня о чём-то спросить?

Я украдкой бросила взгляд на картинку. Часть её была то ли размыта, то ли смазана. Заметив моё недоумение, Элеонор, смутившись ещё больше, пояснила:

— Да, вот уже целый час пытаюсь уловить цвет этой плавучей лилии, но солнце все время движется и меняет её, и каждый новый момент нравится мне больше предыдущего. Никак не могу остановиться.

Месяц спустя она показала мне готовый гобелен, сплетённый по этому рисунку — лилия, как живая, плыла и покачивалась на солнце. Элеонор выбрала своим предназначением красоту. Она хранила её творчески и с любовью, оставаясь при этом абсолютно равнодушной к куполам своего мужа. Охотно пела и играла для чужих, любила блистать в обществе, а дома... дома жила своей отдельной от всех жизнью, не требуя ни признания, ни похвалы.

Сделав последний стежок, я потянула чепчик к губам, собираясь откусить нитку, но, вовремя вспомнив поучения Элеонор, аккуратно отрезала её ножницами. В этот момент что-то внутри меня вздрогнуло и едва заметно потянулось. Это совершенно новое ощущение заставило насторожиться; неужели маленький человечек ожил и зашевелился! Бабушка в своих подробных письмах предупреждала об ожидавшем меня сюрпризе: «Скоро он начнёт свою самостоятельную жизнь. Детка, не пропусти этот важный момент. Его первое движение — это начало ваших будущих отношений, это первое слово, обращённое к тебе».

Боже, сегодня это чудо свершилось! Мой ребёнок впервые дал о себе знать — слегка ткнув кулачком в живот, он сладко потянулся, перевернулся на другой бок и, утомлённый первым самостоятельным усилием, снова заснул.

Я вспомнила о поисках смысла жизни, мучивших меня ещё час назад, и улыбнулась: зачем искать то, что уже существует. Малыш сам решил все мои проблемы, ткнув кулачком в живот, как это делала когда-то в детстве моя старая, замызганная кукла.

Он заставил меня на долгие месяцы забыть о дворцовой дипломатии, хитростях Долорес и чужих корридах. Какое значение имеют все эти глупости в сравнении с тем, кто живёт во мне?

С этого дня жизнь приобрела новый смысл и новые краски. Я воспринимала мир за двоих: музыка, солнечные блики на траве, аромат свежескошенного сена... Какое счастье постоянно иметь при себе маленького человечка, разделяющего каждое движение твоей души, откликающегося на нашу общую радость или печаль лёгкими толчками и потягиваниями. Филипп принял мою добровольную отставку с должности внештатного разведчика по особым поручениям без возражений. Его глаза сияли радостью, он постоянно прикладывал руку к моему животу в надежде уловить загадочные знаки внимания, но маленький упрямец, чувствуя близость отца, забивался в самый дальний угол своей норки и затихал. Пока что он хотел принадлежать только мне.

Было совершенно не важно, кто появится первым — мальчик или девочка, главное, что потом будут и те и другие. Мы разглядывали портреты предков, подбирая нашему ребёнку самый красивый нос, глаза и губы, потому что ему предстояло стать самым привлекательным и умным из всех людей, живших когда-либо на земле. Единственным условием моего мужа были голубые глаза, которые обязательно должен унаследовать один из детей.

Однажды, сидя в библиотеке, я случайно засмотрелась на изображение Пана с маленькими рожками и кривыми козлиными ногами. Филипп, проворно выскочил из кресла и загородил спиной картину:

— На это тебе нельзя смотреть — ещё не дай бог родишь мужика не только с рогами и копытами, но ещё и вечно пьяного.

— А что, такое бывает?

— Твоя бабушка считает, что ребёнок может перенять облик того, на что беременная женщина слишком часто заглядывается.

— Ладно, бабушка знает, что говорит. Идём, покажу, на что теперь буду всё время смотреть, только закрой глаза.

Филипп послушно закрыл глаза, и я подвела его к зеркалу.

— А на это можно?

Он распахнул глаза и, наморщив лоб, уставился на своё отражение.

— Нда... могла бы выбрать что-либо поинтереснее... Но, во всяком случае, лучше, чем Бахус — без хвоста и почти всегда трезвый.

Дни стремительно улетали в прошлое, а тело становилось всё бесформенней и круглее. Часто, оставшись одна в комнате, я с раздражением смотрела на непомерно большой живот, ставшие одутловатыми щёки и губы. Вернётся ли всё это в нормальное состояние, или я навсегда, как мама, потеряю свою привлекательность, став расплывшейся и неуклюжей. Однажды рискнула задать этот вопрос Филиппу:

— А что, если я навсегда останусь такой страшной?

Он в своей всегдашней манере ответил очередной шуткой:

— А я успел уже обо всём позаботиться — заказал огромное шёлковое покрывало, куда горничная будет тебя ежедневно заворачивать. Красивый рисунок, отвлекая на себя внимание любопытных, скроет необратимые изменения облика его обладательницы. Представляешь, какая экономия на платьях!

К сожалению, в последние месяцы я стала очень обидчивой. Вот и сейчас, слёзы, спрятанные обычно глубоко под кожей, вырвались из глаз бурным солёным потоком.

— Тебе хорошо, ты такой же красивый, как всегда, а я... я стала похожа на дойную корову с тупыми глазами и широким носом! Я с трудом переваливаюсь на распухших ногах, а ты ... ты ещё смеёшься!

Слёзы градом катились из глаз, а Филипп, впервые увидев такие потоки, почему то испугался, резко дёрнул вверх подол платья, схватил обеими руками мои располневшие ноги, долго нажимал на них пальцами, изучая остающиеся после нажатия вмятины и тревожно заглядывая мне в лицо.

— Что случилось, что ты изучаешь?

Ничего страшного, всё нормально. Давай отнесу тебя в постель. Отоспись и успокойся.

Он поднял всю эту тяжесть на руки и осторожно понёс в спальню.

Я лежала в кровати, закутанная в два одеяла, и пыталась отгадать причину его страха. Почему Филиппа так испугали мои ноги? Надо будет завтра написать бабушке, пусть объяснит.

Но написать письмо я так и не успела. Пару дней спустя бабушка собственной персоной уже решительно переступала порог моей комнаты. Она нежно расцеловала нас обоих, долго и внимательно изучала моё лицо, прикладывая руки к животу, радуясь ответным толчкам человечка, велела пройтись по комнате, а потом показать ноги, деловито задала полторы сотни вопросов и, наконец, вынесла заключение:

— Ты сынок, — она нежно потрепала Филиппа по щеке, — страшный паникёр, как впрочем, и все мужчины. Твоя жена совершенно здорова, и беременность её протекает вполне нормально. А ноги опухают у всех. Попробуй сам поносить такую тяжесть. И лежать целый день в постели беременной женщине незачем, это же не болезнь какая-нибудь. Наоборот — двигаться, дышать свежим воздухом, есть побольше свежих фруктов, и радоваться жизни. Тогда и ребёнок родится здоровым и спокойным. Ничего, знания приходят с опытом. В следующий раз не будешь так сходить с ума.

Бабушка выгнала меня из тёплой постели и повела на прогулку.

— Покажи твой самый любимый уголок в парке.

Я грустно вздохнула и созналась, что любимого здесь нет:

— Понимаешь, здесь всё не наше; чужой дом, чужая мебель, чужой парк. Это временное пристанище, предоставленное нам королём на неопределённый срок, и менять в нём что-либо по своему вкусу не имеет смысла. Мы живём здесь, как в гостях.

Бабушка спокойно шла по дорожке, усыпанной розовыми и белыми цветочками олеандра, вдыхала пряный запах петунии и гладила мою руку.

— Девочка, как быстро ты стала взрослой. Никогда не забуду твоё первое утро в нашем доме. Я точно так же взяла тебя за руку и повела в парк... а ты... ты всё время отворачивала голову и часто моргала ресницами, стараясь сдержать слёзы. Думала, чужая старуха всё равно ничего не понимает и не замечает. А теперь я радуюсь предстоящей встрече с правнуком. Вот уж не надеялась до такого дожить.

Я обняла бабушку за талию и уткнула нос в её тёплое плечо. Оно пахло совсем не так, как мамино, но и этот, за столько лет ставший родным запах, действовал успокаивающе на мои взбудораженные нервы. Да, жизнь с Филиппом — это всё что угодно, только не уют и покой. Он не даёт расслабиться ни на минуту.

Последние недели пролетели незаметно. Человечек, яростно барабанил меня в живот. Наконец, настал день, когда это нетерпеливое существо начало прорываться в большой мир. Бабушка уверенно руководила процессом: она давала мне точные инструкции, когда надо глубоко дышать, активно помогая его движению, когда можно расслабиться, предоставив инициативу мудрой природе. Всё было бы хорошо, если бы не мой любимый муж. Он стоял с зелёным лицом и трясущимися руками цеплялся за спинку кровати. Точно так же, как я год назад умирала от ужаса, глядя на его распухшую, рваную рану. И точно так же, как он тогда, взмолилась о пощаде:

— Милый, выйди, пожалуйста. Подожди в соседней комнате, мы скоро закончим.

Он выскакивал за дверь, но через пару минут опять возвращался, требовал дать ему какое нибудь задание, цепляясь за меня огромными, переполненными ужасом глазами.

Наконец бабушка не выдержала, решительно обняла его за плечи и повела к двери:

— Сынок, перестань, наконец, болтаться под ногами и паниковать. Уйди и займись чем-нибудь полезным.

— А что может быть сейчас для вас полезно?

— Всё что угодно. Сходи, погуляй, поезжай на охоту, засядь в ближайшем кабаке, и напейся до полусмерти... Всё что угодно, только что бы тебя в доме не было!

Закончив свою речь, она убедительно вытолкала бедолагу из комнаты и плотно заперла дверь.

Борьба за освобождение человечка продолжалась долго и изнурительно. И наконец, когда силы мои были уже на исходе, комната взорвалась громким, победным писком. Моя дочка, вырвавшись на свободу, торжественно и властно сообщала о своём появлении.

При первых звуках этого писка в комнату ворвался Филипп. Он не поехал на охоту и не напился в ближайшем кабаке. Всё это время был рядом и, как он потом сознался, помогал нам своими молитвами:

— Прости, но ничего более полезного мне не пришло в голову.

Мы с любопытством разглядывали нашу девочку. Длинненькая, с тёмным пушком на круглой головке и смугловатой кожей, она казалось точной копией Филиппа. Наша малышка родилась полноценной испанкой, с крошечными узенькими ладошками и длинненькими тонкими ножками. В ней не было ничего ни от «меченых» детей моей прабабушки, ни от ширококостных, коренастых родственников мамы. Она продолжала энергично размахивать ручонками, не осознавая, что её борьба за свободу закончилась окончательной и необратимой победой.

Смешно повторять избитые истины, но дети растут действительно слишком быстро. Нашей дочке уже три месяца, она приветствует нас чарующей улыбкой и большущими, папиными глазами. Мы назвали её красиво и звонко — Франческа — в честь матери Филиппа. Пусть это имя принесёт ей счастье.

Я всё время таскала её на руках, как большую подвижную куклу, могла часами разглядывать крошечные ладошки, перебирать пальчики на ногах, нашёптывать в ушки ласковые слова и ревниво подсчитывать улыбки, которые она подарила не мне. Теперь она принадлежала всем одинаково.

Дом был полон гостей: папа, бабушка, Элеонор... Боже, какое это счастье, когда так много людей радуется появлению нового человечка, когда он всем нужен и всеми любим! Это очень хорошее начало!

Филипп был великолепным, нежным отцом. Он, как и я, часами играл с нашей общей большой куклой, смешил её забавными гримасами, напевал детские песенки, придуманные им прямо на ходу, а я не могла забыть его позеленевшее от страха лицо и трясущиеся руки.

Как это возможно? Как мог боевой генерал, обязанный сохранять хладнокровие и самообладание в минуты опасности, струсить и запаниковать при виде обычных женских родов? Пару месяцев спустя я не выдержала и задала этот вопрос бабушке.

— А ты не сравнивай несравнимое. На поле боя в опасности все, у всех равные шансы на жизнь и на смерть. Там речь шла о собственной жизни, а здесь... здесь — о твоей. Он боялся тебя потерять. Ты же знаешь, что его мать скончалась при родах.

— А разве я была в опасности? Почему его настолько испугали мои ноги, что он срочно запихал меня в постель и послал за тобой?

— Ты не была в опасности. Всё дело в его памяти. Его мама с самого начала очень плохо переносила вторую беременность, а к концу так распухла, что её вообще было не узнать. А ноги... они стали просто слоновыми. Ей нельзя было рожать второго ребёнка, ей и Филипп-то с трудом дался.

— А ты что, видела её тогда?

— Не только видела, но и при родах помогала. Её матери, моей близкой подруги, уже не было в живых, а Франческу я знала с детства. Она ведь была моей крестницей. Когда ей стало совсем плохо, она и её муж попросили меня приехать... Выглядела она просто ужасно.

Родить-то бедняжка ещё смогла, но организм был так ослаблен тяжёлой беременностью... В общем, она умерла, так и не увидев ребёнка. О Филиппе мы в тот момент просто забыли и не заметили, что мальчик, забившись в самый дальний угол, всё это время просидел в комнате. Только после её смерти я обратила внимание на тихие попискивания и всхлипы. Ребёнок лежал в углу, свернувшись калачиком, и скулил, как маленькая, всеми забытая собачонка...

— Какой ужас! Как же он всё это пережил?

— Не знаю. Я за него очень боялась, но он как-то со всем этим справился. Говорят, детские раны быстро заживают, хотя я, честно говоря, в это не очень верю.

— Я тоже.

Бабушка испуганно вскинула на меня свои тёмные глаза, несколько минут помолчала, а потом резко сменила тему:

— Поэтому-то Филипп и запаниковал. Увидел твои слегка припухшие ноги и губы и испугался, но на поле боя, и в этом ты можешь быть абсолютно уверена, он вёл себя по-генеральски. Тебе не пришлось бы за него краснеть.

В этот момент в комнату влетел Филипп с Франческой на руках. Его лицо сияло от гордости:

— Вы только посмотрите на неё! У нас совершенно гениальный ребёнок!

Он посадил малышку на колени лицом к себе и хлопнул в ладони. Она повторила его движение и расплылась очаровательной улыбкой. Восхищённый отец вытянул вперёд указательный палец, и она, ухватив его двумя ручонками, решительно потянула себе в рот.

В метре от меня сияло счастьем лицо молодого мужчины, а где-то позади, в дальнем углу комнаты скулил, свернувшись в клубочек, восьмилетний ребёнок, только что потерявший свою маму. Милый, родной мой! Как болит за тебя сердце. Почему так жестоко обошлась с тобой твоя коррида!

Глава 15

В народе говорят, что в первые послевоенные годы природа особо усердно восстанавливает численность народонаселения. Над нашей семьёй она действительно серьёзно поработала. Семь лет спустя нас было уже пятеро. Вслед за Франческой появилась Мария. Приняв у меня вторую девочку, бабушка сказала:

— Теперь твоя очередь выбирать дочери имя.

— Пусть она будет Марией, как ты.

Бабушка задумчиво посмотрела на ребенка, а потом... вопросительно на меня.

— А как звали твою маму?

Впервые в жизни она спросила меня о маме. Все эти годы её для бабушки не существовало.

Я испытала чувство неловкости, будучи поймана на маленькой хитрости:

— Её тоже зовут Мария.

Бабушка ещё раз осмотрела малышку и вздохнула:

— Ну что ж. Пусть будет Марией в честь нас обоих.

Мария, как и Франческа, была типичной испанкой — дивные папины глазки, опушённые длиннющими ресницами, тёмные волнистые локоны, но черты лица тоньше и нежнее, чем у старшей сестры. Они были очень похожи и всё же совершенно разные.

И наконец, появился тот, кого мы все с нетерпением ждали. Сын — продолжатель славных традиций семьи, наследник имени рода Альваресов, их состояния и положения в обществе. Он выскочил на свободу быстро и энергично, как будто знал, что его ждут и заранее любят. Малыш был совсем не похож на старших сестёр: белокожий, светловолосый, с крепким широкоплечим тельцем и большими серо-голубыми глазами. Наш сын был «меченым».

Странно, мужчины мечтают о сыновьях, но дочерей любят гораздо больше. Для Филиппа Франческа так и осталась абсолютной избранницей. Мария, несмотря на свою нежность и изысканность, оставалась для него всегда на втором месте, а Мигель... Он был объектом

серьёзного воспитания, мужской муштровки и скрытой конкуренции. За защитой и лаской сын прибегал только ко мне. Странно, но именно к нему я испытывала особо напряжённое чувство нежности. Он так и остался частью меня, как будто родился не окончательно. Тонюсенькая, никому не видимая нить всё ещё соединяла меня с ним. Ощущение кожи и запах казались родными и знакомыми. Прикосновение к более тонкой, нежной коже дочерей наполняло нежностью и умилением, но... это были кожа и запах Филиппа, а не мои. Мои девочки были очень уж испанскими, а сын... основательный, с широкими ладонями и крепкими ногами, походил больше на родню моей мамы. В него наверняка попало больше еврейской крови. Душа Мигеля, его упорство, детские обиды, и распахнутые мне навстречу знакомые серо-голубые глаза навсегда остались родными и понятными.

Наша многоликая, увлекательная, чётко налаженная жизнь всё чаще нарушалась приступами хандры главы семейства. Филипп, несмотря на стабильность своего положения при дворе, злился и тосковал. Он был разочарован пассивной политикой Фердинанда, руководимого консервативным крылом. Главные советники блокировали все реформы, обещанные королём при вступлении на престол. Страна, как и при его отце, оставалась нищей и отсталой. Практически все южноамериканские колонии были для Испании безвозвратно потеряны. Исключение составляли лишь Куба и Пуэрто-Рико. Королевская казна настолько обнищала, что даже Флориду продала за 5 миллионов долларов Америке. Мой бедный идеалист муж воспринимал это как своё личное поражение. Он мечтал стать активным участником восстановления великой Испании, а оказался покорным свидетелем её застоя и распада. Общество бурлило, как паровой котёл. Инквизиция гонялась за инакомыслящими и заговорщиками и всё же чего-то не досмотрела. Заговор против короля был подготовлен прямо у неё под носом.

1 января 1820 года грянула революция, возглавленная королевским дипломатом Галиано и либеральным политиком графом Истурисом. В Мадриде царила паника.

Армия под руководством Рафаэля дель Риго перехватила инициативу. К концу января практически весь юг Испании оказался в подчинении восставшей армии, которая, почти не встречая сопротивления, энергично продвигалась к Мадриду, уже почти захваченному взбунтовавшимся народом. Филипп посадил нас под домашний арест, запретив даже прогулки по парку. Он приводил в пример французскую революцию, когда обезумевший вооружённый народ, начав с короля, закончил аристократией. Трон под Фердинандом опять зашатался. После двухдневного размышления он, наконец, вынужден был сдаться — признать конституцию 1812 года и созвать уничтоженные когда-то кортесы. В Испании была объявлена конституционная монархия.

Я ожидала, что Филипп оживится и расцветёт — судьба давала ему новый шанс воздействовать на ход истории, но мой непредсказуемый муж отреагировал совершенно неожиданным образом.

Он, один из самых активных членов когда-то уничтоженного парламента, мрачно крутил в руке официальное приглашение и напряжённо молчал. Моё любопытство оказалось сильнее осторожности:

— Ты не рад? Тебя что-то тревожит?

— Да, мне всё это действительно не нравится. Честно говоря, я не верю в жизнеспособность всего этого мероприятия.

— Как это? Что ты имеешь в виду?

— Я не верю, что Европа потерпит конституционную монархию в Испании. Это всего лишь временная мера, что бы выиграть время и собраться с силами, а потом... а потом полетят с плеч неразумные, доверчивые головы. Считай, что я трушу.

— Восемь лет назад ты готов был сунуть свою голову в любую петлю?

— Ну, во-первых, за восемь лет отчаянная голова может набраться опыта и помудреть, а во-вторых... теперь ей приходится отвечать не только за себя одного.

— А какую позицию занял непотопляемый муж Долорес?

— О, маркиз занял самую надёжную позицию — в постели... с тяжелейшим приступом подагры.

— А ты не можешь срочно от него заразиться? Ведь, насколько я слышала, эта болезнь очень заразна, а ты в последнее время находился с ним в постоянном контакте?

— Копировать гениев нельзя. Как правило, копия лишь подтверждает бездарность незадачливого копииста. Придётся искать собственное решение.

Мой муж действительно нашёл своё гениальное решение: он, совмещавший в одном лице роли депутата парламента и министра культуры и просвещения, самозабвенно увлёкся борьбой за укрепление и процветание вверенных его попечению отраслей. Со свойственным ему красноречием и энтузиазмом, Филипп связывал будущее Испании с сохранением её культурных ценностей, добиваясь непомерно больших инвестиций в создание музеев, театров и университетов. Во всех прочих дискуссиях предпочитал отмалчиваться или отделяться красивыми, ничего не значащими фразами.

Два года балансировал он на острие ножа, правильно рассчитав очередной виток истории. Россия, Пруссия, Австрия и Франция, заключив договор о союзнничестве, бросились на помощь обездоленному Фердинанду. В апреле 1823 года французская армия очередной раз заняла территорию Испании, и пару месяцев спустя наш монарх с облегчением разорвал конституцию, разогнал парламента и занялся преследованием провинившихся. Игра, мудро проведённая моим мужем принесла свои плоды: мы не только выжили, но были очередной раз обласканы королём за патриотизм и верность престолу. Филипп тоже стал непотопляемым.

Да простит меня бог за эту иронию, но, похоже, папины уроки не прошли даром. Что мне за дело до чужих амбиций. Моя задача в любой войне — выжить и сохранить жизнь моим детям, а те, кто хочет воевать... Пусть делят между собой власть, как им это нравится.

Орден за особые заслуги перед отечеством и грамоту, объявляющую нас пожизненными владельцами занимаемого нами особняка, торжественно вручённые Филиппу королём, были, на самом деле заработаны честно. Увлёкшись борьбой за инвестиции в культуру, он придумал замечательный план, переложив исполнение на нас с Долорес.

— Малыш, помнишь вашу затею с фондом по сбору средств в поддержку покалеченных тореадоров? Я думаю, этот фонд пора оживить, только деньги пойдут не на пенсии бедолагам, а на покупку произведений искусства. Что ты об этом думаешь?

— Пока ничего. Объясни подробнее.

— Сейчас очень многие окончательно обнищавшие аристократы готовы за бесценок продать коллекции своих картин и скульптуры. Их можно было бы собрать в один музей, который станет совершенно уникальной сокровищницей, но для этого нужны деньги, много и сразу. Подходящее здание для этого имеется. Ещё в 1814 году Фердинанд мечтал создать уникальный музей наподобие Лувра. Незадолго до начала революции он предложил для него здание, построенное его дедом для исторического музея, названного Прадо де Сан Джеронимо. Я даже нашёл архитектора, Антонио Лопес Аквадо, готового за относительно небольшие деньги перестроить и обновить здание, пришедшее, к сожалению, в полную негодность. И сейчас мне очень нужна твоя помощь.

— Скажи, что я должна делать?

— Подай дамам идею создания фонда Возрождения испанского искусства. Организуйте лотереи, добровольные пожертвования... всё, что принесёт деньги, и тогда мы ...

— Ладно, мечтатель. Меня не надо агитировать. Я уже согласилась.

Идея была принята дамским клубом с восторгом. Долорес милостиво предложила свою кандидатуру на должность председателя фонда, тут же назначив меня своим первым заместителем.

Его Величество торжественно открыл первое заседание, на котором преподнёс будущему музею несколько картин Веласкеса из своей семейной коллекции. Второе пожертвование сделал Франсиско Гойя. Это было блистательное начало для музея и для меня. Я проснулась после многолетнего сна.

19 ноября 1919 года состоялось официальное открытие « Королевского музея живописи и скульптуры », музея Прадо.

Мы сидели на отдельной трибуне для почётных гостей и активных участников торжества. Впервые в жизни я принимала поздравления не только как жена блестящего министра культуры и просвещения графа де Альвареса, а как самостоятельная личность — графиня де Альварес, первый заместитель председателя фонда «Возрождения испанского искусства». Господи, помоги мне не захлебнуться от гордости и самодовольства! Вот уж поистине позорная смерть!

Вскоре в наш мадридский особняк временно переселились отец, бабушка и Элеонор. На юге всё ещё было беспокойно — бушующие повстанцы грабили аристократию, требуя поделиться деньгами с народом. Отец, при всей его аполитичности, делиться ни с кем не хотел, тем более, что и делиться было уже нечем. Войны и революции последних лет изрядно истощили когда-то значительный капитал. Деньги, вложенные в банки, торгующие с американскими колониями, бесследно исчезли вместе с банками и колониями. Отец с радостью принял предложенную Филиппом должность главного эксперта по отбору и оценке произведений искусства, сулящую увлекательную работу и изрядный годовой доход.

В доме стало многолюдно, шумно, и подчас тесно. Дети, окружённые бесконечным обожанием многочисленных родственников, стали совершенно неуправляемыми. Каждый из них нашёл своего персонального защитника и покровителя. Франческа оставалась по-прежнему абсолютной любимицей Филиппа. Элеонор с первого взгляда остановила свой выбор на Марии, а отец... для него, конечно же, самой главной персоной в доме стал Мигель. Мужскому воспитанию и дрессуре Филиппа пришёл окончательный и бесповоротный конец. Исключение в этом, опьяневшем от любви обществе, составляла бабушка. Я не замечала, что бы она предпочитала кого-то из детей остальным. Подозреваю, что номер «один» она на всю жизнь подарила мне.

Казалось, жизнь налажена на многие годы вперёд. Она вышла на гладкую прямую, оставив позади все конфликты и противоречия. Тогда, в свои двадцать семь я и не подозревала, что она даёт лишь короткую передышку мнимого благополучия, что бы снова обрушиться на наши, едва отдохнувшие плечи, всей тяжестью своей безграничной фантазии. На этот раз она поистине превзошла саму себя, прислав ко двору нового французского посла маркиза де Пьерак с женой.

Посланник был похож на старого, хитрого пеликана, с далеко вперёд выступающим носом и тонкими, кривоватыми ногами, но жена его, Шанталь де Пьерак... Именно эта женщина перевернула всю мою жизнь, направив её дорогой, которую я добровольно не выбрала бы никогда.

Маркиза была великолепна; высокая, невероятно пластичная, с лицом породистой кошки, не той, домашней, что целыми днями нежится на розовой кружевной подушечке, а дикой, хищной, привыкшей выслеживать, охотиться и побеждать.

Это была совершенно фантастическая женщина, не знавшая сомнений в своей абсолютной правоте всегда и во всём. Маркиза сразила наших дам своими смелыми туалетами, лишь намекающими на попытку скрыть от любопытных мужских взоров сокровенные женские тайны. Решительно высказывала своё мнение об искусстве, философии и политике, не вступая в дискуссии, а просто расставляя последние точки над «и». Зачем доказывать наивным людям то, что для умных совершенно очевидно?

Само собой разумеется, Шанталь де Пьерак тут же была произведена в почётные члены всех имеющихся в наличии женских комитетов. Мудрая Долорес за глаза пожимала плечами, а

в глаза... восторженно приветствовала каждое появление госпожи де Пьерак, с особым вниманием выслушивала её идеи и суждения, предъявляя в ответ свою благосклонную, желтозубую улыбку.

За все эти годы Долорес стала для меня настольной, много раз прочитанной книгой. Я знала, что за всей этой благосклонной желтозубостью стоит Непотопляемый и его политические интересы, а значит, рано или поздно, к плотной шеренге поклонников Шанталь присоединится и мой муж, отвоевав себе, как всегда, почётное первое место.

С тех пор прошло много лет, но и сегодня мне нелегко описать свои чувства к маркизе. Будь я мужчиной, наверняка влюбилась бы в неё окончательно и безнадежно. Мои глаза против воли сопровождали каждое движение этой гибкой, пластичной пантеры: поворот головы, тонкую руку, поправляющую выбившийся из причёски локон, виноградно-зелёные глаза, слегка сужающиеся в вопросе, и, секунду спустя, широко распахивающиеся навстречу ответу... Боже, сколько разных улыбок подарил ты этому удивительному рту с крупными белыми пантеровыми клычками! Насмешливо-вызывающую, слегка изгибающую вниз уголки губ, торжествующе-победительную — с уголками вверх, смущённо-просительную — зубы слегка прикрыты приподнятой нижней губой и две ямочки, делающие невозможным любое «нет». Этой женщине можно было дарить только «да», бесконечное и благодарное.

Но из нас двоих, супругов Альварес, мужчиной был Филипп, поэтому влюбиться в Шанталь, позволено было только ему. Никогда, даже в самые лучшие наши минуты, он не смотрел на меня так, как на неё. Его глаза, преследовали маркизу ежесекундно. Они тосковали, когда её не было рядом, и миллионами звезд приветствовали каждое её появление... В этих устремлённых к ней звёздах, было что-то новое и невероятно опасное для меня. Это была страсть женатого мужчины, неотвратимо приближающегося к своему сороколетию, но до сих пор так и не познавшего всепоглощающего сумасшествия страсти.

Мой муж приближался к сорока, а я — к тридцати. Он захлёбывался любовью, а я — ревностью. Пусть Шанталь экзотична и самоуверенна, но неужели Филипп не видит, что она откровенно глупа? Неужели наша многолетняя дружба, понимание друг друга с полуслова, пережитые вместе трудности и, в конце концов, общие дети потеряли для него всякую ценность при виде этой пантеры из парижских джунглей? От её безапелляционной глупости коробило даже моего отца. Маркиза, считавшая себя непревзойдённым знатоком живописи, попросила показать новоприобретённые картины Тициана. Мы с отцом сопровождали её по музею.

— Но ведь это копия, хотя и очень неплохая, — она распахивает свои виноградины и поднимает вверх уголки губ.

Отец, любуясь изумительным очертанием улыбки, решает, тем не менее, на вопрос:

— Почему копия?

— Потому что оригинал находится в Лувре. Там никто бы не повесил на стену копию!

Папа, давно научившийся снисходительно относиться к женской глупости, лучезарно улыбается в ответ:

— Маркиза, ваш патриотизм по отношению к Франции вообще и к её художественным ценностям в частности достоин высочайшей похвалы.

Шанталь, не поняв иронии, победно-снисходительно благодарит за комплимент и переходит к следующей картине. На этот раз она готова щедро поделиться шедеврами:

— О, а вот этот Тициан великолепен. Это наверняка оригинал. В Лувре я такой картины не видела.

Мы с отцом едва заметно переглядываемся и двигаемся дальше.

Вечером за ужином, не в силах сдержать своего злоязычия, разыгрываем сценку «У Тициана». Бабушка и Элеонор весело хихикают, сопровождая наш «театр» забавными комментариями. Вдруг, посреди общего веселья, раздаётся злой и трескучий голос Филиппа:

— Маркиза де Пьерак сама по себе произведение искусства, и она может позволить себе эту маленькую роскошь — не быть философом, как некоторые!

Я в буквальном смысле ощутила удар хлыста по лицу... и... торжествующий выстрел франческиных глаз в мою сторону. Бабушка, срочно сменив тему, заговорила о системе образования подрастающего поколения, дав мне время справиться с лицом и чувствами.

Вечером, оставшись одна, я снова и снова проигрывала в голове сцену за ужином. Может всё не так уж и страшно? Конечно, Филипп обозлился, но, возможно это пойдёт ему на пользу. Увидеть предмет своего поклонения в смешном свете — самое быстродействующее лекарство от внезапно наступившей слепоты. Ведь он, по его убеждению, заслуживает только самого лучшего, а тут... Разве можно восхищаться тем, над чем другие откровенно смеются?

Неожиданно память выплеснула торжествующий взгляд Франчески. Что это было? Реакция с запозданием? Восхищение нашими актёрскими способностями, задержавшееся на лице на лишние пару секунд, или... предвкушение моего неотвратимого поражения, освобождающего для неё первое место рядом с отцом?

Вряд ли, она ещё слишком мала, чтобы разбираться в таких нюансах. Нельзя приписывать коварство собственному ребёнку, когда сама не в ладах со своими нервами! Похоже у меня от ревности помутилось в голове.

С того вечера помутилось в голове у нас обоих. Филипп входил в спальню, громко зевая, потирая руками припухшие глаза, и тут же, сражённый непомерной усталостью, исчезал под одеялом. С каждой неделей он становился всё сонливее — непосильная работа до полуночи сваливала его на диван прямо в кабинете, где он, свернувшись калачиком, засыпал, как убитый. Дорога до общей спальни стала непреодолимо длинной.

Несколько раз, пользуясь советами любовных романов, я попробовала соблазнить собственного мужа. Проглотив гордость, как пилюлю от головной боли, я натянула самый обворожительный пеньюар, предъявляющий нетерпеливому зрителю всё, что положено видеть только ему, и заявила в кабинет. Какое разочарование! Где он, этот нетерпеливый зритель? Щёлочка заспанного глаза с недоумением уткнулась в мою откровенность и вновь исчезла в складке усталых век.

Ну что ж, всё правильно. Муж убивает себя работой на благо и процветание семьи, а бездельница жена, вырядившись в кружевной пеньюар, пытается лишить его последних пяти минут отдыха, которые он посмел урвать у дел государственной важности. Опять эта спасительная ирония, которая по сути ничего не спасает!

Вскоре моё семейство начало торопливо готовиться к отъезду домой.

Обстановка в Андалузии разрядилась, а дом и усадьба требовали присутствия хозяев.

Отец нашёл великолепный предлог для побега из нашего, ставшего далеко не мирным, дома. Здесь, в окрестностях Мадрида, уже скуплены все коллекции, представляющие интерес для Прадо, а вот на юге продажи только начинаются.

— Там сейчас золотые прииски, главное не опоздать, — прокричали мои родственники, и скрылись за горизонтом. Похоже, мой муж расценил этот побег как заслуженный подарок судьбы. Руки развязаны, свидетели устранились по собственному желанию.

Они бросили меня в опустевшем доме один на один с избалованными непомерным вниманием детьми и мужем, рот которого кривился в неподдельной зевоте каждый раз, когда я попадала в поле его зрения..

В довершение всего мы стали самой актуальной светской сенсацией. Ещё бы! Образцовая супружеская пара, граф и графиня де Альварес, неприступная крепость для

любых светских шалунов и шалуний, сдалась на милость французской победительницы! Дамы, мои давнишние приятельницы, сочувственно пожимали мне руку, щедро делились рецептами по борьбе с внезапно наступившими признаками увядания, а я... Я с каждым днём, с каждым новым зевком Филиппа в моём присутствии и сиянием его влюблённых глаз при виде Шанталь, всё больше злилась и ненавидела их обоих. Поначалу, очарованная экзотической внешностью, открывала в ней все больше и больше недостатков. Неужели он не замечает мелкой сетки морщинок вокруг глаз, больших, слегка оттопыренных ушей и пронзительно мяукающего голоса? «Я считаю..., я уверена... я и ещё раз я». Неужели он ослеп и оглох? Не терпящий поучений и советов мой потерявший голову муж, готов часами выслушивать сентенции, вылетающие из этого глупого рта.

Недаром в народе говорят: «Седина в бороду — бес в ребро». Он заразился глупостью от этой самоуверенной кошки, а лекарство от глупости только одно — смех. План мести мне подсказала ничего не подозревавшая Долорес:

— Графиня, через пару месяцев у Вашего мужа день рождения. Дата ещё не круглая, но, думаю, самое время порадовать его настоящим праздником. У меня, кстати, родилась неплохая идея. Вы ведь уже несколько раз писали очень забавные пьески для нашего домашнего театра, не правда ли?

— Да, но это было давно. Не думаю, что сейчас мне придет в голову что-нибудь забавное.

— Не торопитесь с отказом. Подумайте, пофантазируйте. Может кураж и вернётся. У нас в запасе ещё несколько месяцев. Успеем подобрать подходящих артистов и отрепетировать. У нас с вами это всегда очень мило получалось. Знаете, все устали от серьёзных разговоров. Так хочется просто повеселиться.

Предложение, показавшееся в первый момент нелепым, пустило корни и обросло плодами. Я напишу шарж на эту влюблённую парочку. Пусть над ними посмеётся весь двор.

Пьеска выплеснулась из под пера всего за одну ночь. Долорес и артисты искренне веселились, читая текст. Сюрприз мы готовили тщательно — костюмы, декорации, репетиции — всё в строжайшем секрете от будущей публики, даже не подозревавшей об ожидавшей её забаве.

Торжественный день наступил. Филипп с утра принимал поздравления и подарки. Дети подготовили для отца маленький домашний концерт: Франческа играла на рояле, Мария спела пару забавных песенок, а Мигель прочёл наизусть длинную балладу о доблестных защитниках родины. Филипп, пришедший в восторг от гениальности своих отпрысков, пребывал в прекрасном расположении духа до самого вечера, впервые забыв поприветствовать меня своей зевотой. Невелика потеря — ставший привычным ритуал у нас ещё впереди, хотя... Я надеялась, я очень надеялась на этот вечер.

Публика заполнила маленький домашний театр, король с королевой заняли свои почётные места, и занавес взметнулся вверх, открыв название пьесы, написанное крупными чёрными буквами:

Муж-рогоносец
или
Королевская защита

Сцена 1

Эта история произошла давным-давно. Ещё во времена наших прабабушек.

Королевский дворец. Глубокая ночь. Придворные давно разбрелись по своим апартаментам и мирно спят. Только одинокая, в очередной раз обманутая королева, бродит по опустевшему дворцу в поисках мужа, заблудившегося в спальнях своих многочисленных метресс.

Бедняжка и сама не заметила, как оказалась на дворцовой кухне, где кухарка, крепкотелая и всё ещё аппетитная женщина, полировала до зеркального блеска горшки и сковородки.

— Ну что, Ваше Величество, опять мужа потеряли?

— Да, похоже, снова во дворце заблудился, — обиженно протянула королева, присаживаясь на краешек стула.

— Мы называем заблуживающихся мужей рогоносцами.

— Это как, — вяло поинтересовалась королева, занятая своими мыслями.

— А вот так, — не прекращая работу, бойкая кухарка продолжала делиться опытом с сестрой по несчастью. — Пришёл муж домой после прогулки по чужим спальням, а я уже во всеоружии и наготове.

Она принимает боевую стойку и отводит руку со сковородкой за голову.

— Он ещё и рот не успел открыть, чтобы о дожде и прочей непогоде наврать, а я как размахнусь... и сковородкой по непутёвой голове! Знаете, что на ней вырастает после такого весомого аргумента? Большая-пребольшая шишка, которая, буквально на глазах, разрастается в огромный пунцовый рог. Поэтому мы и называем неверных мужей — рогоносцами. Кухарка протянула королеве сковородку:

— Ну-ка, попробуйте.

Королева нерешительно берёт в руку оружие и неумело помахивает им в воздухе.

— Да как же Вы ее держите! Это Вам не кружевной платочек, что бы им в воздухе помахивать. От плеча надо бить и с оттягом. Ну-ка, ещё раз.

Королева повторяет движение ещё раз... а потом ещё и ещё... и от плеча, и с оттягом, и с восторгом, и ещё раз... Аж щёчки покраснелись и глазки заблестели.

— Вот теперь хорошо, — похвалила её кухарка и забрала сковородку, — силы беречь надо, а то ещё плечико разболится.

Глаза королевы снова потухли:

— Тебе хорошо, у тебя оружие всегда под рукой, а я... пока до... до оружейной добычи, так его... Его Величества уже и след простыл; опять на обходе... по чужим будуарам.

Кухарка с сочувствием посмотрела на незадачливую приятельницу, и опять сунула ей в руку сковородку:

— Ваша правда. Оружие всегда при себе хранить надо. Ладно, уж, забирайте — у меня этого добра много.

Королева нерешительно покрутила сковородку в руке:

— А куда же мне её деть?

— А вот и придумайте. На то голова и дана.

Сцена 2

Королева грустит у себя в будуаре перед зеркалом, вяло помахивает полученным от кухарки подарком и ворчит:

— Тоже мне... На то голова и дана..., — машинально надевает сковородку на голову, и смотрит на своё отражение.

— А ведь и правда! На то она и дана!

Сцена 3

В полдень королева сидит в своём салоне в окружении придворных дам. Все заняты обсуждением новой, совершенно потрясающей королевской шляпки. Спереди ее украшают цветы и фрукты, а сзади, как бы за ее пределами, красуется большой розовый бант.

Обсуждение было прервано появлением короля. Он всегда посещал салон жены в полдень, ведь именно в это время он был заполнен особенно хорошенькими женскими личиками.

Его величество поцеловал жене ручку и приготовился доложить о вчерашней непогоде. Жена, даже не удосужившись выслушать мужниных объяснений, изящным движением руки сняла шляпку и... от плеча, и с оттягом... и с восторгом... нанесла удар по священной голове своего высокопоставленного супруга.

Шляпа короля, украшенная белыми павлиньими перьями, стала медленно сползать на бок, а из под неё..., прямо на глазах у изумленных дам, стал расти, набухать и ветвиться могучий рог.

А королева... королева вернула свою шляпку на положенное ей место и спокойно пояснила:

— Вот так неверные мужа становятся рогоносцами!

Сцена 4

Три дня спустя

Большой бал в королевском дворце. Все дамы одеты по новой моде: шляпки, украшенные спереди цветами и фруктами, а сзади, на выступающей части — банты и ленты всех цветов радуги.

А мужчины! Этой роскоши позавидовало бы целое стадо горных оленей!

Грустили на этом балу только метрессы, пересчитывая разветвления на рогах своих покровителей. Это сколько же будуаров нужно посетить за три дня, что бы удостоиться такой роскоши!

Так отстаивали свою честь наши прабабушки, а удар ...от плеча и с оттягом получил название «Королевская защита».

Конец

Артисты великолепно справились со своими ролями. Королева, в первом действии нескладная и растерянная, превратилась к концу пьесы в азартную и воинственную защитницу супружеских прав. Король, гордо трясущий своими павлиньими перьями, в нужный момент сдался и обмяк. Но лучше всех оказалась кухарка — излучаемые ею спокойствие и уверенность в себе вызвали искреннюю зависть многих из нас. Публика одарила всех участников бурными аплодисментами и благодарными возгласами.

Не остались без внимания автор и организаторы спектакля. Мы с Долорес были буквально засыпаны поздравлениями и похвалами, но самый большой успех выпал на долю шляпок-сковородок. Похоже, на пороге замаячила новая мода. Дамы по очереди примеряли этот кухонный инвентарь, замахиваясь на мужей «от плеча и с оттягом».

Заряда веселья хватило на весь вечер. Даже королевская чета удостоила нас милой шуткой. Игриво поглядывая на супруга, Её Величество выразило сомнение в необходимости приобретения такой шляпки:

— Мой муж очень хорошо ориентируется на местности. Он всегда вовремя и безошибочно попадает по месту назначения — в королевскую спальню.

— А зачем мне самому совершать вечерние обходы будуаров, — подхватил развеселившийся супруг, — если это можно поручить дежурным офицерам... ну и прочим добровольцам, страдающим бессоницей и нарушенной ориентацией.

Весь вечер Филипп держался около меня, активно участвуя во всеобщем веселье. Его сияющее лицо сообщало каждому, кого это могло заинтересовать:

— Шутка моей жены прелестна, но, слава богу, она не имеет никакого отношения к нашей безоблачной семейной жизни.

Лишь слегка утончившиеся губы и небольшая складочка между бровями выдавали его внутреннее напряжение, а значит, впереди меня ждёт серьёзный разговор.

Разговор состоялся, только совсем не тот, о каком я мечтала. Тонкие бесформенные губы, злые глаза, спрятавшиеся под припухшими веками, указательный палец, выстреливающий смертельные обвинения...

— Ты вообще соображаешь, что ты натворила?

— И что же я натворила?

— В присутствии короля разыграла свою дурацкую пьеску, выставила его блудливым идиотом, сравняла королеву с кухаркой, защищающей свою честь кухонной посудой! И чего ты хотела этим добиться? Славы?

Нацеленный в меня указательный палец с гладко отполированным ногтем маячил перед глазами.

— Не говори ерунду. Если тебя послушать, то при дворе следовало бы запретить любые постановки Гамлета. А то не дай бог, король решит, что его обвиняют в отравлении отца. А уж Гомера давно пора было сжечь на костре, как безбожника. У него олимпийцы ругаются и пакостничают друг другу почище простых смертных.

— Ишь, куда замахнулась! Шекспир, Гомер... Да, в избытке скромности, как, впрочем, и ума, тебя не обвинишь.

— А ты, похоже, добросовестно выучил военную стратегию. «Лучший способ защиты — это нападение»... Фердинанд тут вообще ни при чем.

— Ах, Фердинанд здесь ни при чем... А кто же тогда «при чем»?

Полированный ноготь вместе с пальцем исчез в кармане брюк. Владелец смертоносного оружия покачивался передо мной на каблуках, буравя чёрненькими, прищуренными глазками. Почему я раньше не замечала, как поредели его волосы? И плечи... Зачем он так сильно сутулится? Злость, подступившая к самому горлу, мутной, тяжёлой волной откатила назад.

— Какая разница. Думай, что хочешь.

Филипп, уверенный в своей окончательной победе, двинулся к выходу, успев бросить на ходу:

— Гусыня. Глупая, тщеславная гусыня!

Странное чувство пустоты, без злости, без отчаяния... просто пустота... и безразличие.

Это он обо мне? Почему глупая? Почему тщеславная? Я сидела в кресле, прижав к животу коленки... как двадцать лет назад...

Тогда я случайно подслушала разговор матери с сыном:

— Зачем ты попусту тратишь время на чужую девчонку? Не нужна она нам.

Сегодня — открыто брошенный в лицо приговор:

— Глупая и тщеславная гусыня. Уходи с дороги. Ты больше мне не нужна.

Похоже, жизнь не развивается, а движется по кругу, неизбежно возвращаясь к исходному пункту. Она, как взбунтовавшееся море, ритмично наносит удары, давая жертве лишь пару минут, чтобы подняться на ноги и начать всё сначала. Берег был прав, равнодушно распластавшись под этими ударами; зачем тратить силы впустую, если мгновение спустя ты снова будешь повален на спину, избит камнями и грязью.

Похоже, каждый рождается со своей внутренней сутью. Одни — судьями, другие — подсудимыми, всегда готовыми к обвинительному приговору. Судьи имеют разные обличия. Одни мягко и доверительно сообщают покорной жертве:

— Милочка, Вы ещё недостаточно образованы, что бы иметь своё мнение... поработайте над собой, а потом поговорим.

Другие швыряют прямо в глаза:

— Ты глупа и тщеславна, и у меня нет ни малейшей охоты с тобой разговаривать.

Но кто они, эти судьи? Почему они позволяют себе с разбега плевать в чужие лица? Почему этого не позволяю себе я? Наверное, потому, что для меня до сих пор всегда существовали две стороны, и истина всегда лежала посередине. Я никогда не считала своё мнение единственно правильным, поведение — единственно верным, а желания — обязательным законом для всех. До сегодняшнего дня я не умела, как они, бить наотмашь, без оглядки и сожаления. Я добровольно отдавала себя на милость победителям. Что ж, придется учиться нападать, учиться «королевской защите».

Приходит ли эта уверенность в своей избранности с годами, или даётся от рождения? Ответ подсказали мне мои дети. Франческа была точной копией Филиппа, и не только внешне. В отношении Марии она была настоящим деспотом:

— Ты не хочешь играть, как я сказала? Тогда уходи к себе и играй одна.

Мария вызывающе смотрела на сестру, пожимала плечами и убегала к Элеонор, защищавшей её от сестринской диктатуры. Элеонор уехала, и Мария попала в рабскую зависимость от старшей сестры: или играть по её правилам, или оставаться в одиночестве. Франческа была непреклонна. Богатая фантазия и изобретательность делали её неуязвимой. Она всегда находила себе интересное занятие, как с Марией, так и без неё, а вот Мария... Оставшись одна, она бессмысленно слонялась из угла в угол, задирала Мигеля, приставала к няне, ко мне и даже к отцу, нарушая этим строжайший запрет неумолимого папеньки. Филипп, постоянно занятый работой, ввёл для детей строжайшее правило: вход в его кабинет без приглашения недопустим и карается по всей строгости родительского правосудия. Но скука или потребность в новом защитнике от сестринского произвола всегда оказывались сильнее страха. В результате ей попадало от отца чаще, чем другим детям.

Конечно, я могла бы занять опустевшее кресло Элеонор, взяв девочку под своё крыло, но мне хотелось приучить её к самостоятельности. Посадив малышку на колени, я читала короткую сказку, а потом просила нарисовать к ней картинки: принцессу в нарядном платье, красавца принца и злую ведьму такими, какими ей хочется их видеть.

Она радостно принималась за работу, но через пять минут опять стояла рядом со мной:

— А какие у принцессы должны быть волосы, белые или каштановые?

— А какие тебе больше нравятся?

— Каштановые, как у папы.

— Тогда такие и нарисуй.

Две минуты спустя опять раздавался её голосок:

— Посмотри, я правильно нарисовала бабу-ягу? У неё должно быть два зуба или три?

Мария поистине страдала от одиночества, ей хотелось постоянно иметь рядом кого-нибудь, кто принимал бы за неё решения, придумывал игры и одобрял каждое действие. Она росла невероятно зависимым человеком. А может для женщины это и не плохо? Будет хорошей женой, если ей посчастливится выйти замуж за мягкого, искренне любящего её человека.

Мигель, в отличие от сестёр, не искал власти над другими, но и не признавал бессмысленной диктатуры в отношении к себе. Он играл с сёстрами, если игра была интересна, и убегал к себе, почувствовав первые признаки скуки. Он был независим от рождения. На кого из них похоже я? Мне не нужна власть над другими, я не хочу постоянно принимать за кого-то решения, в отличие от Марии я в состоянии сама придумывать себе занятия и не только часами, а неделями фанатично и увлечённо реализовывать то, что задумала. Но я, в отличие от Мигеля, боюсь одиночества. Страх быть отвергнутой, выброшенной из жизни тех, кто мне важен и дорог... Похоже, этот страх родился вместе со мной и никуда мне от него не деться. Сегодня Филипп вышвырнул меня из своей жизни, с размаху захлопнув дверь перед самым носом. Вот и всё.

В глубине души я надеялась на чудо, по секрету от самой себя, прислушиваясь к движениям в доме: вот-вот раздадутся осторожные шаги, и в дверную щель просунется виноватая физиономия. Но спектакль на тему «Возвращение блудного мужа или Покаяние» так и не состоялся. Он не был разыгран ни в этот вечер, ни во все последовавшие за ним длинные, одинокие и тоскливые вечера.

На семейной сцене разыгрывался совсем иной сюжет. «Своей глупой выходкой ты спровоцировала неудовольствие короля, поставила под сомнение всё то, что я столько лет, не жалея ни сил, ни здоровья, неутомимо строил для тебя и детей. Теперь по твоей вине я вынужден присутствовать на всех охотах, корридах и ассамблеях, организуемых его величеством, доказывая ему свою преданность и лояльность, а для этого мне нужна полная свобода от тебя и твоей глупости».

Собственно в последней фразе и заключалась истинная суть сюжета. Филиппу нужна была свобода, и он отвоевал её, способом весьма изысканным и коварным, но что поделаешь? На то он и дипломат.

Мой муж давал мне понять, что после такого позора лучше было бы отсидеться дома, не показывая свою постыдную физиономию приличному обществу.

С этим пунктом, насчёт постыдной физиономии, я не могла не согласиться. Мне самой не хотелось никуда выезжать. Быть постоянной свидетельницей его ритуальных плясок вокруг маркизы, ежеминутного целования её прелестных ручек, заглядывания в кошачьи глаза... Нет, моя физиономия этого не выдержит. На ней нарисуетя нечто такое, что посторонним людям запомнится на долгие годы. Не хочу ни сочувствия, ни злорадства чужих людей. Это моё горе, и справляться с ним придётся самой.

Пару недель спустя меня осчастливила визитом непотопляемая Долорес, объявив, что всё женское общество озабочено моим здоровьем, желает скорейшего выздоровления и с нетерпением ждёт скорейшего появления на очередном заседании клуба.

— Вы знаете, графиня, Ваша пьеса поистине взбудоражила умы наших дам. Похоже, Вы ввели новую моду на шляпки. В этом сезоне модистки удвоят свои доходы, а кошельки незадачливых мужей похудеют и сморщатся до неузнаваемости.

— Всё правильно. Свобода — это роскошь, а за роскошь надо платить.

Мы сплетничали, обменивались шутками, как в добрые старые времена, и на душе с каждой минутой становилось теплее и легче.

— Спасибо, Долорес, Вы мне очень помогли справиться с недомоганием. Надо будет поделиться рецептом с нашим замечательным доктором. Пора его любимые кровопускания заменить хорошей порцией смеха.

— Елена, я очень рада, если мне удалось Вас развлечь. Мы без Вас окончательно заскучали. Приезжайте завтра ко мне на чаепитие. Весь наш доблестный комитет будет в сборе.

После её посещения мне и в самом деле стало легче. Отвергнутая жена... боже мой, эта тема стара, как мир, но это ещё не повод добровольно запереть себя в монастырь.

Впервые за последние три недели я решилась выехать в свет. Впервые за три недели я присела к зеркалу, постаравшись привести в порядок свою осунувшуюся, постаревшую физиономию. Зеркало, зачем же быть таким безжалостно откровенным? Неужели нельзя проявить немного сочувствия к несчастной, обманутой женщине?

Тусклые, бессмысленно торчащие во все стороны волосы, сухая, увядшая кожа и тёмные полукружья вокруг запавших глаз... Куда делись упругие мячики щёк, когда-то раздражавшие меня своей излишней округлостью? По другую сторону зеркала сидела запущенная, уставшая от жизни старуха... но это не я, ведь мне ещё нет и тридцати...

Стоит ли Филипп всех этих жертв? Неужели только ради него стоит жить и оставаться красивой?

Девятилетним ребёнком я приняла своё первое в жизни серьёзное решение: «Жить, как человек, нужно для себя, а не для того, что бы тебя любили».

С тех пор прошло почти двадцать лет, и сегодня я, взрослая женщина, мать троих детей, вновь повторяю себе эти слова: «Жить полноценной, интересной жизнью нужно для себя, а не для того, что бы тебя за это любили!»

Наши заслуги! Какие чувства они вызывают у окружающих? В лучшем случае — равнодушие, в худшем — зависть, но уж во всяком случае... не любовь.

День спустя, приведя себя по возможности в порядок, я отправилась к Долорес «на чай». Дамы, милые дамы! Из их глаз сочились понимание и сочувствие, замешанные на нескольких каплях торжества. Именно торжества, а не злорадства. Добро пожаловать в клуб опытных женщин, давно постигших главную премудрость жизни:

«Каждый рассвет рано или поздно заканчивается закатом». Все мы когда-то, постояв несколько минут в зените любви и внимания своих мужей, плавно скатились за горизонт. Теперь мы все равны — умные, тонкие, предприимчивые, втайне смеющиеся над примитивной напыщенностью своих бывших кумиров, мы продолжаем жить, не взирая ни на что.

Единомышленицы щедро одали потерпевшую крушение подругу рецептами укрепляющих настоек, масок для лица, мгновенно разглаживающих самые глубокие морщины, и новыми идеями по работе комитета:

— Во всех более или менее цивилизованных странах, даже в России, государство помогает получить приличное образование не только юношам из богатых дворянских семей, но и способным молодым людям из средних сословий. А мы! Куда смотрят наши, вечно занятые всякими глупостями, мужья? Похоже, придётся самим браться за государственные реформы. Будем собирать средства на стипендии способным молодым людям из малоимущих семей! Вот так то!

Переждав ещё пару недель, я, отбросив предостережения моего свободолюбивого супруга, решилась появиться на ассамблее, посвящённой очередной годовщине возвращения Фердинанда на трон. Труднее всего было переступить порог зала — казалось, все глаза оценивают степень моего унижения. Глупости! Зеркало услужливо вернуло уверенность в себе: по-прежнему лёгкая и стройная, с круглыми, гладкими щеками и яркими серо-голубыми глазами, уверенно смотрящими в зал. Я не выглядела ни жалкой, ни униженной, а это в данный момент было важнее всего. Не хочу ни сочувствия, ни насмешек!

Филиппу, подавившемуся своим раздражением, пришлось на этот раз сопровождать не маркизу, а меня. Что поделаешь, дорогой; этих супружеских обязанностей ещё ни кто не отменял.

Королевская чета, вопреки лживым опасениям опытного дипломата, не приняла мою шутку на свой счёт. Королева трогательно осведомилась о здоровье наших чудесных детей, а король благосклонно похвалил инициативу со стипендиями для малоимущих.

Жизнь вошла в новую, относительно спокойную колею. Вскоре общество потеряло интерес к несостоявшейся сенсации: обманутая жена не бросилась головой в омут, не пристрелила соперницу из незаряженного пистолета и, что скучнее всего, отклонила обильные предложения светских ловеласов утешить и развлечь одинокую женщину.

Скука, да и только! Единственным следом, оставленным пролетевшей бурей, были забавные плоские шляпки с удлинённой задней частью, носившие название «Королевская защита».

Каждый из нас жил своей отдельной жизнью. Говорят, время залечивает раны. Глупости, не залечивает оно ничего. Просто человек привыкает к хронической боли. Душевные раны, как и телесные, реагируют на погоду; бывают часы, и даже дни, когда боль уходит куда-то в глубину, и, кажется, её уже нет и больше никогда не будет, а потом вдруг какая-то мелочь из прошлого — запах, мелодия, разбросанные по поляне солнечные блики... и она снова взмывает вверх, до крика, до воя смертельно раненного зверя, унося тебя на самое дно ада, откуда нет иного выхода кроме мгновенной, спасительной смерти. Вот так оно лечит, это время.

Я свыклась со своей постоянной болью, а Филипп практически исчез из дома. Он появлялся на час в день; разобрать почту, переодеться и немножко поиграть с детьми.

Младшие безоговорочно приняли объяснение отца — страна в опасности, преданный министр вынужден по шестнадцать часов с сутки служить королю и отечеству. Это долг каждого истинного патриота — общее благо предпочитать личному удобству.

Они быстро привыкли к отсутствию отца, найдя в этом для себя определённые выгоды. Нет папы, а значит, нет ни муштровки, ни железной дисциплины. Мама тоже требует выполнения домашних заданий, но к ней всегда можно подлизаться, уткнуться головой в юбку, потереться о плечо, заглянуть в глаза, и она размякнет как воск. Я понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Неизрасходованный запас нежности, рвался наружу, погребая под собой все доводы разума. Господи, кто знает, как потом сложатся их жизни. Они ещё успеют выучить математику и историю, а вот тепло и нежность...

Много ли им будет отпущено её потом, во взрослой жизни? Пусть наслаются ею сейчас, пусть не мучает их в будущем мой вечный, неутолённый голод быть любимой.

Гораздо хуже было с Франческой. Отец нужен был ей, как воздух, она страдала от его отсутствия не меньше меня, но это не делало нас союзницами. Как часто я ловила на себе злые взгляды старшей дочери! Похоже, девочка винила во всём, что случилось с нашей семьёй, только меня. Она считала, что я, по глупости или по чёрствости умудрилась обозлить своего мужа, сделать что-то такое, чего он не смог мне простить. Меня он наказал за дело, но почему при этом оказалась наказанной она, Франческа, абсолютно ни в чём не провинившись? Будь мама хорошей женой, люби она нежно и преданно своего мужа, был бы он, как и прежде, дома, добрый и весёлый.

Невольно вспоминалось то время, когда она, мой маленький человечек, ещё жила во мне. Тогда казалось, я не только дышу, но и чувствую за двоих, а значит, он или она будет воспринимать жизнь моими глазами, станет верным, всё понимающим другом. Какое заблуждение! Из всех моих чувств она впитала только фанатичное восхищение отцом. Зря я тогда всё время смотрела на Филиппа. Лучше бы — на Сатира, козлоногого спутника Бахуса.

Возможно наша дружба ещё впереди; пройдет пару лет, и моя умная дочка начнёт читать серьёзные книги, поймёт, что жизнь не так проста, как кажется в детстве, что во всём есть две

стороны, и никогда один не бывает безоговорочно правым, и тогда... тогда... А сейчас мне остаётся лишь одно — ждать и надеяться, правда, непонятно на что.

Последующая жизнь лежит передо мной, как на ладони, и самое ужасное, что я ничего не могу в ней изменить. Пройдёт год, другой, и место Шанталь I займёт Шанталь II. Они будут бесконечной чередой сменять друг друга, пока не иссякнет жажда Филиппа покорять и очаровывать, а я останусь навсегда серым, замшелым валуном на его пути. Он никогда не решится на развод — католическая церковь строго охраняет права семьи. Такое мог позволить себе только Генрих VIII, добившийся развода ценой разрыва с католичеством. Филипп слишком дорожит карьерой и процветанием своего славного рода. Дочерей предстоит выдавать замуж, Мигеля — пристраивать на государственную службу... Разве можно оставлять на их биографиях несмываемые, грязные пятна?

По той же причине я никогда не позволю себе ни сбежать обратно к отцу, ни отплатить ему той же монетой — завести пару любовников в качестве моральной компенсации.

Любовник... легко сказать, но что делать с ночными кошмарами? ...Сильные, требовательные руки Филиппа, гибкая подвижность смуглого тела и губы, лучше которых нет ничего в мире.

Нет, дело не в этом... С ним — это нырнуть в прозрачную воду, наполненную бликами преломлённого света... жёлтый, оранжевый, пронзительно-зелёный и голубой, скользить в ней каждой клеточкой отзывчивого, восхищённого тела, а потом, вынырнув на поверхность... утонуть в нежных, всё понимающих глазах.

Любовник... возможно, когда-нибудь моё истосковавшееся тело и нырнуло бы в это озеро с кем-то другим, но возвращаться обратно в чужие руки... Господи! Помоги мне скорее состариться и обо всём забыть.

Время... оно то бежало, то тянулось нескончаемой чередой унылых часов и дней, оно то залечивало воспалённые раны, то, безжалостно срывая присохшие к коже повязки, заставляло их кровоточить с новой силой. Наступит ли когда-нибудь конец этой муке?

И он наступил, только совсем не так, как я ожидала.

Очередной праздник в королевском дворце по поводу дня рожденья Её Величества. По этикету супружеские пары обязаны вместе торжественно войти в зал, демонстрируя полную благонадёжность семейного союза, и покинуть его, по окончании праздника, тоже вместе. В промежутке они абсолютно свободны друг от друга.

Безрадостный вечер приближался к концу. Утомлённая танцами, духотой и бессмысленной болтовнёй, я искала глазами Филиппа. Гости уже начали разъезжаться по домам, значит, и мы можем считать официальный визит благополучно завершённым.

Случайно взгляд наткнулся на «скульптурную группу» в оконной нише. Мужчина и женщина... Что с ними? Как они в этот момент похожи, и почему в них столько печали?

Невидимый занавес отгораживает пару от всего мира... Осевшие плечи, руки, безнадежно упавшие вдоль тела... Женщина вытирает перчаткой сбегающую по щеке слезу... неужели дикие кошки тоже умеют плакать?

Я медленно отступила в самый дальний угол зала и присела на диван. Филипп найдет меня, когда это будет нужно...

На следующий день мне рассказали, что французский посланник, маркиз де Пьерак, блестяще завершил свою миссию при мадридском дворе и отозван обратно во Францию. Навсегда! Значит, это была сцена прощания.

Что же делать, если Шанталь должна возвращаться в Париж вместе с мужем, а Филипп — оставаться в Испании и служить своему королю? Такова жизнь. У каждого свой король и своя жена.

Почему политика так жестока? Их роман, едва достигнув кульминации, оборвался на самой высокой ноте, но ведь так нельзя... Это боль на всю жизнь. Я не испытывала ни торжества, ни злорадства. Шанталь ничего не отняла у меня, потому что Филипп женился на мне по расчету — не на деньгах, а на семье, которую не хотел терять, на женщине, в спальню которой можно входить без защитной жилетки. Это было доверие, дружба, всё что угодно, но не любовь. Он вообще ещё никогда не любил.

Не появись эта Шанталь, пришла бы другая. Каждый человек имеет право хотя бы один раз в жизни опробовать это чувство на вкус. Человек не любит другого не потому, что есть кто-то третий, а потому, что он не любит именно его, не смог полюбить, как ни старался. Даже Адам имел право выбора: он мог любить либо Еву, либо... никого и никогда.

Опять эта проклятая двойственность — с одной стороны, с другой стороны... Глупости это всё! Нет тут никаких сторон. Просто я пытаюсь оправдаться перед самой собой. Не могу видеть его потерянных глаз, опущенных плеч... Лучше бы ещё одна рана на теле, чем на душе. Мы оба несчастны, оба тоскуем, но это не делает нас союзниками, потому что я тоскую по нему, а он — по ней.

Супруги де Пьерак покинули Мадрид неделю спустя, и Филипп, притихший и растерянный, вспомнил, что у него когда-то были дети. Франческа как бы заново родилась. Она не отходила от отца ни на шаг, заглядывала в глаза, показывала написанные в его отсутствие стихи и картинки. Они играли в четыре руки на рояле, пели на два голоса забавные песенки, которые она разучила специально для него. Боже, какой у моей дочки чудесный свежий голос! Даже в этом она похожа не на меня.

Мария тоже не осталась внакладе — она получила пожизненный доступ в папин кабинет. Он даже поставил маленькое креслице у своего письменного стола, где она могла рисовать, читать книжки и задавать свои бесконечные вопросы, получая исчерпывающие, доброжелательные ответы.

Помириться с Мигелем оказалось сложнее. Он был единственным, кто сохранил верность мне. Мальчик не сторонился отца, но и не сиял, едва завидев его на пороге комнаты. Он по-прежнему постоянно крутился рядом со мной, болтал, не умолкая ни на минуту:

— Смотри, как я расставил своих лошадей. Знаешь почему? Они сидят в засаде. А вот это пехота. Она первая начнёт наступление. Если пехотинцы не справятся, я выпущу свою кавалерию....

И так постоянно. Я была обязательным свидетелем его задумок, экспериментов с игрушками и размышлений о несправедливости сказочной жизни.

Однажды, наблюдая за веселящимися сёстрами, семилетний Мигель, хитро сверкнув глазёнками, вполне серьёзно прошептал мне на ухо:

— Похоже, король повзрослел и не нуждается больше в постоянном папином присутствии. Теперь папа может развлекаться с ними.

Мне показалось, он на лету прочитал мои мысли. Как раз в этот момент я подумала о том же самом, имея в виду естественно не короля. Правильная мать должна была объяснить ребёнку что-нибудь вразумительное про сложную политическую ситуацию, про ответственность, лежащую на плечах нашего папы, но я — неправильная мать. Пусть сын останется мне, пусть будет моим другом, потому что он — единственный из детей похож на меня не только цветом глаз, но и душой. С этого дня началась наша дружба, продлившаяся много десятилетий.

Франческе исполнилось двенадцать. С каждым годом она становится всё краше; длинноногая, тоненькая, гибкая, как Филипп, с огромными, опущенными длинными ресницами, глазами. Ко дню рожденья она получила в подарок от папы маленькую лошадку. Именно лошадку, а не пони. Он нашёл какую-то особую породу недоростков, выведенную для войны в сложных природных условиях. Эти лошади стоили сумасшедших денег, но разве можно думать о таких мелочах, если на кон поставлена улыбка любимой дочери? Боже, что он

делает с нашей девочкой! Разве можно покупать любовь ребенка такой ценой? Но в их тандем мне лучше не вмешиваться, места для меня там уже давно не осталось.

Филипп учит свою любимицу скачкам с препятствиями, как когда-то мой отец тренировал меня. Они уезжают сразу после завтрака и возвращаются к обеду, оба возбуждённые и довольные друг другом.

— Мама, знаешь, как папа красиво прыгает! Он взлетает вверх вместе с лошадью. Они летят, как две большие птицы, вернее одна... с двумя гривами. Я так никогда не научусь, но сегодня хотя бы удержалась в седле. Папа говорит, это уже большое достижение.

Жизнь, почему ты постоянно повторяешь одни и те же сюжеты? Неужели нельзя изобрести что-нибудь новенькое? Это было уже, почти двадцать лет назад, только действующие лица успели изрядно состариться... мой отец и я ...

Перед глазами всплыла картина из прошлого: отец, слившийся со своим чёрным жеребцом в единое целое — оба длинноногие, сильные, стремительные. Две каштановые волнистые гривы, взметнувшись вверх, на мгновение повисли натянутой струной в воздухе и мягко опустились на траву...

О чём секретничали сегодняшние отец и дочь, присев в тени старого, замшелого дерева? Неужели Филипп говорил обо мне с тем же пренебрежением, как отец об Элеонор?

И опять прошлое мешается с настоящим:

—ты ведь не любишь маму?

— Откуда ты взяла?

— Это заметно. Ты смотришь на неё всегда с таким раздражением..., хотя она очень красивая. Вы женились по расчёту?

— Нет, мы женились не по расчёту. Я бы не сказал, что речь шла о большой любви, скорее это была честная дружба. Ты знаешь нашу маму — в обществе она совсем не такая, как дома. До свадьбы мы виделись только на людях, и по-настоящему познакомиться не успели, а потом было уже слишком поздно.

— Но ведь она такая образованная, красивая, всегда так элегантно одета. Разве этого мало, чтобы её любить?

— Оказывается, мало. В семейной жизни есть вещи поважнее красивого лица и хорошего образования...

Тогда я чувствовала себя победительницей, ставшей для отца важнее и ближе жены. Сегодня моя очередь ходить в побежденных. Жизнь всё же меняет свои сюжеты, давая каждому шанс постоять по обе стороны барьера.

Мария с завистью смотрела на сестру; верхняя губка слегка оттопырилась и жалобно подрагивала.

— А когда мне можно будет учиться ездить на лошади?

Филипп нежно обнял младшую дочку, притянул к себе и провёл рукой по середине своей груди:

— Вот дорастёшь мне досюда, тогда и начнём. Ты ещё слишком маленькая, чтобы справляться с лошадью.

— Тогда купи мне пони. На нём тоже можно учиться.

— Хорошая идея. Ко дню рожденья обязательно получишь настоящего пони, такого же красивого и черноглазого, как ты. Слово дворянина.

Мария, прижавшись всем своим хрупким, изящным тельцем к отцу, сияла от счастья. Я с интересом посмотрела на Мигеля — неужели ему вовсе не хочется поехать верхом?

Этот хитрюга с любопытством наблюдал за «плясками» сестёр вокруг щедрого на подарки папочки. Филипп, как и я, терпеливо ждал реакции мальчика — продавец не должен начинать торговлю с самого выгодного предложения. Они с покупателем должны встретиться посередине.

Мигель, подождав несколько минут, дёрнул меня за юбку:

— Мама, когда я дорасту тебе до плеча, ты будешь меня учить прыгать через препятствия?

— Сынок, почему я?

— К папе уж слишком длинная очередь.

Франческа, как всегда, среагировала первой. Выпятив губы трубочкой, она пропищала искусственным, детским голоском, передразнивая Мигеля:

— Мама, а ты научишь меня стрелять и ухаживать за девушками?

Но сына не так-то просто выбить из седла. Уткнувшись в сестру круглыми светлыми глазами, он отплатил ей той же монетой. Преувеличенно изящно отставив левую ногу, мальчишка бросил ответный мяч:

— Насчёт последнего, так уж точно к маме. Она лучше знает, что нравится женщинам.

Мы с Филиппом переглянулись, еле сдерживая рвущийся наружу смех. Но дети не унимались.

Они продолжали осыпать друг друга насмешками, соревнуясь в остроумии.

Франческа первая расстреляла свой боевой запас:

— А ты... ты... ты не мужчина, ты — маменькин сынок!

Мигель, великолепно копируя её интонации, завершил бой, выпустив последний патрон:

— А ты...ты... ты не женщина, ты...ты — очень глупая женщина.

Больше мы сдерживаться уже не могли. Хохот, все очищающим потоком прорвал наше годичное молчание. Мы захлёбывались смехом, глядя друг другу в глаза, понимая, что молчать больше невозможно. Нужно заново учиться жить вместе, потому, что нам друг от друга всё равно никуда не деться.

С этого дня мы начали понемногу разговаривать. Сперва — только о мелочах; что нужно купить детям, как провести всем вместе пару свободных дней, кого пригласить на званый ужин... Потом появилась тема образования для малоимущих, ставшая в последний год одним из главных аргументов в пользу процветания Испании. Мы разговаривали о чём угодно, только не о своих чувствах. Эта тема по-прежнему оставалась табу.

Последнее время я всё чаще ловила на себе робкие, вопросительные взгляды Филиппа, брошенные украдкой, как бы из-за угла, и сбегаящие в сторону, стоило мне повернуть им навстречу голову. Что он ждёт от меня? Сочувствия, понимания, прощения?

Милый, если бы ты знал, как я тебя понимаю! Тоскующие глаза больной собаки... Как тогда, много лет назад, когда врач бинтовал кровоточащую, рваную рану на плече. Серые, плотно сжатые губы, бледное, напряжённое лицо... Прошло много месяцев, прежде чем рана затянулась, оставив на всю жизнь длинный, горбатый, белесый рубец. Так будет и с твоей душой. Нужно просто перетерпеть.

А что будет с моей? Да то же самое. Моя душа тоже когда-нибудь заживёт, только когда? Сейчас она всё ещё гноится и кровоточит, не показывая ни малейших признаков улучшения. За эти два года каждый из нас пережил своё горе, навсегда сохранив в памяти обиду, злость и чувство вины.

Теперь, мне кажется, я понимаю, почему Филипп взорвался на пьесу о «Шляпках». В тот момент он переживал восхождение в любовь, в предзакатное ярко-синее небо, полыхающее

жёлтым, оранжевым, пунцово красным, перетекающим в бледно-сиреневый и розовый — всполохи чувств, закованные в буро-коричневые скалы вины и угрызений совести, а я... я заляпала всё это цветопредставление банальными, грязно-зелёными болотными красками...

У него под ногами рушился и воскресал мир, а я, безвкусная, глупая, тщеславная гусыня опошшила всё своей нелепой комедией.

Чего он на самом деле ждал от меня? Слепоты, преданности, трогательного сочувствия и понимания?

В тот момент я боролась за себя, и, прости, Филипп, что лучше не получилось, но тщеславие тут ни при чём.

Да, я честолюбива, но не тщеславна. Это разные вещи. *Често-любие* — это любовь к чести, оказываемой за реальные заслуги, за усилия и напряжённый труд, за совершенство хотя бы в чём-то одном. *Тще-славие* — это стремление к тщетной славе, к славе за просто так, за ни за что: привилегированное рождение, большое наследство, купленная на последние деньги породистая лошадь.

Да, я честолюбива, и это не только моя беда, но и самое большое заблуждение в жизни. До сих пор не готова согласиться с тем, что любят не за заслуги, а за что-то другое, возможно за отсутствие таковых.

В «Шляпках» я хотела высмеять Шанталь, одну из пустоголовых метресс, превративших свой будуар в проходной двор для неразборчивых мужчин, высмеять Филиппа, остановившего свой выбор на женщине, не обладающей ничем, кроме красоты и самоуверенности.

Я надеялась открыть ему глаза на неё, а он увидел другими глазами меня. Этой нелепой пьесой я помогла ему избавиться от чувства вины, пережить незабываемо яркий кусок жизни, и хотя бы за одно это он должен быть мне до скончания века благодарен.

Прошло ещё полгода, и случилось чудо! Однажды Филипп появился на пороге моей спальни. Он не зевал и не тёр руками уставшие глаза... Просто подошёл к кровати, похозяйски откинул одеяло и лёг рядом...

Что это? Куда делось лёгкое скольжение в прозрачной воде, окрашенной цветными бликами утонувшего в ней солнца? Тяжёлый, чёрно-серый водоворот затянул меня на долгие часы в свою мутную глубину, давая лишь короткую передышку перед каждым новым взрывом.

Мы больше не были людьми, мы превратились в сорвавшихся с цепи диких зверей, рвущих друг друга на части, безжалостно мстящих за нанесённые раны новой болью. Мы обменивали душевные раны на телесные, и не могли остановиться.

С этого дня наша жизнь разделилась на две части, мы стали полуволками. Днём, при солнечном свете — два человека, занятых обычными людскими заботами: работой, детьми, светскими приёмами, но... солнце оседало всё ниже, и в наших глазах постепенно разгорался дикий блеск, превращавшийся с наступлением темноты в нестерпимо жгущее пламя... И опять этот чёрный омут, этот рёв рвущейся на свободу воды, этот безнадежный лабиринт без конца и начала.

Господи! За какие грехи ты покарал меня новой мукой? Зачем превратил в безудержную, потерявшую стыд волчицу?

По утрам мочалкой и мылом отскребала присохшие к коже остатки тины и волчьей шерсти, но, стоило солнцу опуститься за горизонт, все тело начинало нетерпеливо зудеть и вздрагивать: скоро, ещё немножко, вот-вот... мой волк уже в пути.

С кем еженощно нырял Филипп в этот омут — со мной, с Шанталь или со случайной распутной девкой, подобранной за пару мелких монет под уличным фонарём? Это навсегда останется его тайной. С наступлением темноты мы молча уплывали в бурлящее море, и на рассвете, так и не обменявшись ни единым словом, возвращались обратно.

Эти тайные путешествия до неузнаваемости изменили мою внешность. Черты лица стали тоньше и острее, глаза... ох уж эти предательские глаза! Откуда в них столько блеска и синевы? Раньше мужчины почтительно прикладывались лишь к кончикам моих пальцев, сейчас они многообещающе заглядывали в глаза, бесконечно долго удерживая всю руку в требовательных, влажных ладонях. Что со мной? Неужели бесстыдная волчица подаёт им свои тайные, распутные знаки?

Когда-то в еврейском посёлке старшие девчонки разъясняли малолеткам интимную жизнь собак и кошек. Самки, готовые к зачатию, источают особый запах, действующий на самцов как боевой клич. Самцы, одурманенные запахом, сбегаются со всей округи испытать обещанное им счастье. Неужели и я, как распутная самка, одурманиваю самцов своими тайными призывами?

Похоже, да. Ещё недавно трепетно влюблённая в своего мужа, я стремительно перерождалась в блудливую кошку. С любопытством разглядывала мужские губы, мысленно представляя их упругий и терпкий вкус, ноги, обтянутые тонкой, ничего не скрывающей тканью...

Господи, зачем ты населил землю таким количеством мужчин, и почему создал каждого из них по-своему привлекательным?

Глава 16

Из этого омута вытащило меня письмо Элеонор. Она написала его по секрету от бабушки и отца:

«Елена, папа не хотел тебя понапрасну тревожить, да и бабушка запретила об этом писать, но я решила, что для тебя это очень важно. Бабушка угасает с каждым днём. Она ни на что конкретно не жалуется, но почти ничего не ест и всё реже выходит из своей комнаты. Совершенно потеряла интерес ко всему, кроме кипы старых писем, которые перечитывает ежедневно по многу раз. Мне кажется, бабушка собралась от нас уходить. Твой отец считает это зимней меланхолией, советует подождать до весны, но боюсь, весной ты её уже не застанешь.

Я слишком хорошо знаю тебя, и роль, которую бабушка сыграла в твоей жизни. Приезжай, пока не поздно. Мы все были бы очень рады, если бы ты взяла с собой детей. Если не сможешь приехать со всеми, привези, хотя бы Марию. Я так соскучилась по ней!

Целую, твоя Элеонор».

Вечером я показала письмо Филиппу. Опустив голову, он долго вертел в руках тонкий листок бумаги, испещрённый аккуратным, острым почерком. Его пальцы едва заметно дрожали:

— Бабушка... зачем она так торопится? Поезжай, собери побыстрее свои вещи и поезжай. Обязательно возьми с собой Марию... Элеонор всё же чудесный человек. ...И Мигеля тоже. Твой отец будет счастлив. Со всеми тремя, думаю, тебе будет тяжело. Я завтра же подам королю рапорт с просьбой об отпуске по семейным обстоятельствам и, надеюсь, через неделю-другую мы с Франческой присоединимся к вам. Она уже большая, не обидится.

Ты согласна?

Впервые за последние три года он посмотрел мне в глаза; без страха, без напряжения, как раньше, до Шанталь.

Мы проговорили о бабушке до позднего вечера. Каждый вспоминал какие-то эпизоды, где она была главным действующим лицом. Одни были трогательными, другие — смешными, но ни в одном из них мы не появились втроём. Сегодня каждый хотел иметь её только для себя.

Солнце давно затерялось за горизонтом, но волки так и не переступили порога нашего дома. Этой ночью они позволили нам остаться людьми.

Дети восприняли новость о предстоящей поездке с восторгом. Мария вывалила из шкафа весь свой обильный гардероб, выбирая платья, которые хотела взять с собой.

— Мам, смотри, это должно Элеонор понравиться. Только чулки и туфли нужно правильно подобрать. А это... нет, она не любит обилия бантиков и финтифлюшек. Обязательно разругает. А мне оно так нравится... Как ты думаешь, а если спорить все эти финтифлюшки, можно его будет взять с собой?

— Доченька, а может не набирать слишком много? У вас с Элеонор будет достаточно времени, чтобы придумать и сшить новые. Я уверена, обратно ты поедешь с таким багажом, что наши лошади надолго запомнят это путешествие.

— Вот здорово. Я так рада, я так люблю тётю Нору. А может, всё же спорить эти бантики?

— Ну, если они тебе так мешают, то спори.

Мария помчалась за ножницами, напевая придуманную на ходу песенку:

Летите бантики, летите франтики

По вам давно соскучилась помойка.

Я не могла отвести глаз от этого большеглазого, грациозного оленёнка, скачущего по комнате с ножницами в одной руке и платьем в другой. Неужели это чудо произошло от меня?

В другой комнате пыхтел над своим сундуком Мигель:

— Мам, у нас есть сундук побольше? В этот уже ничего не помещается?

По всей комнате были разбросаны игрушки и книги. Из доверху наполненного ящика вытекал на пол подготовленный к путешествию багаж.

— Сынок, почему ты хочешь взять всё это с собой?

— Это мои лучшие игрушки. Деду будет интересно. И книги тоже. Мы будем читать их вместе.

Я перебирала разбросанные на полу книги, испещрённые рисунками и пометками Мигеля.

— Но у деда дома есть такие же. Мы с ним их когда-то тоже читали.

— У него другие. Мои с пометками. Я отмечал непонятные слова... и вообще всё непонятное. Он будет мне объяснять.

— А почему ты не спрашивал у меня?

— У тебя? Не знаю... Ты была последнее время какая-то странная... другая...

Боже, мой, милый, родной мальчик. Как же ты чувствуешь мои состояния! Откуда у тебя такая интуиция? Ты единственный из троих, кто заметил, что я все эти месяцы была не в себе. Что я должна на это ответить?

— Сынок, ты прав. Последнее время мне действительно нездоровилось, но теперь всё прошло. Я опять в полном порядке. А с книгами... Может, мы лучше выпишем названия книг и номера страниц, которые ты хочешь показать деду? Пара листов бумаги займёт значительно меньше места, чем вся эта кипа? Думаю, ты получишь там столько новых книг и игрушек, что старые тебе вовсе не понадобятся.

Мигеля, как и Марию, не пришлось долго уговаривать. Перспектива получения новых сокровищ действовала безотказно.

Франческа смотрела на всю эту суету, поджав губки. В больших карих глазах стояли слёзы:

— А я там вообще никому не нужна? По мне никто не соскучился и ни кто не хочет увидеть?

Вот тебе и папина дочка! Такой же ревнивый ребёнок, как и все.

— Доченька, хорошая моя, конечно все тебя ждут с большим нетерпением, но ведь нельзя же бросать папу одного в пустом доме. Пару недель ты останешься за главную хозяйку и будешь заботиться о нём, а потом приедешь к нам вместе с ним.

Перспектива остаться за главную, моментально высушила непрошенные слёзы.

— Но ты поможешь мне собраться? Я ведь тоже не знаю, что с собой брать.

Я срочно переселяюсь в третью комнату и опять оседаю перед новой грудой разбросанных по полу платьев и туфель.

Какой счастье, что их у меня только трое! Еще две-три упаковки я бы не осилила.

Мы сидим в доверху нагруженной барахлом карете. Мелкий унылый дождик, смешавшись с полуподтекшими, бесформенными снежинками, запорошил стёкла. Лошади медленно бредут по раскисшей дороге, волоча за собой комья грязи. В голове мелькают обрывки из прошлого: моё первое большое путешествие в карете с незнакомыми серыми людьми — расставание с мамой и с еврейской жизнью. Жива ли она ещё, помнит ли, что у неё была когда-то младшая дочь? Я представила себе на минутку, что было бы со мной, если бы у меня насильно отобрали одного из детей. Подозреваю, я была маме так же близка, как Мигель мне, потому что принадлежала только ей. Старшие были поделены между бабушкой и отцом, они давно отошли от неё, а на меня никто не претендовал. А может, претендовал? Да, ...мой первый отец, ювелир. Ни с кем из детей он не проводил столько времени, сколько со мной. Я практически всё время болталась около него. Острое чувство тоски по ним обоим резануло пронзительной нотой оборвавшейся струны. Что стало с ними, выжили ли они в водовороте всех этих войн и революций?

На минуту задремавшие дети, распахнули свои глаза и рты. Они снова переругивались, не поделив место у окна, пинали друг друга ногами и нестерпимо громко визжали. Каждый призывал меня в свидетели своей правоты. Боже, почему они иногда так действуют на нервы?

Неужели не могут хотя бы на полчаса оставить меня в покое? Неужели они думают, что вся моя жизнь до последней секунды должна принадлежать только им?

...Радость и суетливое возбуждение встречи остались далеко позади. Мы с бабушкой сидим вдвоём в её комнате и молча смотрим друг на друга. Какая же она стала маленькая! Высохший большеглазый птенец, обтянутый тонкой, ломкой кожей.

— Ты почему ничего не ешь?

— Не хочется.

— Что значит, не хочется? Положила в рот, прожевала и проглотила. Разве это так трудно?

— Трудно, если от одного вида и запаха еды начинает подташнивать.

— Но ведь без еды человек долго не проживёт.

— А мне долго и не надо. Очень боялась, что больше никогда тебя не увижу. Теперь всё хорошо.

— А почему раньше не позвала? Зачем ты так торопишься? Как же мне без тебя жить дальше?

— Проживёшь, ты уже взрослая.

Бабушка пристально вглядывалась в моё лицо:

— Как ты изменилась за это время. Совсем другой стала. Острее и жёстче... А что с Филиппом? Он не приедет?

— Приедет, обязательно приедет. Оформит отпуск и приедет вместе с Франческой.

— Как у вас с ним сейчас?

Вопрос, заданный с таким откровенным пониманием, заставил насторожиться. Не хотелось обременять её сейчас своими проблемами. Если она всё видела и знала, то почему уехала, почему бросила меня одну в самый трудный момент?

Хитрюга, как в добрые старые времена, безошибочно прочла мои мысли:

— Я уехала, потому что боялась не сдержаться, начать лезть со своими советами и всё ещё больше запутать. К сожалению, это судьба каждой замужней женщины — рано или поздно пережить измену мужа. Этой судьбы могут избежать либо вовремя овдовевшие, либо прожившие жизнь старыми девами.

— Неужели невозможно этого избежать?

— Во всяком случае, у меня нет хорошего рецепта. Каждая обманутая жена справляется с этим по своему: одни делают вид, что ничего не замечают, другие кричат о своей обиде на весь свет.

Бабушка, я давно хотела тебя спросить. Как случилось, что все портреты твоего мужа сгорели?

— Как это случилось?.. А что им оставалось делать, если я разрезала их на куски и бросила в камин?

— Бросила в камин? Почему?

— Потому что он это заслужил... завёл себе любовницу, какую-то распутную даму из полусвета, содержал её на глазах у всех, жил последние годы практически на два дома... А потом его разбил паралич... у неё в спальне. На глазах у всего города его перевозили обратно ко мне. Зачем же ей с паралитиком возиться? Три месяца я преданно ухаживала за ним, кормила с ложечки, поила отварами, читала вслух любимые книги... Говорить он не мог — только мычал... Всё время смотрел на меня умоляющими глазами и мычал. Думала — просит прощения. Гладила его руки, целовала в лоб, говорила, что дороже и ближе у меня никого нет, а он... морщился и страдальчески мычал. А потом моя горничная что-то заподозрила и привела к нему эту мерзавку. Мой муж просиял, успокоился, а потом заплакал.

Через час после её ухода он облегчённо заснул, навсегда. Понимаешь, он не просил у меня прощения, он хотел, чтобы я её к нему привела! А я, дура, в любви объяснялась! Какое унижение. После его похорон сожгла все портреты. Не могла видеть этого лица.

Я смотрела на высохшее личико моей бабушки, и сердце заливала жалость. Бедная, она так и не смогла смириться, что муж предпочёл ей женщину, не обладающую никакими другими достоинствами, кроме пронзительного, призывного запаха загулявшей самки. Неужели это и есть секрет человеческой любви, тысячелетиями воспеваемой поэтами всего мира?

Потратив последние силы на этот выплеск, бабушка задремала. На следующий день она почувствовала себя лучше — согласилась выпить пол чашечки куриного бульона и проглотить пару ложек натёртого яблока. Мария и Мигель постоянно влетали к ней в комнату, что-то рассказывали, показывали обновки, но я чувствовала, что она от них быстро устаёт. Ей хотелось только покоя.

Однажды она попросилась в парк. Мы с отцом закутали её, как ребёнка, в тёплую шубу, усадили в кресло на колёсиках, давно без дела пылившееся в углу, и повезли на прогулку. Бабушка крутила головой на тонкой, пергаментной шейке и молчала. Ей, по-видимому, хотелось одной попрощаться со своим парком. Мы молча везли её по аллеям, думая каждый о своём.

В один из таких дней папа, отведя глаза в сторону, с горечью и обидой упрёкнул меня в захватничестве:

— Я понимаю, тебе хочется в последние месяцы её жизни постоянно быть рядом, но она, всё же, моя мама. Уступи хотя бы частичку, дай побыть с ней вдвоём... хотя бы иногда.

— Ладно, папа, ты прав, надо делиться.

С тех пор мы возили её на прогулки по очереди.

Однажды, воспользовавшись свободой, я отправилась на поиски своего дневника. С тех пор, как он последний раз исчез под корнями двустовольного дерева, прошло почти тринадцать лет. Парк изменился до неузнаваемости. Исчезли все знакомые приметы: кустики превратились в деревья, старые дорожки куда-то исчезли, уступив место новым и незнакомым... Я кружилась на одном месте уже целый час, но ничего похожего на мой тайник так и не попало на глаза, пока, наконец, буквально не уткнулась в него носом. Оказывается, я уже три или четыре раза стояла рядом, не узнавая этого места. Одинокая ветка выпустила десятки отростков, превратившись в пышное, мощное дерево. А камень... Густой, заботливый плющ укутал его своим вечнозелёным плащом, устремившись вдогонку за рвущимися в небо молодыми ветками. Где-то в глубине навсегда исчез жалкий обрубок моей первой, несостоявшейся жизни. Быстро отрыв своё сокровище, я спрятала его в кармане пальто и отнесла домой.

Вечером, уложив детей спать, забралась с ногами в своё любимое кресло и углубилась в чтение откровений тринадцатилетней давности. Ну и стиль! Смесь высокопарной эпохальности древнегреческих трагедий с мелодраматической сентиментальностью дешёвых любовных романов. Писать ли этот дневник дальше или сжечь в камине, как бабушка сожгла портреты своего мужа? Я взяла новое перо и попыталась начать с того места, где остановилась тринадцать лет назад, за несколько дней до второго отъезда с Филиппом в его замок.

Забавная вещь — человеческая память. Одни эпизоды, дни и даже часы всплывали в ней, будто всё было только вчера; запахи, краски, освещение, тени и чувства. Другие исчезли навсегда, будто их никогда и не было.

Перечитав первые свеженарисованные страницы, с удивлением поймала себя на том же эпическо-слащавом стиле. Значит, вернувшись в прошлое, я вновь стала мыслить и чувствовать как в детстве. Ну и пускай. В конце концов, пишу всё это не для критиков, а для себя.

В течение первой недели я заново прожила первые два года счастливой семейной жизни, опять влюбилась в Филиппа, слегка иронизируя по поводу мелких недостатков, приятно оттеняющих многочисленные, не поддающиеся сомнению достоинства.

Мои воспоминания были прерваны короткой запиской из Мадрида: «Отпуск согласован. Выезжаем».

На этот раз я не дежурю с утра у окна, не прислушиваюсь к дробу лошадиных копыт и не тереблю рукой занавеску. Часом раньше или позже взбежит Филипп по нашей лестнице... какое это имеет значение? Он займёт моё место у бабушкиного кресла, оттеснив от неё на много часов в день. Теперь нам придётся делить бедную старую женщину на троих.

Впервые его приезд вызывал у меня раздражение. Я злилась, а бабушкины глаза сияли радостью. Естественно, ведь он для неё внук, как и я — такой же одинокий ребёнок, отогретый и поставленный ею на ноги.

Вечер. Бабушка, утомлённая всеобщим вниманием, давно спит. Дети, успевшие десять раз передражаться друг с другом и пятнадцать раз помириться, уgomонились в своих кроватях, набирая силы для предстоящих утром новых боёв. Мы с отцом сидим в его кабинете и меланхолично болтаем ни о чём. Он отложил в сторону недописанные письма и водрузил прямо на письменный стол серебряный поднос с бутылкой своего любимого красного вина и двумя бокалами. Он играл с вином, как ювелир играл когда-то с рубинами: убирал бокал в тень, медленно подставлял его к пламени свечи, любуясь зажигающимися в вине искрами,

раздувал ноздри, якобы втягивая особый букет старинного напитка, призывая меня в единомышленники. Я отпила глоток этого терпкого, неприятно горящего вина и поморщилась.

— Что, неужели не вкусно?

— Думаю, Филипп понял бы тебя в этом смысле лучше.

Отец взял мою сжатую в кулак руку и расправил пальцы. Он знал эту привычку с детства — когда я задумывалась о чём-то неприятном, пальцы автоматически собирались в кулак, и он всегда, прежде чем задать наводящий вопрос, разглаживал мне руки.

— Ну, что мучит тебя сегодня?

— Скажи, ты знаешь что-нибудь о судьбе моей мамы... и вообще всей семьи?

— Нет, к сожалению, ничего.

— Ты больше ни разу там не был?

— Был. Один раз. Когда родилась Франческа. Подумал, **ей** было бы интересно узнать, что у **неё** родилась внучка и что у тебя всё хорошо.

— Ну и...

— В доме жили совсем другие люди. Ювелирной мастерской тоже не было. Пристройку использовали под конюшню.

— А ты ничего о них не спросил?

— Спросил. Сказал, что много лет назад заказывал у местного ювелира кое-какие украшения и хотел бы повторить заказ. Новый хозяин ничего не слышал о ювелире. Он купил этот дом всего год назад, но продавец не занимался украшениями. Он разводил лошадей в этой самой конюшне. Значит, твои уехали значительно раньше.

Я отпила глоток вина и собралась с силами.

— Папа, а что за бумаги передали ему люди в сером, приехавшие за мной?

Отец осушил свой бокал до дна и с вызовом посмотрел на меня:

— Бумаги? Нет, дочка, это были не бумаги, это были деньги. Много денег, очень много. Этот наглый еврей потребовал с меня компенсацию за нанесённый ущерб. В счёт вошли поломанная мебель, средства, потраченные на твоё содержание, и стоимость его поруганной чести. Набежала весьма кругленькая сумма. Так что ты, дочка, обошлась мне тогда недёшево.

Отец откинулся на спинку стула, молча вертя в руке пустой бокал.

Его сообщение буквально придавило меня к креслу. Чувство унижения за себя, за ювелира, к которому до сих пор испытывала чувство огромного уважения, застряло в горле липким, горьковатым на вкус комком.

Я протянула отцу пустой бокал:

— Налей мне, пожалуйста, ещё вина.

— Что, решила напиться с горя? Не стоит. Он, этот еврей, того не стоит.

Терпкое, неприятное на вкус вино, прочистило не только горло, но и мысли.

— Ты говоришь, это была очень большая сумма... А вскоре после этого они исчезли... Слава богу. Я счастлива, что хоть чем-то смогла отблагодарить его за всё, что он для меня сделал.

— Что ты имеешь в виду?

— Очень просто. Все деньги, которые он зарабатывал в те годы, тратились на образование старшего сына. Он мечтал накопить очень большую сумму, чтобы отправить

мальчика в Америку. Он потребовал с тебя деньги, которых хватило не только на сына, но и на всю семью.

— И чему ты радуешься?

— Тому, что моему брату никогда не придётся испытать то унижение, которое испытал его отец. Тому, что ни один мерзавец не изнасилует его жену и не поселит в его доме своего ублюдка. Ювелир против своей воли сделал из меня человека, и я рада, что, пусть, ценой твоих денег, оплатила ему добром за добро.

— Елена, откуда в тебе столько злости?

— А откуда в тебе столько высокомерия? Ты был перед ним виноват. Почему ты позволяешь себе его презирать?

— Потому что нельзя всё оценивать в денежных знаках. Нормальные люди смывают оскорбление кровью, а евреи выкупают честь за деньги.

— Ты что, принял бы его вызов? Стал бы драться с ним на дуэли?

— С ним не стал бы. Дворяне не дуэлируют с простонародьем.

— Значит, у него не было ни единого шанса тебе отомстить. И не надо цитировать Библию:

«Получив оплеуху по правой щеке, подставь левую». Я знаю наизусть эту теорию христианского смирения. Только почему-то одни, присвоив себе пожизненное право безнаказанно раздавать оплеухи, предписывают другим подставлять под них свои беззащитные морды?

— А как бы ты хотела организовать мир?

— зуб за зуб, глаз за глаз. Ветхий завет в этом смысле справедливее. Он всем даёт равные права.

Побелевшие от напряжения пальцы отца сжимали бокал... неужели даже это движение я унаследовала от него... Пусть злится, но думает. От его ответа зависят все наши последующие отношения.

Минуту спустя его пальцы распрямились:

— Ты права. Это, как всегда, две стороны одной медали, и истину нужно искать посередине. Только, честно говоря, на этот раз я не знаю, где именно она находится. Может быть, каждый раз в новом месте... В каждой конкретной ситуации человек выбирает, что ему важнее — отомстить или выжить. Ювелир не мог вызвать меня на дуэль, не мог ворваться ко мне в дом, разгромить его и изнасиловать мою жену, которой у меня, кстати, тогда ещё не было... Десять лет спустя я пришёл к нему просителем, и он воспользовался своим шансом — заставил оплатить отъезд туда, где закон даёт ему право на самозащиту. Мудрый человек. Я готов снять перед ним шляпу.

— Папа, можно последний вопрос? Если всё получилось по справедливости, почему же ты на него злишься?

Отец доверху наполнил свой бокал вином. На этот раз он не играл с ним, как с рубином, не принохивался к букету... просто опрокинул в себя одним рывком и поставил на поднос.

— Ладно, пусть сегодня у нас будет вечер вопросов и ответов. Да, я злюсь на него. Злюсь, потому что ревную. Я всю жизнь ревную тебя к нему... и её тоже. Ты всегда будешь сравнивать меня с ним, и он всегда будет для тебя прав, потому что он — жертва, а я...

— Папочка, милый, я давно перестала вас сравнивать. Вы существуете... параллельно. Он — в прошлом, а ты — в настоящем, и оба во многом похожи друг на друга. Он для меня... как бы это лучше сказать... Знаешь... это... как дом. Один начинает строить его по задуманному им проекту, а потом приходит другой и достраивает по своему, но, и это самое

главное, не нарушив и не испортив основы. Понимаешь, что я имею в виду? И потом... Его я только уважаю, а к тебе испытываю такую нежность... хоть лопни.

— А вот этого, пожалуйста, не надо. Лучше выпей вина.

Горьковатый привкус больше не раздражал. Я тянула небольшими глотками папин «шедевр», готовясь к следующему, последнему вопросу. Он, чувствуя, что допрос ещё не закончен, хитрыми глазками наблюдал за моим ёрзаньем в кресле.

— Ну что, подготовила следующую ловушку? Давай, не стесняйся. Я сегодня добрый.

— Ловлю на слове. Можешь мне объяснить, как можно тридцать лет вспоминать о женщине, которую видел всего несколько минут? Ты не знал ни её имени, ни характера, даже лица толком не запомнил, а ревнуешь к мужу, как будто вас связывало что-то серьёзное?

— Этот вопрос ты мне уже задавала лет пятнадцать тому назад, и я, если не ошибаюсь, на него честно ответил.

— Да, помню, но мог бы ты описать это чувство? Что такое особенное ты тогда испытал, что запомнил на всю жизнь?

— Описать чувство? Разве это возможно? Мне и слов-то таких не подобрать.

— А ты попробуй не словами, а красками... цветами. Ну, например, — округлив чуть приподнятые вверх руки и устремив глаза к потолку, я попыталась придумать подходящий пример, — ну, например... большая радость может быть красной или оранжевой, а маленькая грусть — лиловой, или нежно-сиреневой. Ты же всю жизнь занимаешься живописью и знаешь, как она на тебя действует!

— Ну, ты и фантазёрка! Хотя, — отец, передразнивая моё движение, вскинул вверх округлённые руки и поднял к потолку глаза. — Ну, хорошо, это могло быть так... Путешествие в радугу. Я влетел в мрачный, злобно-фиолетовый, плавно проскользнул через синий, голубой и зелёный и вынырнул в оранжево-жёлтом. Красный... да, пунцово-красный был потом, когда я возвращался домой. Моя, сгоравшая от стыда, физиономия.

— А как это бывало с Элеонор?

— С ней... всегда спокойный, серо-голубой, — на этот раз отец выпалил ответ не задумываясь.

— Слушай, детка, а глазки то у тебя совсем помутнели. Напилась, поди. Давай, отведу тебя наверх, а то еще свалишься с лестницы, и весь дом перебудуешь. Пошли, вставай потихоньку.

— Твои дурацкие радуги так и кружатся у меня перед глазами. И вино было совсем не вкусным. А выпила я и вовсе не много. Бокала два, не больше, — бормотал мой изрядно заплетающийся язык, пока папа осторожно передвигал меня по направлению к лестнице.

— Теперь приподними ногу и поставь её на ступеньку. Да не задирай так высоко, всё равно в таком состоянии две сразу не одолеешь...

В его сильных руках я чувствовала себя так надёжно и уютно, что ради одного такого подъёма стоило выпить.

Путру меня мучили отчаянная головная боль и дурацкий сон, приснившийся спяну.

Я сижу в театре и смотрю балет. Тацовщицы одеты в одинаковые серебристо-голубые платья. Танцоры — в такие же серебристые туники. Звучит музыка, кавалеры приглашают дам, и пары кружатся по сцене в медленном танце. Вдруг подол платья одной из танцовщиц начинает светиться и розоветь. Свет, исходящий откуда-то изнутри, стремительно поднимается вверх, становясь всё ярче и интенсивней. Ещё пара тактов — и платье сверкает и переливается пунцово-оранжево-жёлтым. Партнёр, не замечая этого свечения, по-прежнему кружится в своём уныло-голубом. В другом углу сцены происходит всё наоборот — засветился партнёр, а дама осталась равнодушной. Танец закончился, пары расстались, и свечение

моментально померкло; все опять стали одинаково неразличимыми. И вдруг... чудо. Новая мелодия и новый выбор. Что это? В полубезликой толпе двое, не замечая никого вокруг, самозабвенно кружатся в вальсе, *одновременно* переливаясь всеми цветами радуги. Эти двое случайно совпали по цвету!

Действительно дурацкий сон... хотя... Так могло быть и с моими родителями. Отец втянул маму против воли в свой танец, но оба одновременно пережили своё короткое свечение. Филипп совпал по цвету с Шанталь, а дед — со своей куртизанкой. И никто не виноват, что наши мужья — мой, бабушкин, Элеонор, и ещё миллионы мужей не засветились рядом со своими жёнами — ведь выбор был каждый раз случайным, а значит незачем жечь портреты и кричать на весь свет об обмане и предательстве. Где здесь обман? Всего лишь игра света длиною в один танец.

Трёхлетняя обида и злость прошли вместе с головной болью. Вечером я пришла в спальню Филиппа, по-хозяйски откинула одеяло и легла рядом... Так начался наш новый серебристо-голубой период, затянувшийся на долгие годы.

Обстановка в доме стабилизировалась, и мы все расслабились. В угоду назойливым родственникам бабушка с отвращением выпивала пол чашки бульона, заедая его размоченным сухариком. Морщась от неудовольствия, проглатывала несколько ложек печёного яблока или пудинга с протёртыми персиками. Утомлённая этими усилиями, она надолго засыпала, оставляя заботливую семью без работы. Папа с Филиппом запирались в библиотеке, я перечитывала и дописывала свой дневник, а Элеонор... Вот, кто в эти дни был по-настоящему счастлив! Этой женщине надлежало иметь не троих детей, а, по меньшей мере, десятерых, и у неё на всех хватило бы времени и фантазии. Вначале к ней приросла только Мария. Неделю спустя после приезда, Франческа, впервые заскучавшая в гордом одиночестве, робко проскользнула в комнату Элеонор. С тех пор целыми днями оттуда доносились то взрывы хохота, то музыка, то непонятное затишье, наводящее на мысли о маленьких женских тайнах, поверяемых шёпотом при свете свечей. Последним прокрался туда Мигель. После этого мы видели детей только за столом или в кровати.

В один из таких дней бабушка, отработав свою бульонно-яблочную повинность, не заснула, а попросила меня остаться и посидеть еще немного. Я чувствовала, с ней что-то происходит; хочет поговорить о чём-то важном и не может решиться. Наконец, собравшись с силами, указала рукой на секретер:

— Там, в левом нижнем углу небольшой выдвижной ящичек. Открой его... ах да... там есть секрет. Нажми пальцем на правый верхний угол и поверни три раза ручку. Открылся? Хорошо. Достань оттуда серебряную шкатулку... Ключик у меня в медальоне. На, возьми.

Она взяла открытую шкатулку, поставила себе на живот и долго рылась в каких-то бумажках и тряпочках. Наконец вытащила два мешочка и протянула их мне. — Посмотри, что там внутри.

Из первого выскользнула малахитовая брошка, обвитая тоненькой золотой змейкой. Во втором была спрятана агатовая в черненном серебре.

— Узнаешь? Это память о нашем первом знакомстве.

Я разглядывала камни и удивительную, тонкую оправу... С тех пор прошло больше двадцати лет... У меня дома лежит целый ящик украшений, подаренных Филиппом. Одни принадлежат его семейной коллекции, другие делались на заказ лучшими королевскими ювелирами, но эти... Бог свидетель, эти ничем не хуже, может даже лучше всего того, что лежит в моём ящичке. Они излучают какую-то особую одухотворённость, тепло и покой.

Что-то нетерпеливо зашевелилось в памяти. Поплыли размытые тени, постепенно складываясь в чёткую картинку: отец, я имею в виду ювелира, сидит за столом в мастерской и делает бесконечные рисунки малахитовой брошки. Он снова и снова разглядывает камень, изучая разбегающиеся прожилки, полирует, усиливая цвет в одном месте и приглушая в другом. На столе скопилась уже целая стопка рисунков: змейка приподнимала головку над

камнем, поворачивала её то в одну, то в другую сторону, обвивала себя хвостом, но так и не находила нужного положения. Наконец он раздражённо отложил карандаш, подпёр щеку рукой и задумался:

— А знаешь, эта дама... Она только с виду такая высокомерная и уверенная в себе. На самом деле она не очень-то счастливая. Глаза... какие-то уставшие и грустные.

Схватив карандаш, он одним росчерком уложил змеиную головку на камень:

— Вот так. Пусть немножко передохнёт.

Я рассказала бабушке эту историю. Она, поглаживая камень указательным пальцем, задумчиво смотрела на змейку.

— Да, он оказался прав. С тех пор, как появилась ты, я действительно успокоилась и отдохнула. Это был самый счастливый период моей жизни. Мудрый человек... хороший.

— Смотри, помнишь, как я тогда уговорила тебя купить этот агат?

— Помню. Ты впервые показала свой настойчивый характер — не успокоилась, пока мне его не всучила.

— Жаль, что ты их так ни разу и не надела.

— Один раз надела. Агатовую. На твою свадьбу. Разве не помнишь?

— Извини, но свадьбу совсем не помню. У меня тогда в голове всё перемешалось.

— Я выбрала её как символ. Хотела, чтобы твоя жизнь была такой же глубокой и светлой, как этот камень.

— Серебристо-голубой? Значит, твоё пожелание сбылось. Теперь она у меня стала именно такой.

— Вот и хорошо, но это не всё. Тут приготовлен для тебя ещё один сюрприз — ценные бумаги на довольно приличную сумму денег. Я даю их тебе по секрету от всех. Они принадлежат только тебе. Спрячь хорошенько.

— Но почему только мне?

— Остальные получают по завещанию, а это отдельно. Жизнь может сложиться по-всякому... Когда мы три года тому назад вернулись от вас... Филипп тогда... ну, сама знаешь... Короче, я подумала о своей матери, как она на старости лет осталась одна, без средств. Не хотелось бы, чтобы ты повторила её судьбу. Я выделила часть денег из наследства и спрятала их в одном из зарубежных банков, очень стабильном. Вот так. Это твой неприкосновенный запас на чёрный день. Если не понадобится — поделишь между детьми, или отдашь тому из них, кто будет больше всего нуждаться в помощи. Только не спеши; жизнь часто припасает главные неприятности под конец.

— Бабушка, ты... ты... — я схватила её за руку...

— Ладно, ладно, не верещи. Просто я мудрая, старая черепаха, не хуже твоего ювелира... Но это еще не всё. В секретных ящичках всегда бывает три сюрприза. Два ты уже получила. Остался последний, менее приятный, хотя... как знать.

Она долго рылась в своей бездонной шкатулке, пока не извлекла с самого дна два затёртых конверта.

— Это старые письма, о которых не знает никто, даже твой отец. Помнишь, я рассказывала о своей семье, о выживших «меченых» братьях. Говорила, что мама пристроила обоих на хорошую службу. Так оно и было. Одного из них она устроила служащим в банк, принадлежавший очень богатому еврею. Брат оказался человеком сообразительным и упорным... Он был той же масти, что твой отец — светлые глаза и тёмные волосы, только выглядел совсем по-другому. Мой сын унаследовал черты лица, рост и стройность от своего отца, а брат был приземистым и широким. Короче, с годами он стал первым помощником

старого банкира, можно сказать, его главным поверенным. Времена были беспокойными, в стане не хватало денег, и инквизиция снова принялась за евреев. Сыновья банкира убеждали отца бежать из Испании, но старик был упрям, как осел. В итоге, старшие сыновья с семьями успели скрыться, вывезя часть капитала, а старик и сам остался, и младшую дочь не пустил, потому что была, якобы, слишком молода, да к тому же не замужем.

Пару месяцев спустя банкира арестовали, конфисковав все имущество. Мой брат успел в последний момент тайно обвенчаться с его дочерью и вывезти её за границу. Вот это, первое письмо, мама получила от него через год. Брат опасался использовать официальную почту. А вдруг наведёт на след инквизиторских шпионов? Только через год передал через надёжную оказию весточку о себе. Они с женой добрались по Пруссии, где присоединились к остальной семье. У них родился сын, темноглазый и тёмноволосый, похожий на маму. Типично еврейский ребёнок. Семья, сложив остатки вывезенного капитала, собиралась восстановить своё дело. В общем, всё выглядело очень оптимистично. Потом сама считаешь. Через пару лет пришло второе письмо, вот это. Он сообщал, что в Пруссии стало опасно — евреев там тоже не очень жалуют, и семья приняла совершенно новое решение. Россия. Там охотно принимают образованных, инициативных людей с деньгами. Они надеются, что обретут в этой дикой стране покой и нормальные условия для работы. Кстати, у них родился второй ребёнок, девочка. «Меченая». Больше писем от него не было, и о его дальнейшей судьбе мы с мамой ничего не знали. Вот такая история.

— И ты хочешь, что бы я попыталась их найти?

— Нет, ни в коем случае. Не лезь в это. Просто знай, что ты не первый полуеврейский ребёнок, выросший в нашей нелепой семье. Почему-то наши «меченые» мужчины имеют особую тягу к еврейским женщинам! Об этом-то я и размышляла после первой встречи с тобой, глядя в окно на море. Там, в нашем с тобой доме... Жаль, что я его больше не увижу.

— Бабушка, а хочешь, я тебя туда отвезу?

— Хочу, но не могу. Мне не осилить такую поездку. Я была там три года тому назад, когда продумывала детали твоего неприкосновенного запаса. По моему указанию в доме всё убрано и отремонтировано. Его нельзя оставлять надолго без внимания. Он, как человек, чахнет и разрушается от одиночества.

— Слушай, а может, эту тягу наши мужчины получили в наследство от голубоглазого предка? Ты не знаешь, кем он был?

— Кем — не знаю, но знаю — каким.

— И каким же?

— Дурно воспитанным. Пришёл и даже не представился.

— И ушёл, не оставив визитной карточки?

— Именно так. Видать, очень торопился.

Мы веселились, как в старые времена. Бабушкины глаза больше не были мутными и сонными. Что, если опасность миновала, и ей опять захотелось жить?

— Всё, родная моя. Иди, я очень устала и хочу спать.

У себя в комнате я внимательно перечитала письма бабушкиного брата. Кем он мне приходится? Дядей, дедом или двоюродным дедом? Какая, собственно, разница. В названиях родственных связей я никогда не была особенно сильна.

Никаких новых подробностей о его судьбе вычитать не удалось — всё главное бабушка уже рассказала, хотя... Моё внимание привлекли местоимения. В первом письме дядя использовал постоянно *я* и *они*. Во втором — только *мы*. «В Пруссии, таких как *мы*, тоже не жалуют... Похоже, что здесь *нам* тоже не выжить...». Надо же, всего три года, и он однозначно перешёл на *мы*.

Я перелистывала свой дневник, лениво перечитывая старые записи, пока не наткнулась на наивные размышления о человеческих предназначениях, о сложнейших шахматных партиях, разыгрываемых господом богом, когда в центре всегда оказывался кто-то из моих близких.

Надо же, какая глупость! Делать богу больше нечего. Расплодить кучу разного народа, чтобы поиграть с ним в кошки-мышки? Бегай, милый, бегай по своим тропинкам-дорожкам — рано или поздно всё равно попадётся в мою мышеловку.

До чего забавен детский абсолютизм: «Я — первый и единственный, кто постиг красоту и сложность этого мира, а все остальные нужны лишь для того, чтобы сыграть какую-то роль в моей жизни».

Сколько мне было тогда лет? Шестнадцать? Через три года Франческа догонит меня тогдашнюю, а я не имею ни малейшего представления о её внутренней жизни. Настолько углубилась в свою ревность, нелепые фантазии о светящихся озёрах и прочих глупостях, что потеряла всякую связь с взрослеющей дочерью. Как же ей было все эти годы одиноко! А я думала, буду хорошей матерью, надеялась, мои дети никогда не почувствуют себя заброшенными и ненужными.

Нашла в дневнике записи, где оценивала своих близких, сравнивая их с Филиппом:

«Моя семья, в сравнении с ним, казалась скучной и банальной. В первую половину дня обсуждалось обеденное меню, а после обеда — творческие неудачи повара. Мясо всегда оказывалось пересушенным, а овощи — недосоленными. Для отца соседи были всегда недостаточно умны, а их жёны, по мнению Элеонор — безвкусны. Бабушка пристально наблюдала за свадьбами и рожденьями. Подходят ли жених и невеста друг другу по положению и богатству, как часто в семьях появляются дети...

Они были подобны рубинам, лежащим в дальнем углу стола и терпеливо ждущим, когда лучик солнца проскользнёт по ним и зажжёт на пару мгновений хранящиеся внутри золотые искры. Всего несколько мгновений настоящей жизни в чужом свете — и рубины опять увяли, став глухими и тёмными».

До чего жесток и слеп детский максимализм! Тогда мне казалось, я — единственный человек в мире, способный мечтать и страдать. Ничего не зная о чувствах других, считала, что их просто нет. Эмоционально слепые и глухие «взрослые» влачили, по моему представлению, жалкое, бессмысленное существование. Не задумываясь о скоротечности жизни, тратили впустую лучшие годы, без сожаления приближаясь к неминуемой старости и смерти.

Что я знала о внутренней жизни мамы и Элеонор, называя их обеих «неумными, плоскими, страдающими врождённой слепотой чувств»? Ничего! Ровным счётом ничего, но судила их очень жестоко. Тринадцать лет спустя меня глубоко ранил злой взгляд Франчески, брошенный через стол, в ответ на наше с отцом злоязычие о Шанталь. Она тоже не знала ничего о моих чувствах, для неё это были глупые, банальные светские сплетни. В тот день настала моя очередь стать для дочери плоской и эмоционально тупой. Всё же не зря я писала этот дневник — помогает вовремя прочистить мозги.

На следующий день бабушка снова отказалась от прогулки и от еды. Она лежала целый день с закрытыми глазами, не реагируя на наши приходы и уходы. Похоже, выполнив свою последнюю задумку, она твёрдо решила уйти. Что поделаться? В конце концов, это её право.

Труднее всего были последние часы. Она судорожно хватала воздух, изредка, на долю секунды вскидывала на нас глаза, как бы проверяя, все ли на месте. Время от времени я прикасалась губами к бабушкиной щеке, а потом подставляла ей свою, и каждый раз она добросовестно отвечала мне слабым поцелуем. Я радовалась этим последним прикосновениям, последнему теплу, уходящему навсегда... Крошечная, сухонькая ручка лежала на моём запястье, а я считала вздохи. Последняя слабая судорога... ещё одна и... ну же, родная, пожалуйста, вздохни ещё раз! Всё! ...А рука по-прежнему сжимала моё запястье...

Слёз не было, и отчаяния тоже не было. Пустота и усталость. Я ушла к себе в комнату и легла на кровать. Казалось, она ушла ещё не окончательно, витает где-то поблизости и ищет мою руку. Говорить ни с кем не хотелось. Каждому из нас было сейчас плохо, но что мы могли сказать друг другу? Утешить? Отвлечь? А зачем? Лучше побыть мысленно ещё немножко с ней.

Бабушку отпевали в семейной часовне. Низкие, торжественные стоны органа уплывали к светло-голубому куполу, подсвеченному низким весенним солнцем. Вслед за ними улетала её душа, на этот раз, покидая нас окончательно. Вот и всё. Теперь её действительно больше нет.

Отпуск Филиппа, предоставленный ему королём «по семейным обстоятельствам» подошёл к концу. В Мадриде снова было беспокойно, и министр, ставший со временем одной из правых королевских рук, был срочно призван на боевой пост. Мы с детьми задержались ещё на пару недель. Веселье больше не бушевало в комнате Элеонор, и мы с отцом не занимались раскопками прошлого. Мирно и уютно занимались всякими мелочами, стараясь не мешать друг другу грустить.

В один из таких дней я решила пройти по парку. У порога меня догнала Франческа.

— Мам, можно с тобой? Покажи мне твой парк.

Мы медленно брели по дорожке, едва просохшей после затяжных зимних дождей.

— Ты часто гуляла здесь, когда была маленькой?

— Очень часто. Я до сих пор люблю этот парк.

— А у тебя были свои секретные места? Покажи их.

И я повела Франческу в беседку из роз. Бог мой, как они разрослись за эти годы. Щели между камнями стали ещё глубже. Полуистершиеся плиты почти утонули в густой траве, а ручеёк... он щебетал по-прежнему романтично и успокаивающе.

Франческа влетела в беседку и с разбегу плюхнулась на каменную скамейку.

— Ой, как здорово! Это же настоящий тайник! Я хотела сказать — здесь хранятся все твои тайны. Скажи, а ты здесь мечтала о папе?

— Чаще всего здесь, но было ещё одно любимое место — старая вишня, сбжавшая с бабушкиной плантации.

— Я давно хотела спросить... ведь Элеонор тебе не мама. А ты помнишь свою настоящую маму?

На секунду у меня перехватило дыхание. Как ответить на этот вопрос? Сказать правду я не имею права, значит, придётся врать:

— Нет, я не помню её.

— Она умерла, когда ты была совсем маленькой?

Я вспомнила мамин тёплый бок, её улыбку и высоко вскинутые брови в ответ на мои шутки или фантазии. Мамочка, если ты ещё жива, прости мне эту ложь, ведь другого выхода нет.

— Да, она умерла вскоре после моего рождения.

— А потом дедушка женился на Элеонор? Но ведь она была хорошей мачехой?

— Да, очень хорошей, но бабушка была мне значительно ближе.

Франческа задумчиво опустила голову, положив на колени узкие смуглые ручки с длинными пальчиками и чудесными ямочками.

— А сколько тебе было лет, когда ты влюбилась в папу?

— Думаю, десять. Как увидела первый раз, так и влюбилась, только видела его редко. Он приезжал к нам раз в год на несколько недель, освещал всё вокруг, а потом опять исчезал, но мне хватало воспоминаний на целый год. Сидела на этой скамейке и мечтала. Жила от приезда до приезда.

— Я тебя понимаю. В него невозможно не влюбиться. Он совершенно особенный. Таких больше не бывает... Ты только не обижайся, я тебя тоже очень люблю, но папа... В нём есть всё, он... совершенство. Ты обычная, как все другие женщины, а он... Знаешь, я тебе очень завидую — мне такого никогда не найти. Мам, ты не обиделась?

Франческа подняла на меня свои огромные, просящие прощения глаза. Тёмные, волнистые волосы окантовывали смуглое, точёное личико с губами особого, филиппового рисунка. Что я могла ей ответить? Конечно же, мне было очень обидно. А кому бы понравилась такая оценка? Собственная дочь видит во мне лишь банальную светскую сплетницу. А ведь когда-то она, мой маленький человечек, жила во мне, и казалась, впитывала в себя мою душу.

Ладно, жалеть себя я буду потом, а сейчас...

— Нет, Франки, совсем наоборот. Мне было бы гораздо обиднее, если бы ты не восхищалась своим отцом, если бы сказала, что он — глупый, унылый, нескладный человек. Это значило бы, что у меня дурной вкус; готова была без разбору влюбиться в первого, кто попался под руку.

— Хм... я что-то не совсем поняла, что ты имеешь в виду. Хотя... В прошлом году Бьянка справляла свой день рождения. Она надела новое платье и выглядела очень гордой и довольной, а девочки посоветовали ей это платье больше никогда не надевать, потому что оно, по их мнению, выглядит нелепо. Бьянка с ними не спорила, а потом я нашла её на балконе. Она забилась в угол и горько плакала. Она тогда говорила то же самое, что и ты сейчас: «Дело не в платье — оно мне всё равно нравится, что бы они все ни говорили. Обидно, что они считают, у них есть вкус, а у меня нет. Думают, я готова надеть на себя что попало». Я правильно тебя поняла?

— Правильно, дочка. Когда ругают твой выбор — обидно и за себя, и за человека, которого ты выбрал. Люби и восхищайся своим папой — он этого заслуживает.

— Мам, знаешь, чего я боюсь. Я никогда не смогу влюбиться, потому что всех буду сравнивать с ним.

Опять я узнаю себя в своей дочери: у одного кавалера были потные руки, другой слишком громко сопел. Они все были нехороши лишь тем, что не походили на Филиппа. Мы сидели на скамейке, тесно прижавшись друг к другу.

— Не печалься раньше времени. Я, как и ты, восхищалась своим отцом. Знаешь, как я замирала от восторга, когда он взмывал в прыжке вместе с лошадью и натянутой струной парил в воздухе. Тоже думала — лучше не бывает, а потом оказалось — бывает. Подожди пару лет, и тебе обязательно повезёт.

— Спасибо, мамочка. Ты очень хорошая.

Франки положила голову мне на плечо и уткнулась носом в шею. Неужели она нюхает меня, как я когда-то свою маму?

Обняв её за плечи и прижав к себе, прошептала на ухо:

— Ну и как я пахну?

— Чудесно. Я с детства люблю твой запах. А знаешь, — Франческа слегка отстранилась от меня, — теперь это наш общий тайник. Я имею в виду, теперь он хранит наши общие тайны.

Чмокнув меня в щеку, дочка снова уткнула нос в мою шею.

Я перебирала пальцами её волосы, разглаживала, а потом опять собирала в тугую пружинку послушный локон, и умирала от стыда. Это действительно ужасно, но мои отношения с самыми любимыми людьми построены на лжи. За последние полчаса я нагала дочери дважды. Первый раз — про маму, которую, якобы, не помню. На самом деле я не только помню, но люблю и тоскую по ней до сих пор. Вторая ложь ещё отвратительнее. Она давала девочке надежду, которой, скорее всего, не суждено осуществиться. У меня был не один отец, а два, и я не обожествляла ни одного из них. Оба вызвали противоречивые чувства — от непримиримого осуждения до благодарности и нежности. Оба были сильными, неординарными личностями и оба — не безгрешны, поэтому мне не сложно было влюбиться в Филиппа, в котором не видела тогда ни единого изъяна. Да прости меня бог за эту, далеко не святую ложь!

Неделю спустя мы начали готовиться к отъезду. Мне осталось выполнить лишь последнюю бабушкину просьбу — позаботиться о доме у моря. Я попросила папу провести со мной пару часов. Младшие дети хотели во что бы то ни стало ехать с нами. Франки, заговорщически посмотрев мне в глаза, выступила с очередной инициативой:

— У меня другая идея. Очень даже хорошо, если мама и дед уедут из дома на пару часов. Ведь мы с тётёй Норой хотели приготовить для них сюрприз. Правда?

Громкоголосая команда с восторгом откликнулась на это предложение, и нам с папой было позволено уехать вдвоём.

Я долго размышляла, прежде чем приняла это решение — передать дом на папино попечение. Кто знает, когда судьба снова занесёт меня в эти места. Старые стены не выдержат одиночества и рухнут.

Мы брели, подбирая красиво отточенные камни и ракушки. На этот раз меня не интересовали отношения берега с морем. Бурлят и мечутся тоже не от хорошей жизни. Откуда мне знать кто из них прав, а кто виноват? Пусть разбираются сами.

Я привела отца в свой дом, коротко и деловито рассказала его историю и свою просьбу. Он молча взял запасной ключ и положил в карман сюртука. На обратном пути он не произнёс ни слова, и только, выходя из кареты, бросил короткое:

— Дочка, я буду молить бога, что бы тебе никогда не понадобилось это убежище от отчаяния и одиночества.

Пару дней спустя мы с Элеонор пришли в бабушкину комнату. Не в спальню, где она провела последние месяцы, а в личную маленькую гостиную с уютным креслом, любимыми книгами, корзинкой с нитками и незаконченными вышивками, секретером, за которым она писала многочисленные письма и портретом мамы, сопровождавшим её жизнь долгие годы.

Наконец мы собрались с силами разобрать бабушкины личные вещи. Её короткое завещание было давно открыто и прочитано. Дом и ценные бумаги на небольшую сумму денег, каким-то чудом выжившие вопреки революциям и потрясениям, она завещала сыну. Часть из них он должен был выделить внукам по достижении совершеннолетия — девочкам на приданое, Мигелю — на образование. Самое ценное — фамильные украшения — она завещала нам с Элеонор, велев поделить их по справедливости и по собственному вкусу.

Мы не спеша разбирали её письма, счета и десятки маленьких клочков бумаги, на которых она делала пометки, не надеясь на стареющую память: в такой-то день заплатить портному и булочнику, поздравить подругу с днём ангела, а экономку — с днём рожденья.

Делёжка украшений продолжалась долго и комично. Мы жеманничали и соревновались в благородстве:

— Елена, выбери, что тебе нравится, а я возьму остальное.

— Ну зачем, так не годится. У тебя вкус изысканный, абы что не наденешь. Будут лежать без дела и пылиться. Лучше выбери то, что и вправду будешь носить.

Мы перекладывали кольца, серьги, колъе и брошки из одной кучки в другую, десятки раз переспрашивая друг друга: «А может все же ты хочешь это взять себе?», — и только после десятого «нет» вещь занимала своё окончательное место либо в правой шкатулке, либо в левой. Мы бы никогда не справились с этой задачей, не приди нам на помощь Франческа и Мария. Девочки подключились к делёжке со всей серьёзностью. Мария решительно подкладывала «особые ценности» в шкатулку Элеонор, а Франческа, ревниво оценивая содержимое моей доли, старалась «спасти» их для меня. Напряжение между сёстрами приближалось к критической точке. Положение спасла Элеонор. Какая она всё же умница! Я бы до такого решения не додумалась. Тревожно наблюдая за растущим раздражением Франки, она в какой-то момент прикрыла руками обе шкатулки и задумчиво произнесла:

— А что мы собственно делим? У нас обеих достаточно своего добра. Пусть это будет «подарочным фондом». Наши девочки почти взрослые и скоро им понадобится много красивых вещей. Вот мы и будем делать им подарки из этих шкатулок. Все согласны?

Решение и в самом деле было гениальным. Страсти улеглись, и час спустя, два, до верху наполненные сокровищами сундучка заняли свои почётные места в секрете.

Вечером перед сном совершался ритуальный обход детских спален. Прощаясь на ночь, мы обсуждали с каждым по очереди основные события дня. Первой была Франки. Целуя её гладкую, упругую щёку, я спросила:

— Почему ты так разнервничалась, деля украшения?

— А почему эта глупая Мария подкладывала всё лучшее тёте Норе?

— А почему это плохо?

— Потому что... во-первых, ты ещё молодая, а она уже старая. Тебе они нужнее.

— А во-вторых?

— А во-вторых... нас ведь трое, а она одна. Нам полагается больше.

— А почему трое, а не четверо?

— Ты имеешь в виду Мигеля? Но ведь, он же мужчина. Представляю себе картинку: Мигель с бриллиантовыми серьгами в ушах и таком же колъе на шее. Вот смеху было бы.

— А зачем ему всё это надевать на себя? Женится когда-нибудь и подарит свою долю жене, — продолжала провоцировать я.

Такая перспектива переделки семейного имущества моей дочери явно не понравилась.

— А зачем ему брать то, что принадлежит семье? Он у нас умный, а значит, есть надежда, что станет богатым. Вот пусть и покупает жене украшения на свои деньги.

На несколько минут я буквально онемела от её аргументов. Боже, какой расчётливой и эгоистичной стала моя старшая дочь! Сидела на краю её кровати и не знала, что ответить.

— Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, — в голосе Франки звучали слёзы, — ты думаешь, что я очень злая и жадная, но это не так. Просто, бабушкины украшения — это семейная реликвия, и они должны остаться в семье. А если их заберёт тётя Нора, они исчезнут. Она может их продать или завещать своим племянницам. Ведь у неё две племянницы от старшей сестры. Она сама нам рассказывала. И тогда все эти вещи навсегда уйдут к чужим людям.

В голове кружилось одновременно три картины: Мигель, обвешанный топазами и рубинами, племянницы Элеонор, которых она видела всего два-три раза в жизни, её тонкие руки, прикрывающие шкатулки и...

— Франки, а ты обратила внимание, как тётя Нора начала своё предложение не делить украшений? Она сказала: «**Наши** девочки стали уже совсем взрослыми...». Вы с Марией для неё «наши девочки». Мы её семья, и другой у неё нет. Поняла?

— Да, да, ты всегда права, а я для тебя всегда недостаточно благородна. Спокойной ночи.

Франческа накрылась с головой одеялом и отвернулась к стене.

Я молча вышла из комнаты. На душе остался противный осадок. Чего ей не хватает в этой жизни? Откуда в ней столько злости?

Откинув в сторону мысли о Франческе, я постучалась в комнату Марии. Она явно с нетерпением ждала моего прихода.

— Мамочка, наконец ты пришла, а то я жду и жду. Думала, ты сегодня про меня совсем забыла.

— Что-нибудь случилось?

— Да, вот лежу и мучаюсь... насчёт сегодняшней делёжки украшений. Думала, ты на меня обиделась.

— За что я могла обидеться?

— Ну что я всё время их тётя Норе подкладывала, а не тебе.

— А почему ты их ей подкладывала?

— Понимаешь, — Мария вытянула вперёд ручки ладонями вверх. Это был мой жест, когда хотела объяснить что-то важное, — у тебя есть мы, и скоро мы все вместе уедем домой, а она останется одна. Ну не одна конечно, с дедушкой, но он постоянно занят своими делами, и она всё равно, что одна. Понимаешь? Я подумала, пусть ей останутся хотя бы украшения. Ты на меня обиделась?

Я притянула Мариину пушистую головку к себе, поцеловала в обе щёки и в нос и прошептала на ушко:

— Милая, родная моя девочка, разве можно обижаться за доброту и понимание? Ты — просто чудо. Маленькая, а так всё понимаешь и чувствуешь. Спи спокойно. Пусть тебе приснится что-нибудь большое и тёплое.

— Спокойной ночи, мамочка. А тебе пусть приснится что-нибудь сочное и вкусное.

Мария юркнула под одеяло и закрыла глаза, а я отправилась к Мигелю. Это посещение всегда оставляла «на закуску» — самый последний, лакомый кусочек.

— Ну а ты как провёл сегодняшний день?

— Собирал информацию. Доверенные лица донесли, что в доме какое-то имущество делили...

— Ну да, было такое мероприятие. Ну и что рассказали об этом «доверенные лица»?

— Из достоверных источников стало известно, что две молодые барышни чуть не передрались из-за пары колец.

— Ну а конец истории тоже был достаточно хорошо освещён достоверными источниками?

В глазах Мигеля плясали чёртики. Он явно насмеялся над сёстрами и их, с его точки зрения, мелочными проблемами.

— Ну да. Великая дипломатка, тётя Нора, нашла гениальное решение — дарить передравшимся барышням семейные реликвии по очереди.

— Почему только барышням? А себя ты исключаешь из списка претендентов?

— Хм. Хороший вопрос...

На его ночном столике лежала раскрытая книга «Тысяча и одна ночь». Когда-то я прочла её от корки до корки, любясь романтичными картинками восточных пейзажей и султановых наложниц, обвешанных с головы до ног немислимыми драгоценностями.

— Ну и что ты хотела бы мне подарить из семейных реликвий?

— Ну, хотя бы нечто такое, — я ткнула пальцем в огромную брильянтовую диадему, украшавшую лоб одной из наложниц.

Мигель взял в руки книгу, изучая моё предложение:

— А что? Неплохо, только, пожалуйста, в комплекте с лошастью.

— А почему с лошастью?

— Ну не себя же мне это навешивать?

Я фыркнула.

— А зачем на лошадь? Женишься когда-нибудь, жене и подаришь, — взаимная провокация набирала обороты.

Мигель продолжал задумчиво перелистывать книгу:

— Знаешь, я вообще не понимаю этого дурака султана. Если во дворце столько места пустует — зачем селить туда толпу бесполезных, склочных баб. Уж лучше бы сделал вместо гарема хорошую конюшню. Больше толку было бы.

— И все эти финтифлюшки, — я опять указала на диадему, — на лошадей развесить?

— Вот! Наконец, начала правильно мыслить.

— А что твои сёстры на это скажут?

— Что касается моих сестёр... А знаешь, мам, может их отправить в гарем на перевоспитание? Главное, объяснить, что там эти штучки выдают не сразу, а в качестве орденов за хорошее поведение.

— А список правил «хорошего поведения в гареме» прилагается?

— Да. И первым пунктом стоит: «не визжать попусту, двигаться тихо и незаметно, никому не делать замечаний и не давать советов». Вот.

— А что, мне твоя идея понравилась. Вы отправитесь в гарем все втроём. Тебе тоже не помешает пройти двухгодичную стажировку, и в первую очередь это касается полезных советов.

— Вот и поговори с тобой после этого. Всегда всё против меня обернёшь.

Похихикав ещё пару минут, мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я отправилась к себе. Поцелуев на ночь этот маленький мужчина не признавал.

Как всё же с ним хорошо! Мой чудесный, умный, весёлый дружок.

На следующий день мы с Элеонор опять встретились в бабушкиной комнате. Памятуя склоку, разыгравшуюся при делёжке украшений, мы решили больше не рисковать; рассортировать платья по размеру и цвету и подарить каждой из женской прислуги персонально. Оказалось, бабушка, пятнадцать лет назад статная и даже слегка полноватая, с годами медленно, но неуклонно усыхала, поэтому в её гардеробе можно было найти одежду на все размеры. Старые вполне подходили пожилой кухарке, а последние — молоденькой худенькой горничной. Мы перебирали веера, перчатки, шали и шляпы, среди которых попадались такие симпатичные, что, смущённо посмотрев друг на друга, мы откладывали их в сторону, намереваясь оставить себе.

— Смотри, Элеонор, что за чудо эта белая кружевная накидка! А к ней — великолепная бордовая шляпа... и перчатки такие же.

Я надела на голову дивную широкополую шляпу, набросила на плечи бабушкины кружева и повернулась к Элеонор. Она подняла на меня смеющиеся глаза и... лицо её, за секунду до этого беззаботное и расслабленное, напряглось и остекленело.

— Стой так. Не двигайся. Подними слегка голову... а теперь замри. Я сейчас вернусь.

Через минуту она примчалась обратно, таща в руках большое настенное зеркало.

— Вот. Смотри сюда... да не поворачивай голову... стой, как стояла.

Я посмотрела в зеркало. Мой профиль находился как раз на уровне портрета прабабушки и оба лица, её и мое, были абсолютно одинаковыми. До мелочей, до родинки на левой щеке недалеко от носа. И одета я была в этот момент, как она.

— Постой так ещё минутку, я сбегая за отцом, — прокричала убегающая Элеонор, и дом огласился её топотом и призывными криками, — Мигель, Мигель, иди скорее сюда, скорее... скорее!

Первым на её призыв влетел в комнату Мигель-младший, и оторопело уставился на меня:

— Ну и на что я здесь должен смотреть? На маму в шляпе и кружевной занавеске?

Вслед за ним, не успев затормозить на пороге, скользили по натёртому паркету перепуганные девочки, отталкивая друг друга и ошалело озираясь по сторонам. Наконец Элеонор буквально втащила за руку упирившегося мужа.

— Смотри, действительно одно лицо. Я впервые заметила, что Елена похожа на неё как две капли воды. Как будто портрет с неё писали!

Отец остановился посередине комнаты, с любопытством разглядывая нас с портретом.

— Да, действительно, забавно. Я тоже не замечал раньше этого сходства, — и, повернувшись к жене, удивлённо спросил, — а чего ты, собственно, так распаниковалась? Что здесь особенного, родственники всё же, хоть и дальние?

Бедняга, смущённо потирая раскрасневшиеся щёки, виновато оправдывалась:

— Да сама не знаю, что на меня нашло. Увидела два одинаковых лица и испугалась... Не знаю... Уж больно они одинаковые.

Отец продолжал разглядывать меня на фоне прабабушки.

— А знаете, барышни, у меня родилась идея. Елена, если ты согласна задержаться здесь ещё на недельку, я приглашу одного молодого, начинающего портретиста, и он нарисует тебя в этом одеянии и в этой позе. Тогда у нас будет две одинаковые картины. Одну из них ты заберёшь с собой, а другая останется у нас. Согласна?

— Согласна, только художник не должен видеть старого портрета, а то скопирует и будет не интересно. Мы сравним их, когда всё будет готово. Ладно?

— Неплохая идея. Так тому и быть!

Через два дня появился художник. Папа поставил меня в заранее подготовленную позу, поместив на голову старую бабушкину шляпу и задрапировав плечи белой кружевной шалью.

— Вот так Вы должны нарисовать мою дочь.

Ещё раз критически осмотрев модель, скомандовал:

— Голову чуть выше подними. Да не задирай так высоко, только подбородок немножко вскинь... так подойдёт.

Молодой художник попробовал проявить творческую инициативу:

— А может, шаль слегка приспустим с плеча? Так образ будет живее и романтичнее?

— Шаль приспускать не будем. Останется там, куда я её положил, — отец начал понемногу злиться.

Художник ходил вокруг меня кругами, прищуривал глаза, откидывал назад длинные волосы... и не сдавался. Ему хотелось выглядеть настоящим профессионалом.

— Но может лишь слегка... шейку приоткрыть. Знаете, тут важен переход не только цвета, но и объёма. Понимаете, что я имею в виду?

— Понимаю, но шеи не надо. Пишите, как я её поставил. Без шеи.

Я не решалась смотреть на отца. Если мы встретимся глазами, то одновременно взорвёмся от смеха.

— Да конечно, — не унимался творец, — но даже Мадонны Рафаэля и Леонардо да Винчи не стеснялись показывать шейки, а это когда было... Средневековье...

— Так, — я чувствовала, что отец окончательно увлёкся ролью старого идиота, — на то они и Мадонны, чтобы не стесняться, а *моей* дочери шея не нужна. Как я её поставил, пусть так и стоит.

Художник тяжело вздохнул и принялся за работу.

Как отец решил, так и вышло. Через неделю ежедневного пятичасового сиденья с поднятой головой я действительно осталась без шеи. Вернее она была, только не моя, а занемевше-деревянная. Ну и тяжкая же это работа сидеть портретной моделью!

Картина, добротная и правильная, была почти готова. Поддавшись сиюминутному импульсу, я обратилась к молодому человеку с личной просьбой.

— Сделайте мне, пожалуйста, с неё маленькую копию, чуть больше медальона, размером с ладонь. Я заплачу за это отдельно.

Художник заговорщически посмотрел на меня:

— Сеньора, ведь копия может чуть-чуть отличаться от оригинала, не правда ли? Может, на копии всё же слегка приоткроем шейку?

— Нет. Папа сказал без шеи, значит, без шеи.

Неделю спустя, когда работа была закончена, папа попросил художника перенести картину в соседнюю, бабушкину комнату и поставить у стены.

Молодой человек долго и озадаченно смотрел на два одинаковых портрета, а потом недоверчиво спросил:

— А Вы их что, коллекционируете?

Отец, сжалившись над растерявшимся художником, чистосердечно сознался в неумышленном розыгрыше и, объяснив ситуацию, искренне похвалив написанный им портрет.

Маэстро, всё ещё сравнивавший стоявшие перед ним картины, довольно расплылся в широкой мальчишеской улыбке и, слегка замявшись, отдал предпочтение своей:

— Моя «Дама в шляпе» всё же жизнерадостнее, живее. Первая уж больно мрачна и... я бы сказал... безнадежно погружена в свои мысли. Да, так оно и есть. Лица у них похожи, но люди-то они разные. Вы знали свою бабушку? — он обратился к отцу, всё ещё не отрывая взгляда от обоих портретов.

— В основном только по рассказам моей матери, а она видела сходство не только в лицах правнучки и прабабушки, но и в характерах. Почему-то эта повторяемость казалась ей особенно важной и интересной.

— Да, многие из моих соратников по кисти, часто пишущие семейные портреты, рассказывают об этой повторяемости, причём, не только внешности, но и прожитых жизней. Мне лично не хочется в это верить... не хотелось бы повторить жизнь моего прадедушки.

Я, желая прекратить неприятный мне разговор, обратилась к художнику с шутливым предложением:

— Достаточно найти лишь некоторое, чуть заметное отличие собственного носа и уха от соответствующих частей тела похожих на нас предков, и шанс прожить совершенно другую жизнь гарантирован. Может спустить эту родинку на щеке чуть пониже?

Художник, сранивая положение родинок на правых щеках обеих « Дам в шляпах», безнадежно взмахнул рукой:

— Не поможет. Подделкой судьбу не перехитришь. Будем надеяться, что у Вашей предшественницы было ещё что-то, чего у Вас нет. Например, ещё одна маленькая родинка на левой щеке, которую мы, при таком повороте головы просто не видим. Вот Вам и шанс.

Мигель подошёл вплотную ко мне, внимательно приглядываясь к правой руке:

— А я уже нашёл одно отличие. У неё на третьем пальце кольцо, а у тебя — на четвёртом. Так что бояться нечего.

Вот и все. Я дописываю последние строки. Вещи уже собраны и погружены в карету. Через два часа, после завтрака, мы возвращаемся в Мадрид. Осталась только последняя мелочь — сбежать от детей на полчаса в парк и закопать дневник под корнями двустовольного дерева. Прощай, хранилище моих тайн, до следующего приезда.

Глава 17

Последний раз я открывала этот дневник пятнадцать лет тому назад. Долгие годы в нём не было особой надобности, а потом, когда она опять появилась, — он был недоступен.

Сейчас моя жизнь зашла в полный тупик, и выхода из него я не вижу. Выхода нет, а время есть. Время восстановить в памяти основные события, которые, складываясь в непрерывную причудливую цепочку, привели меня туда, куда я вовсе не стремилась.

Мои дочери, взрослые самостоятельные женщины, давно замужем. Первой вышла замуж Франческа. Ей едва исполнилось семнадцать, когда она, забыв свои детские страхи никогда не найти мужчину хотя бы отдалённо напоминающего её отца, была наповал сражена обаятельным, подвижным, неглупым молодым французом из хорошей семьи и, что немаловажно, владевшим неплохим состоянием.

За неделю до свадьбы Франки, прокравшись вечером в мою комнату, заговорщически прижалась к плечу и прошептала на ухо:

— Мамочка, спасибо. Ты выполнила своё обещание!

— Какое именно? Ты имеешь в виду бабушкины украшения?

— Да причём здесь это! Помнишь, тогда, в нашем тайнике... Ты обещала, что я обязательно встречу мужчину не хуже папы и влюблюсь в него. Вот ты своё обещание и выполнила.

Я рассмеялась, тронутая этими воспоминаниями. Надо же, четыре года прошло с тех пор, а она не забыла.

— А я тут не при чём. Это тайник. Он не только хранит чужие тайны, но и выполняет тайные желания. Главное — ему доверять.

— Ладно, ты, сказочница. Скажи лучше, какое платье наденешь на мою свадьбу?

— Не скажу. Это тайна, но платье будет с секретом.

Я заранее решила заказать наряд, к которому подойдёт бабушкина агатовая брошка.

Она с умыслом надела именно эту брошку на мою свадьбу, желая мне спокойной, серебристо-голубой жизни, и её пожелание сбылось. Во всяком случае, тогда я ещё верила, что сбылось. Того же самого я хотела молчаливо пожелать своей дочери.

Сразу после свадьбы Франческа с мужем уехала в Париж.

Три года спустя вышла замуж Мария. Она тоже выходила замуж по любви, но любви какой-то странной, скорее похожей на жалость или превратно понятое чувство долга. За ней начал очень интенсивно ухаживать вдовец, лет на пятнадцать её старше. Он был, по сути, очень приятным, мягким, добрым человеком. Раненный в одной из многочисленных войн в ногу, сильно прихрамывал, скрывая этот недостаток особой медлительной походкой. Во время танцев влюблённый садился в кресло и восхищенно наблюдал за тоненькой, лёгкой Марией, порхающей по залу, слившейся воедино с музыкой и движением.

Вдовец не искал хорошего приданного, он сам был достаточно богат и знатен. Ему нужна была только Мария, её доброта, готовность принять и полюбить двух его дочерей, оставшихся без матери, и особая, невызывающая красота.

Вдовец ухаживал за ней бережно и нежно. Мария радостно принимала эти ухаживания, а я не могла понять, зачем ей, такой невообразимо прелестной и молодой, нужен этот потрёпанный жизнью пожилой мужчина. Наконец он сделал Марии предложение. Мы с Филиппом предоставили решение дочери, и она ответила радостным согласием.

Вечером, после помолвки, разведя руки ладонями вверх, как она это делала с самого детства, Мария попыталась объяснить свои чувства:

Понимаешь, мама, у молодых мужчин вся жизнь впереди. Сейчас все они такие уверенные в себе и в своём непременном успехе. Каждый считает, что станет чем-то вроде Наполеона. А знаешь, какими они будут через десять лет? А я знаю — они станут злыми и разочарованными. А *он...* он прожил уже полжизни и остался добрым, нежным и любящим. И потом... *он...* такой одинокий и не очень-то счастливый.

Я вспомнила, как Мария подкладывала украшения в шкатулку Элеонор. Тогда она тоже хотела доставить радость тому, кто больше в ней нуждался. Ну что ж тут скажешь?

Доченька, но откуда в тебе столько мудрости? Откуда ты знаешь о юных мечтателях, становящихся к старости разочарованными и злыми? Неужели ты, как и я, чувствовала, что происходило в нашем доме последние годы? Не только чувствовала, но и понимала истинный, скрытый от посторонних глаз смысл происходящего?

А происходило у нас вот что. Филипп... да всё дело было в нём. В 1833 году умер король Фердинанд. Королевой стала его двухлетняя дочь Изабелла. Естественно, до совершеннолетия Изабеллы страной правила её мать, четвёртая жена Фердинанда, Мария Кристина. Брат умершего короля, Карлос Мария Изидро де Бурбон, рассчитывавший на испанский трон, снова втянул страну в гражданскую войну. Королева-мать нашла опору против «карлистов», объединившись с так называемой либеральной партией, к которой принадлежал в те годы Филипп.

Мой бедный муж, считавший политику делом своей жизни, к тому времени полностью в ней разочаровался. Вечерами, сидя за бутылкой вина, он часами рассказывал о бесконечных интригах между правыми руками Королевы-матери. Каждая «рука» пыталась скомпрометировать и подставить другую, доказывая регентше свою особую верность и преданность. Никому не хотелось влиять ни на ход истории, ни на прогрессивное развитие Испании. Все стремились влиять только на королеву.

Филипп был достаточно умён, чтобы не понимать бессмысленности происходящего, но выйти из игры и уйти в отставку не хватало мужества. Вставал не только вопрос о смысле дальнейшей жизни, но и семейных финансах. Свадьбы дочерей и, соответствующее нашему статусу, приданое, изрядно растрепали семейное состояние. Когда-то изрядный годовой доход сократился в последние военные годы до нищенских подачек. Наша семейная касса была так же пуста, как и королевская казна.

Первые годы у него ещё хватало чувства юмора, чтобы не приходить в мрачное отчаяние, но потом и оно иссякло. Он начал подолгу исчезать, ссылаясь на деловые поручения, требующие его присутствия в Париже, в Марселе, или ещё где-нибудь подальше от дома.

Еще пару лет назад мы могли часами болтать о чём угодно, перемежая серьёзные разговоры шутками, внимательно и с интересом выслушивая и обсуждая мнения и доводы друг друга. Странно, но вдвоём никогда не было скучно. Часто казалось, что катастрофически не хватает времени, что бы вдосталь наговориться, а сейчас... Каждое, самое безобидное высказывание вызывало его раздражённый окрик. Теперь я всегда была некомпетентна, упряма, злопамятна, эгоистична и глупа. Казалось, во мне не осталось ни единой черты, вызывающей у него интерес и симпатию. Любая мелочь вызывала раздражение и протест:

— Я знаю, почему ты так сказала. Ты всё время пытаешься доказать, что лучше и умнее меня... Твоё тщеславие не имеет границ. Чтобы выделиться, ты готова, как безмозглый осёл, пробивать головой стенку.

Первые пару лет я, страдая и обижаясь, пыталась объяснять ему истинные мотивы моих действий или смысл брошенной на ходу шутки, но... даже не дослушав объяснений до конца, Филипп разворачивался на каблуках и, громко хлопнув дверью, покидал комнату. Казалось, он задался целью меня окончательно разрушить и уничтожить.

И опять, как во времена Шанталь, я отошла от него на дистанцию, замкнулась на себе и на детях, надеясь переждать, перетерпеть новый сложный период, но дистанция бесила его ещё больше, чем моё присутствие. Я превратилась для Филиппа в жизненно необходимого козла отпущения.

Однажды, читая какую-то умную книгу по философии, я наткнулась на абсолютно точное описание действий моего мужа. Автор рассуждал о различном поведении людей в состоянии жизненного кризиса. Одни пытаются разобраться с собой, найти для себя новые ценности, новый объект самореализации и самоутверждения, другие... А другие вместо того, что бы заниматься собой, выбирают себе врага и посвящают остаток жизни его уничтожению. И тут их фантазия не имеет границ. Главное победить, не там, так здесь. К сожалению, Филипп пошёл по второму пути, и, похоже, именно это заметила, или интуитивно почувствовала Мария, отказавшись связывать свою жизнь с молодыми, честолюбивыми, уверенными в своей исключительности мужчинами.

С отъездом дочерей Филипп совсем увял. наших девочек можно, не кривя душой, назвать лёгкими детьми. Их не нужно было, как меня, силком обучать светским манерам — манеры родились вместе с ними. Все женские познания — музыка, танцы, иностранные языки, рукоделие и искусство впитывались ими с радостью и лёгкостью. Отец был их кумиром, и Филипп таял в лучах этого беспредельного восхищения. Гораздо сложнее было с Мигелем. Он, в отличие от сестёр, относился к отцу весьма критично. Филипп планировал для него блестящее будущее и злился, что сын не проявляет интереса ни к политике, ни к военной карьере.

— Не понимаю, чем он собирается заниматься в будущем? Или хочет превратиться в светского бездельника и лоботряса? У него же прекрасная голова. Он мог бы стать блестящим дипломатом или военным стратегом, с лёгкостью придумывающим новые, совершенно неожиданные ходы, а он... Это всё твоя вина. Распустила, превратила в «маменькиного сыночка»...

Да, что касается головы, Филипп был совершенно прав. Мне вспоминаются наши первые занятия математикой. Мигель попросил помочь с решением задачи. Я решила её первым, пришедшим в голову, способом и объяснила последовательность действий. На следующий день, вернувшись от учителя, он выразил недовольство моей помощью:

— Учитель сказал, что ответ правильный, а решение нет. Такие задачи нужно решать по заранее заданной схеме, в пять ходов, а у тебя только четыре.

Когда-то мой старший брат, «золотая голова», учил совсем иначе. Он считал самым лучшим решением — самое короткое. Давая мне задачку, всегда говорил:

— Её можно решить тремя способами: в четыре хода, в три и в два. Иди и ищи все эти решения, но знай: самый короткий — всегда самый изящный, а значит и самый лучший.

Я не стала называть сыну имя моего первого учителя, но предложила игру — мы оба, независимо друг от друга, решаем его задачи, и выигрывает тот, кто нашёл больше возможных решений, а также — самое короткое.

Мигель не на шутку увлёкся игрой. Вначале чаще побеждала я, потом мы сравнялись, а пару лет спустя мне было его уже не догнать. Наблюдая за сыном, я всё чаще задавала себе крамольный вопрос: от кого из родственников он унаследовал свою «золотую» голову, и почему он в этом так похож на моего брата? Ювелир явно не был математиком, скорее романтиком и мечтателем, а мама никогда толком ничему не училась. Может кто-то из её родни передал по наследству сначала её сыну, а потом и моему этот ясный, изобретательный ум? А вот куда приложить его, я тоже не знала. Не в банкиры же ему идти! Вот уж совершенно не подобающая деятельность для испанского аристократа, графа Мигеля де Альвареса.

Блестяще закончив в пятнадцать лет домашнее образование, наш сын поступил в закрытый лицей для детей особо высокопоставленных лиц. Там обучали будущих государственных деятелей по специальной программе, в которую входило всё без исключения: риторика, дипломатия, военная стратегия, государственная экономика и история, философия, иностранные языки, литература и длинный список точных наук.

Иными словами — полный набор знаний обо всём и ни о чём конкретно.

Филипп считал такое образование дважды полезным: во-первых — блестящая подготовка к университету, а во-вторых — связи и дружбы, необходимые для будущей карьеры.

Что касается «будущей карьеры», то на этот счёт мнения отца и сына резко расходились. По непонятной мне причине, чем больше разочаровывался Филипп в выбранном им пути, тем настойчивей толкал на этот путь своего сына. Возможно, Мигель, в конце концов, и поддался бы этому давлению, если бы не «господин Случай».

Собственно с этого всё и началось. «Господин Случай» прислал к мадридскому двору американского коммерсанта-миллионера, мистера Джереми Паркера. Коммерсант был немолодым, долговязым и рыжеволосым. Всё в нём было каким-то нескладным: сутуловатые плечи, длинные, костлявые руки, заканчивающиеся широкими ладонями и резкие носогубные складки, удлинявшие и без того узкое, длинное лицо. Единственно, что примиряло постороннего зрителя с его внешностью, были большие, внимательные глаза тёплого орехового цвета.

Американец приехал в Мадрид по делам. Его, как и весь мир, интересовали наши порты, через которые можно самым коротким путём доставлять в Европу товары из южно-американских колоний. Днём он вёл бесконечные переговоры с ответственными лицами, а вечерами развлекал светское общество рассказами об Америке.

«Ответственные лица» по очереди приглашали эту заморскую диковину на званые вечера. Филипп, заполучил его одним из первых. После обеда, состоявшего из блюд традиционной испанской кухни, общество удобно расположилось в малом салоне, наслаждаясь десертом и коллекционным коньяком. Основной темой разговора были, конечно же, политика и экономика. Завладев всеобщим вниманием, коммерсант спокойно, без азарта и агрессии, проводил сравнение экономических позиций.

— Европа давно устарела и обленилась. Что делают ваши монархи, придя к власти и наскребя немножко денег? Они тут же строят новый дворец или очередной бельведер. В Европе от них уже ступить некуда. Причем ремонтировать всю эту роскошь не на что, да и незачем. Лучше что-нибудь новенькое построить.

— А во что вкладывают деньги деловые американцы?

— Мы, деловые люди, вкладываем деньги в производство, в товары, в образование, во всё, что приносит новые деньги.

— Но мы, европейцы, в конце концов, строим культурные ценности, которые значительно важнее для будущих поколений, чем ваши товары.

— Да сколько их можно строить, этих ценностей? Нужно строить богатое, сильное государство, а не бельведеры.

Комерсант спокойно сидел в кресле, согревая в большой, костлявой ладони хрупкую рюмочку с коньяком.

Я перевела глаза на Филиппа. Его рот вытянулся в тонкую, злую полоску — гость наступил на его больную мозоль. Он говорил о том, о чём мой муж мечтал в молодости. О том, чего он добивался на заседаниях кортесов, о том, для чего он бессмысленно служил двадцать лет своему слабому, безвольному королю. Я чувствовала, что каждый аргумент этого жилистого, уверенного в своей правоте человека, причиняет моему мужу боль. Столкнулись два смысла жизни — служить чужим интересам или творчески работать на себя и своё благосостояние.

Боковым зрением увидела лицо Мигеля, спрятавшегося в дальнем углу комнаты. Его щёки пылали от возбуждения, громадные, в приглушённом свете свечей тёмно-синие глаза поедали гостя с жадностью оголодавшего, нищего бродяги. Боюсь, мой сын нашел, наконец, смысл своей будущей жизни.

Гость вызывал у меня двоякое чувство. Разум соглашался, а чувства протестовали. Его доводы были просты и логичны. Зачем воевать друг с другом, убивать и калечить тысячи ни в чём не повинных людей? Только за тем, что бы на отвоёванном клочке земли построить новый дворец? Действительно глупо. Хотя это и не совсем так. В Европе строятся не только дворцы и бельведеры. Но не в них дело. Эти рассуждения причиняют боль Филиппу и сбивают с пути Мигеля, а я не хочу, что бы кто-то калечил жизнь близких мне людей. В конце концов, я только женщина и мне безразлично, что будет с Европой или с Америкой. Я хочу мира, прежде всего в своём доме. Пусть этот американец уезжает к себе на родину и живёт там так, как считает нужным. Тоже мне, противник культуры!

Следующий раз мы встретились неделю спустя на очередном званом ужине, совмещённом с небольшим камерным концертом. Гвоздём программы стал итальянский скрипач, игравший Паганини. Его скрипка выплетала из мелодий тончайшее кружево. То яростно чем-то возмущалась, то торжествовала свою правоту, то горевала, тихонько нашёптывая что-то мучительно-нежное из далёкого прошлого.

На минуту в поле зрения оказался долговязый коммерсант. Он сидел, ссутулившись больше обычного, закинув одну костлявую ногу на другую и полуприкрыв глаза. Рука чуть заметно дирижировала в такт мелодии. Было видно, он погрузился в неё без остатка. Губы раздвинулись в мечтательной, почти детской улыбке, приоткрыв ровные, крепкие зубы. Вот тебе и противник культуры, бездушная человеческая особь, пришедшая в этот мир с одной целью — плодить и размножать деньги.

После ужина он почему-то подсел ко мне, хотя желающих поговорить с ним о политике было предостаточно. Видать музыка отбила у него на сегодня охоту поучать экономически неграмотных европейцев.

Обычно мы все разговаривали с ним по-английски, но сегодня гость почему-то заговорил по-испански, хорошо заговорил, хотя несколько странно. Это был какой-то искусственный, тяжёлый, книжный язык. Набравшись смелости, я решила на несколько бестактный вопрос:

— Где Вы так хорошо выучились нашему языку?

— Дома, от родителей. Мои предки — выходцы из Испании. Они сбежали в Европу, а потом в Америку от испанской инквизиции. В течение двух сотен лет перемешались с самыми разными народами — англичанами, немцами, шотландцами, но почему-то именно испанский язык бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение.

Ореховые глаза вопросительно замерли на моём лице. Почему он так откровенно рассказывает о своём происхождении? Зачем ему это надо? Неужели он интуитивно почувствовал, что мы исходим из одного корня? Или он меня просто провоцирует?

За долгие годы светская жизнь научила в непонятных ситуациях отделяться общими фразами:

— Да, в этом смысле Америка замечательная страна. Похоже, каждый находит там своё место и не теряет при этом старых традиций.

Я хотела побыстрее отделаться несколькими вежливыми, ничего не значащими фразами и присоединиться к другой группе гостей, но Американец, не замечая моих намерений, продолжал информировать меня о беженцах, сохраняющих традиции своей бывшей родины:

— Да, Америка — страна эмигрантов, и мы стараемся не делать различий между религиями и национальностями. Деловые, умные люди имеют равные шансы встать на ноги и разбогатеть, а соблюдение старых традиций — это личное дело каждого.

Продолжать этот разговор у меня не было ни малейшей охоты. Задав несколько вежливых вопросов о климате и основных достопримечательностях Америки, я вежливо откланялась и присоединилась к группе дам, самозабвенно обсуждавших какие-то новые светские сплетни.

Все последующие дни в голове крутились мысли о странном коммерсante. Почему он обратился именно ко мне со своими откровениями? А вдруг он знаком с моей первой семьёй, с моим братом? Что, если еврейские эмигранты возвращаются в Америке к своей религии, поддерживают друг друга и опекают вновь прибывших? Америка — большая страна, но, как говорится, мир тесен. Ему, судя по всему, должно быть где-то за пятьдесят... как и моему брату...

Нет, этого не может быть... Даже если они и знали имя моего настоящего отца, то проследить за моей дальнейшей жизнью не могли, потому что покинули страну вскоре после моего отъезда. Никто не мог знать за кого я вышла замуж, где живу и как меня теперь зовут.

Эти мысли тревожили и бередили душу. А вдруг ювелир проследил мой дальнейший путь? А что, если они познакомились в эмиграции с Джереми Паркером и пытаются передать мне через него привет? Этот настойчивый ореховый взгляд по много раз на дню всплывал в моей памяти и тревожил её. Может, я слишком поторопилась? Продемонстрировав полное отсутствие интереса к его происхождению, оттолкнула протянутую руку, лишив себя возможности узнать что-то о своей семье и о маме. Временами я корила себя за трусость, временами хвалила за осторожность. Ведь это могла быть и провокация. Что если до конкурентов и недоброжелателей Филиппа дошли какие-то слухи и они решили проверить свои подозрения? Но каждый раз эти сомнения заканчивались чувством беспомощности и злости: почему фанатизм и алчность других людей вынуждает меня всю жизнь умирать от страха за своё происхождение? Я не склонна к жестокости, но иногда так хочется увидеть этих людей извивающимися от боли и ужаса на разведённом ими самими костре.

Постепенно мои страхи улеглись — мистер Паркер больше не пытался вступить со мной в беседы, выходящие за рамки обычной светской вежливости.

Некоторое время спустя Мигель вернулся из лицея с горящими от возбуждения глазами:

— Мам, знаешь, кто вел у нас сегодня занятие по экономике? Мистер Джереми Паркер. Его пригласил наш учитель по математике. Он привёл нам наглядный пример, зачем нужна математика современному человеку. Рассказал и привёл расчёты организации традиционного Торгового Дома по закупке, перевозке и доставке товаров. Например: что выгоднее — инвестировать деньги в организацию собственной системы доставки товаров из портов Испании во Францию, или заключить договор с уже существующей испанской или французской конторой. Тысяча нюансов, которые должен учитывать предприниматель: торговые пошлины для иностранного и местного транспорта, оплата своих или местных рабочих, закупка собственных лошадей и телег, или аренда таковых, у местных мелких предпринимателей. Страшно интересно! Большинство наших ребят отчаянно сучали, а я... Я не мог оторваться от его объяснений.

Мигель ещё долго объяснял мне экономические подробности расчётов. Я давно потеряла ориентацию в совершенно новой для меня материи, но одно было ясно — мой сын никогда не станет ни дипломатом, ни маршалом. Он рождён предпринимателем, как мой старший брат.

Закончив объяснения, Мигель вопросительно посмотрел не меня, ожидая, по-видимому, упрёков или иронии, а потом, слегка смутившись, попросил:

— Только ты не рассказывай об этом отцу. Он и так каждый раз злится, когда я говорю о математике или экономике. Ладно?

Он мог бы об этом и не просить. Я сама понимала, что Филиппу об этом знать не надо.

На следующий день мой муж сам заговорил о посещении мистером Паркером королевского лица.

— Представляешь, этот Американец заявился в лицей обучать наших юношей предпринимательству! Мерзавец!

— Почему мерзавец?

— Потому что это лицей для будущих государственных деятелей, а не торговцев. Зачем лезть со своими законами в чужую епархию? Наглый, дурно воспитанный еврей!

— Как еврей? Почему еврей?

— Потому что он еврей. Его еврейские предки сбежали лет двести тому назад из Испании, прихватив с собой изрядные капиталы. На нелегально вывезенные из страны деньги они организовали за границей собственные предприятия, которые с годами стали приносить миллионные доходы.

— Но откуда тебе это известно?

— А как ты думаешь, моя наивная жёнушка, если в страну приезжает иностранец и начинает заключать договоры на сумасшедшие деньги, мы не выясняем по нашим дипломатическим каналам, кто он, имеются ли у него на самом деле эти деньги или он просто залётный авантюрист? Мы раскопали о нём всё до четвёртого колена. Евреи, частично перемешавшиеся с англичанами, шотландцами и немцами, но в основном придерживающиеся своего собственного клана. Вот так то. А теперь он смеет появляться в высшем обществе и морочить голову нашей молодёжи! Пусть бы скорее убирался обратно и не нарывался зря на неприятности.

— А разве у него могут возникнуть здесь неприятности? Он ведь подданный Америки, а потом не настоящий еврей, а какая-то гремучая смесь?

— Смесь или не смесь... это не важно. Еврейская кровь очень ядовита. Если в жилы человека попадает хоть капля этой крови — он отравлен навсегда. И не только он, но и все его потомки во многих поколениях.

Бедный Филипп, если бы он только знал, что за кровь течёт в жилах его детей! Боюсь, он убил бы их собственными руками.

Наконец незванный гость, мистер Джереми Паркер, закончил свою подготовительную миссию и убрался восвояси, оставив после себя длинный шлейф пересудов и вполне обоснованных догадок. К моему огорчению, а может, и к радости, он не распрощался с нами окончательно, так как планировал регулярно навещать и контролировать своё новорождённое детище. В этом коммерсанте было что-то одновременно раздражавшее и притягивающее. Был ли это зов крови, или просто накопившаяся с годами усталость? Столько лет подряд поддерживать Филиппа в его борьбе с «ветряными мельницами»!

Полгода спустя Мигель закончил лицей. Отзывы преподавателей были обнадеживающими: усердный, способный к самостоятельному мышлению, серьёзно и глубоко вникающий в любую лицейскую науку с одной стороны, но несколько замкнутый и осторожный в общении — с другой. Иными словами ни в том, ни в другом не похожий на отца.

В доме опять поселилось напряжение: что делать с ним дальше? Однажды, воспользовавшись отсутствием отца, сын попросил меня о помощи:

— Мам, ты могла бы поговорить с папой, что бы он оставил меня в покое со своей дипломатией и генеральством? Я не хочу заниматься ни тем, ни другим. Это всё не моё.

— Поговорить я, конечно, могла бы, но навредила бы тебе этим больше, чем помогла. Ты ведь сам видишь, что каждый мой совет, или просто высказанное суждение вызывают у него раздражение. Я только испорчу дело. Ты должен поговорить с ним сам. Как мужчина с женщиной.

— Но я не знаю, что ещё можно сказать, что бы его убедить.

— Я думаю так: твоему отцу важно, что бы ты продолжил славные традиции семьи — служение королеве и отечеству. Но королеве нужны не только талантливые министры внешней и внутренней политики, но и не менее талантливые министры финансов и торговли. Ты должен отцу чётко объяснить, что твоё представление о будущей жизни, полностью совпадает с его. Важно — честная и преданная служба, а кем... главное, что бы она пошла на пользу отечеству и послужила дальнейшему процветанию рода Альваресов, что для твоего отца особенно важно, ведь ты у нас единственный сын. Считай это своим первым практическим заданием. Полагаю, умение убеждать так же необходимо в твоей будущей деятельности, как и на политической сцене.

На третий день после этого разговора Филипп с гордостью объявил, что сын, наконец, повзрослел и взялся за ум, то есть решил посвятить себя государственной службе. Для дальнейшего образования он отправится в Англию, имеющую многовековой торговый опыт и чётко сложившиеся традиции. Хитро посмотрев на меня, муж добавил:

— Это вдвойне пойдёт мальчику на пользу. Хватит сидеть у маминой юбки. Женское воспитание и так причинило много вреда. Лучше бы ты в своё время больше заботилась о дочерях.

Подобные замечания стали нашим каждодневным способом общения. Они раздражали, как зимняя промозглая погода, но давно перестали причинять боль.

С отъездом Мигеля дом опустел. Только теперь я поняла, почему только с ним мне было по-настоящему тепло и легко. В глазах сына почти всегда читалось одобрение и признание моей личности. Он мог иронизировать над моими отдельными слабостями или причудами, полушутя называть глупой и неумелой, опекать по мелочам и по крупному, но главное — рядом с ним было приятно чувствовать себя слабой. Его опека не унижала, потому что он опекал любя. Так, во всяком случае, мне казалось. А теперь я осталась совсем одна. Не одна конечно. В дальних комнатах нашего, ставшего непомерно большим особняка, скрывался вечно недовольный собой и жизнью Филипп.

Разумом я понимала его состояние, но чувства... Боже! Ведь я едва перешагнула за сорок. Фигура, несмотря на троих детей, каким-то чудом сохранила лёгкую стройность, волосы даже не начали седеть, а небольшие морщинки вокруг глаз и губ были заметны только при ярком солнечном свете. Мне всё ещё хотелось танцевать, растрепав волосы на ветру, мчаться верхом на лошади, а по вечерам, да прости меня господи за эту вольность, уплывать в своё разноцветное озеро, а мой вечно разочарованный муж, преждевременно превращал меня в старуху. И именно она, эта преждевременная, вынужденная старость вызывала чувство ярости и отчаяния.

Конечно, к нам иногда возвращались короткие периоды прежней дружбы, но это были, как правило, общие заботы и тревоги о детях.

Поставив на ноги троих детей, мы начали обрастать внуками. Первого нам подарила Франческа — чудесного кареглазого малыша, напоминающего Франки в детстве. Её первая беременность проходила легко, и родила она быстро и без осложнений, а вот вторая...

Письма, которые она присылала нам каждые три дня, были полны тревоги и раздражения. Что с ней? Она не писала ни о чём конкретном, просто сам тон, набор слов и междометий создавал ощущение внутреннего разлада.

Филипп, ставший с годами суеверным, признался однажды в своих худших опасениях:

— Каким нужно было быть дураком. Назвать дочь именем моей матери! Ведь она умерла совсем молодой, не справившись со второй беременностью. Знаешь, у меня так беспокойно на душе.

— Может нам поехать к ней и посмотреть своими глазами? Возможно дело совсем в другом. Какие-нибудь разногласия с мужем или финансовые трудности...

— Ты же знаешь, я не могу просто так собраться и поехать, а ты... Ты, в конце концов, мать и твоё место рядом с дочерью, если ей плохо.

Проглотив очередной упрёк, я начала собираться в Париж. Честно говоря, эта перспектива вызывала у меня двойные чувства. С одной стороны — тревога за дочь, а с другой...

Я побывала у неё за это время уже четырежды, и каждый раз возвращалась с тяжёлым чувством. Дом сверкал образцовым порядком. Всё было новым, подобранным с большим вкусом и дорогим. Ни одного пятнышка на громадных, поражавших своим количеством зеркалах, ни одной царапинки на натёртом паркете, ни одного засохшего цветка в многочисленных фарфоровых вазах. Красота и роскошь. Став хозяйкой собственного дома, Франческа вернулась к своим детским замашкам. С мужем она обращалась так же, как с младшей сестрой в детстве:

— Или ты играешь по моим правилам, или...

Муж, думаю, ни разу не рискнул узнать, что кроется за этим «или». Он сдался сразу и без боя. Даже прислуга трепетала перед хозяйкой, будто от одного её слова зависит вся их дальнейшая жизнь.

Куда делась её юношеская романтичность? Куда делись широко распахнутые папины глаза? С каждым годом замужней жизни в ней всё очевиднее проступала вторая сторона натуры Филиппа — напряжённая жёсткость, уверенность в своей исключительной правоте и праве судить других без пощады и компромиссов.

Состояние Франчески оказалось ещё хуже, чем я предполагала. Несмотря на сильно выдававшийся вперёд живот, она вся будто усохла. Нервные, резкие движения рук, запавшие, окружённые синими тенями глаза, сухие, поджатые губы...

Несчастный муж безнадежно пытался предугадать желания беременной жены, но сделать это было практически невозможно — у Франчески не было никаких желаний. Лишь горящие, страдающие глаза.

Вечером, уложив с кровать двухлетнего внука, я расположилась рядом с Франческой, нервно теребящей шёлковую нить так и не начатого вышивания.

— Доченька, что тебя мучает?

Губы моего ребёнка страдальчески вытянулись в тонкую полоску:

— Сама не знаю. Какое-то постоянное раздражение и мрак на душе. Я хотела, как и ты, иметь не меньше троих детей. Вначале очень радовалась второй беременности, а потом... Какое-то ужасное ощущение. Будто во мне живёт кто-то чужой и враждебный, кто сам будет несчастным и мне принесёт много горя. Дурацкое ощущение. Знаю, но оно преследует меня днями и ночами. Даже спать перестала.

Не думала, что Франки в глубине души осталась такой же эмоциональной и неуравновешенной, как в детстве. Последние годы она казалась скорее холодной и расчётливой, и вот тебе, пожалуйста — такие сильные, суеверные, мрачные чувства.

С того дня прошли три напряжённых месяца. Я ежедневно вытягивала Франки на прогулку, вывозила на концерты и выставки... Пыталась любым способом отвлечь от мрачных предчувствий, переключить на что-нибудь радостное и красивое. Это удавалось, но ненадолго. Оживление быстро исчезало, и на смену снова приходили мрак и тоска.

И вот наступил день, которого мы все, по секрету друг от друга, со страхом и нетерпением ожидали. На этот раз роды проходили тяжело и тянулись бесконечно долго. Какой ребёнок появится у нас в семье на этот раз? Вспомнились слова Филиппа о мистере Паркере: «Если в жилы человека попадает хоть капля чужой крови, считай — он отравлен навсегда. И не только он, но и все его потомки во многих поколениях».

Когда-то незваный гость, позабывший предъявить визитную карточку, оставил нам в наследство голубые глаза и светлые волосы. Мои внуки — уже шестое поколение. Неужели Филипп прав, и эта капля, разбавленная с тех пор потоками чистопородной испанской крови, всё ещё сохраняет свою силу? Неужели она всё ещё способна вызвать к жизни эти очевидные признаки «мечености»? Против какой крови протестуют так однозначно душа и тело моей дочери? Против «голубоглазой» или еврейской?

Как тяжела всё же наша женская доля! Я давно забыла свои роды, и потом мне было легче — рядом была бабушка. Сейчас кажется, все три раза она родила за меня. Почему я не могу родить за свою дочь? Лучше страдать самой, чем видеть мучения собственного ребёнка, вытирать крупные капли пота, бесконечным потоком стекающие на её измученное лицо, чувствовать судорожно сжимающуюся руку на своём запястье и не иметь возможности перенять всё это на себя. Господи! Помоги ей скорее справиться со всем этим!

Наконец показалась маленькая, покрытая липкой слизью головка! Ещё пара нечеловеческих усилий, и крошечное, склизкое тельце забилось у меня в руках.

Мальчик — крепенький, основательный, громкоголосый, совсем не испанский.

Я прожила у Франчески ещё три месяца. После родов она успокоилась, хотя всё ещё настороженно поглядывала на новорожденного сына. Я исподтишка наблюдала, как она изучает черты его лица, крошечные ручки и ножки.

— Мам, он похож на кого-нибудь из нас троих? Я имею в виду Марию, Мигеля и себя?

— Вообще-то я не узнаю в нём ни одного из вас. Может он пошёл в родню твоего мужа?

Я врала. Опять нагло и бессовестно врала. Малыш с любопытством смотрел на меня глазами моего старшего брата и мамы, и не узнать этот взгляд было невозможно. Иногда, когда никого не было поблизости, я принималась к внуку, и казалось, узнавала мамин запах, хотя, скорее всего это было глупой фантазией.

Теперь не оставалось ни малейших сомнений — Франческа, чистокровная испанка, сама того не ведая, протестовала против еврейского ребёнка, без спросу поселившегося в её теле.

Дочка, мне очень жаль, но я ничем не могу тебе помочь. Меня тоже ни кто не спрашивал, хочу ли я родиться такой, какая я есть. Меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я переселиться в испанский мир и жить по его законам. Когда-то в детстве я мечтала выйти замуж за «нормального еврейского мужчину», справить весёлую свадьбу на улице нашего посёлка, и наряжать меня к свадьбе должна была не Элеонор, а мама. Взрослые решили всё за меня, и теперь ты, моя бедная, маленькая девочка, мучаешься и страдаешь, сама не ведая почему.

Жизнь не даёт нам права выбора, она даёт нам только иллюзию. Бабушка была права — мы лишь кружимся по дорожкам, проложенным для нас кем-то свыше, думая, что выбрали их сами.

Три месяца спустя я вернулась в Мадрид. Шестилетняя гражданская война закончилась победой либералов. Ненадолго наступил мир в стране и, как я надеялась, у нас в доме. Филипп стоял опять в зените славы. Похоже, он был действительно непотопляемым.

Вскоре после моего возвращения, в Мадриде опять появился мистер Паркер. На этот раз он приехал как ревизор, проверить функционирует ли его детище в соответствии с задуманной программой. Коммерсант выглядел очень разочарованным — почему-то он забыл включить в свои расчёты гражданские войны и революции. Предприятие трещало по всем швам. Организованные им линии перевозки перевозили вовсе не его товары, а оружие и раненных солдат. Одна половина товаров была разворована, а другая вовсе не доехала до портов Испании. Бедный идеалист-теоретик печально потирал свои костлявые руки, удивленно поглядывая по сторонам:

— Как же это так? Всё было хорошо продумано и организовано, а тут эта нелепая война!

Ореховые глаза выражали полное недоумение. Да, мистер Джереми Паркер, война всегда нелепа. Она приходит неожиданно и незванно и разрушает не только наши планы, но и жизни.

Коммерсант оказался тоже чем-то вроде непотопляемого — не сдался и не уехал обратно в Америку, а засел за новые расчёты и проекты.

Вскоре у него появился помощник — Мигель, вернувшийся домой на каникулы. Они спорили до хрипоты, разрабатывая и разбивая в прах очередные новые идеи, обвиняли друг друга в дилетантстве и полном непонимании законов экономики, ругались на всю оставшуюся жизнь, а потом, выпив чаю с ромом, опять садились за расчёты.

Филипп забавлялся, глядя на эту «мышиную возню». Похоже, все последние годы он конкурировал с американцем: в чьей жизни больше смысла и крушений. Сейчас он был победителем. Благодаря его непомерным усилиям и расчётам королева усидела на престоле. Подкупом, шантажом, а иногда и прямым запугиванием, ему удалось привлечь на её сторону не только колеблющихся, но и откровенных противников. Он сказал своё веское слово в истории, вышел победителем, и козёл отпущения ему больше был не нужен. Мы опять стали друзьями. Сама того не желая, я оказалась в курсе дел двух «конкурирующих фирм»: Мигель выплёскивал мне на голову все подробности своих дискуссий с мистером Паркером, а Филипп — «шахматные партии», разыгранные им в пользу королевы. Их счастье, что я не имею склонности к шпионажу. Содержимое моей несчастной головы могло бы принести целое состояние.

Как-то, завершив очередную дискуссию с Мигелем творческим перемирием, мистер Паркер принял моё формальное приглашение и задержался на чашку чая. Отпивая свежесваренный ароматный напиток из тонкой, фарфоровой чашки, он поднял на меня свои слегка близорукие ореховые глаза и смущённо произнёс:

— Знаете, графиня, я Вам иногда очень завидую. У Вас такой замечательный сын. Талантливый, увлечённый... удивительно обаятельный... когда он рассказывает о Вас... произнося «моя мама», он весь светится...

Паркер улыбнулся, и его лицо, обычно узкое и непривлекательное, показалось мне в этот момент очень милым. Странно, но улыбка, удлинив и углубив носогубные складки, смягчила его, осветив что-то трогательное и мальчишеское. Отзыв о Мигеле, произнесённый так по-человечески искренне, согрел и разгладил несколько морщинок на моей душе.

— Спасибо. Мне очень приятно это услышать. Особенно от Вас. Ведь Вы сейчас проводите с ним гораздо больше времени, чем я. Но почему завидуете? Разве Ваши дети не поддерживают Ваших начинаний?

— У меня только одна дочь, других детей нет. Жена очень рано умерла, успев родить только одну дочь. Я практически всю жизнь прожил вдовцом. Дочь давно замужем. Она успела подарить мне уже троих внуков, а вот с мальчиками у них пока что-то не получается. Так что живу, можно сказать, окружённый постоянным и пристальным женским вниманием.

Паркер снова улыбнулся искренней, мальчишеской улыбкой, углубив морщины и помолодев.

— Но кроме пристального женского внимания у Вас есть ещё и напряжённая, увлекательная работа, а это тоже немало.

— Да, безусловно, всё это вместе делает жизнь осмысленной и интересной, даже если и не всё получается с первого раза.

Коммерсант, казалось, хотел ещё что-то добавить, но передумал. Произнеся пару подобающих случаю светских фраз, он церемонно откланялся и исчез до следующего раза.

После его ухода в гостиной задержалось облачко недосказанности. После разговора с ним у меня всегда оставалось чувство, что он хочет сообщить что-то важное, но не решается. Или это опять только плод моего нездорового воображения?

Вечером мы уютно ужинали втроём. Слава богу, посетителей не намечалось. Последнее время Филипп стал проявлять повышенный интерес к предпринимательской деятельности Мигеля.

— Ну, что у вас новенького? Последние дни вы так ожесточённо спорили, что я уже стал опасаться, как бы дело до дуэли не дошло.

Мигель улыбнулся отцу своей замечательной, хитровой улыбкой:

— Не дойдёт. Нас в университете учили дискутировать, не доводя дело до мордобития. Собственно, так же, как и у вас, дипломатов.

— Ну, а в чём суть ваших разногласий?

— Видишь ли, мистер Паркер — блестящий теоретик... и практик тоже, но он всё время исходит из американского образа жизни и морали, не желая признавать, что в Испании действуют совсем другие законы. Особенно сейчас, когда только-только закончилась война.

— А по-моему, как раз сейчас самые благоприятные условия для вашего предприятия. Королевская казна пуста, и если в ближайшее время в неё потекут обещанные мистером Паркером таможенные пошлины — успех и поддержка правительства вам обеспечены.

Мы с Мигелем одновременно с удивлением уставились на Филиппа. С каких пор он желает американцу удачи?

Мой муж, похоже, читал наши мысли:

— А я стараюсь вовсе не для мистера Паркера. Во-первых, я хочу, чтобы первая профессиональная проба сил моего сына увенчалась успехом. Имя Мигеля де Альвареса должно постепенно приобретать известность, а во-вторых, я стараюсь для себя — очередная помощь короне может пойти нам всем на пользу: появятся деньги в казне — появится шанс на получение обещанного годового дохода, который не выплачивается мне уже три года. Последние годы я работаю за всё что угодно, только не за деньги.

Рот Филиппа ещё улыбался, а в глазах стояло отчаяние.

— Да, дорогое моё семейство. Вы витаете в облаках, а под моими ногами уже давным давно горит земля. Наш роскошный особняк заложен и перезаложен. Я по уши увяз в долгах и не знаю, где взять денег, чтобы с ними расплатиться. Это печальная реальность сводит меня с ума, а вы оба смотрите на меня как на старого идиота, разучившегося радоваться жизни. Я давно потерял интерес к государственной службе, но без неё — я полный и окончательный банкрот. Это единственный шанс вернуть хотя бы малую толику состояния, способного обеспечить нам с тобой, моя дорогая жена, достойную старость, а тебе, Мигель — дальнейшее образование.

Филипп сидел за столом, положив подбородок на скрещённые руки. Я знала его лицо нежным, восторженным, злым и весёлым, но таким... несчастным и безнадежно слабым... Вспомнился бабушкин рассказ о забившемся в угол жалобно скулящем ребёнке, только что потерявшем свою мать. Сейчас этот пожилой, уставший от жизни мужчина опять превратился в забытого всеми несчастного малыша. Он всю жизнь хотел быть сильным, водрузил на свои

плечи множество непосильных обязательств: ответственность перед предками, перед престолом, перед семьёй... И вот он сидит обессиленный этой ношей, которую и сбросить нельзя, и нести дальше невозможно и некуда.

Я медленно поднялась со стула, подошла к Филиппу, обняла его голову и прижала к своему животу. Как прижимала когда-то куклу, а потом детей, искавших у меня утешения, набив на коленках очередные ссадины.

Филипп, шумно и горячо дышал мне в живот. Этот большой ребёнок искал во мне поддержки и утешения, а я, глядя седые, изрядно поредевшие волосы, умирала от нежности и жалости. Наверное, это и есть любовь на всю жизнь, когда на смену романтической восторженности приходят нежность и жалость.

Все последующие дни я размышляла о семейном финансовом крахе. Может предложить Филиппу бабушкин «неприкосновенный запас»? Но этой крошечной суммы не хватит на выплату долгов и на образование Мигеля. На неё можно лишь пару лет нищенски просуществовать двум одиноким старикам. Нужно искать другой выход.

Единственным выходом, пришедшим мне в голову, была продажа фамильных драгоценностей. Филиппа удивила моя решимость:

— Странно. Ты с такой лёгкостью готова расстаться со всем, что я подарил тебе за четверть века совместной жизни? Неужели эти вещи не дороги тебе хотя бы как память?

Я давно привыкла говорить с мужем на разных языках. И не в том было дело, что мы не любили или не уважали друг друга. Просто у каждого была своя система ценностей. Филипп был убеждён, что ни одна нормальная женщина не может прожить и дня без своих побрякушек. Считал, что даже кухарка измеряет любовь мужчины ценой подаренного им колечка, а значит, готовность расстаться с драгоценностями равносильна готовности расстаться с мужчиной. Моё предложение обидело его до глубины души.

Для меня украшения были либо произведениями искусства, либо простым дополнением к туалету. Семейная коллекция рода Альваресов, в течение двух столетий переходившая от одной женщины к другой, не вызывала у меня вообще никаких чувств. Я была лишь одним из промежуточных звеньев, подержавшим их пару лет в руках и передавшим в целостности и сохранности следующей краткосрочной владелице. Ценность представляло только то, что Филипп заказал на свой вкус и лично для меня... и, конечно же, бабушкины брошки, о существовании которых он вообще не знал. Но как объяснить мужу, что его фамильные сокровища интересуют меня как прошлогодний снег?

Вечером я разложила на столике все его подарки в хронологическом порядке:

— Помнишь, это ты подарил мне к рождению Франчески... а это — после Марии, а это....

Все «это» были сложены в особую шкатулку и спрятано в дальний угол секретера:

— Эти вещи представляют для меня особую ценность и мне бы не хотелось их терять, а всем остальным можешь распоряжаться по своему усмотрению.

Пусть сам решает, что для него хуже — разрушение вековых традиций семьи или позор должника. Господи! Как болит за него сердце!

Второй выход вынул из своего обширного кармана мистер Паркер. Неделю спустя он снова сидел у нас в гостиной, потягивая горячий чай с ромом из ставшей уже «своей» чашки.

— Графиня, заранее прошу извинить меня за возможную бестактность. Я знаю, что вмешиваться в чужие дела неприлично, но в данном случае я считаю себя заинтересованной стороной.

— Я слушаю Вас внимательно.

— Позавчера, когда мы с Вашим сыном совершали контрольную проверку объектов, он поведал о своих дальнейших планах. Молодой граф решил забросить дальнейшее образование и поступить на государственную службу. Что Вы об этом думаете?

Меня покоробил и рассердил сам факт, что Мигель заговорил с этим чужим малоприятным человеком о своих планах раньше, чем со мной. Это было самым настоящим предательством. Переждав несколько секунд и вновь обретя контроль над лицом и голосом, я, как можно спокойнее, задала встречный вопрос:

— И почему его планы Вас растревожили?

— Видите ли, я уже не раз говорил, что Ваш сын очень талантливый молодой человек. У него большое будущее, но для того, чтобы добиться настоящего успеха, ему необходимы серьёзные знания и опыт. Ему надо во что бы то ни стало закончить обучение, тогда ему не будет равных. Вы согласны со мной?

— Я предполагаю, что у моего сына были веские причины принять такое решение.

Щёки Паркера порозовели, жилистые руки, совершив пару круговых движений в воздухе, исчезли под столом. Он явно и откровенно смущался, злился на себя за это смущение, но мужественно продолжал неприятный для нас обоих разговор.

— Да, так что я хотел сказать... Уважаемая графиня, извините меня, пожалуйста, тысячу раз за вмешательство, но... Короче, хочу сделать Вам одно деловое предложение. Я, прежде всего коммерсант и мыслю коммерческими категориями. Я хочу вложить деньги в образование Мигеля де Альвареса. Это ни в коем случае не благотворительность, это чистый расчёт. Мне и моим предприятиям нужна в Испании очень мощная поддержка. Если граф Альварес займет через несколько лет высокий пост в министерстве, эта поддержка будет обеспечена. Таков мой расчёт. Что Вы об этом думаете?

Что я могла об этом думать? С одной стороны, было бы замечательно дать Мигелю возможность завершить образование, но я сомневалась, что Филипп сможет зажать в кулак свою гордость и принять помощь от залётного коммерсанта еврейского происхождения. И, тем не менее, я пообещала сообщить мужу о столь странном предложении.

К моему удивлению, Филипп не разразился бранью, не забежал по комнате и не назвал меня старой безмозглой гусыней. Он остался сидеть в кресле, уронив руки на колени, поднял грустные, усталые глаза и просто спросил:

— Ты считаешь это предложение приемлемым?

— Не знаю. Думаю, он хочет купить Мигеля за сумму, не представляющую для него большой ценности.

— Само собой разумеется, он покупает то, что ему может пригодиться в будущем, но что это может означать для нашего сына?

— Он берёт взятку, ещё не вступив в должность?

— Может быть... а может и не быть. Всё в политике продаётся и покупается. Ничто не делается из любви к ближнему. Знаешь, Мигель уже взрослый мужчина, и я не хочу больше принимать за него все решения. И потом... я со своими амбициями давно вышел из моды. Пусть поступает, как считает правильным.

Мигель принял предложение Паркера, обговорив какие-то, приемлемые для обеих сторон условия, и пару недель спустя вернулся в Англию.

Глава 18

Мигель уехал в Англию, а я — к Марии. Я спешила на встречу с очередным внуком. У Марии мне всегда было хорошо. В её большом, многодетном доме, где все вещи, безусловно, имели свои законные места, почему-то они имели особую склонность к самостоятельному

перемещению, и, лишь изредка попадали туда, где им положено было находиться. Эти путешествия ни у кого не вызвали раздражения. Влюблённые в Марию падчерицы носились за ней, не отступая ни на шаг. Она стала матерью двух одиноких девочек, сама ещё не успев повзрослеть. Её муж с нежностью и умилением смотрел на этот несущийся по дому девичий клубок, временами не понимая, кто он — женатый мужчина или отец троих дочерей и маленького, непонятно откуда взявшегося сына.

Мария с лёгкостью справлялась со второй беременностью: сияющая, ещё больше похорошевшая, она с радостью готовилась к встрече с новым членом семьи, не задумываясь ни о его окраске, ни о наследственных чертах лица и характера. Она, как и я когда-то, просто радовалась приходу нового человека.

Лёгкая беременность закончилась, слава богу, быстрыми и лёгкими родами. В нашу семью пришёл первый «меченый» мальчик. Он не был похож на Мигеля в детстве, скорее — на моего отца: удлинённый, смугловатый с тёмной, пушистой головкой. Мария назвала сына в честь своего деда, но не первым его именем, а вторым — Эстебан. Его первое имя — Мигель — безраздельно принадлежало брату. Я с любопытством разглядывала малыша. Это было уже третье поколение. Значит, по семейной легенде, кто-то из моих внуков должен произвести на свет девочку, похожую на меня и на мою прабабушку. Интересно кто? Может, это будет Эстебан? А может, второй сын Франчески, мальчик с явной примесью еврейской крови? Тогда эта девочка будет похожа на меня не только лицом, но и душой.

В отличие от меня, Филипп, похоже, потерял интерес к стремительному увеличению семьи. Я не смела его за это укорять, потому что бедняга, по уши увязший в долгах, из последних сил пытался выкарабкаться из этой бездонной ямы.

С тех пор прошло несколько беспокойных и одиноких лет. Моя жизнь плавно и уныло вытекала из пальцев, оставляя на них липкие следы бессмысленности и скуки. Большую часть дня я посвящала писанию писем. Короткие исповеди, перемешанные с забавными шутками — отцу, обмен новостями о детях и внуках — Элеонор, многосерийные сказки с продолжением — подрастающему поколению. Неужели это и есть старость? Неужели жизнь, едва начавшись, уже вступила в свою завершающую фазу?

Новый, 1840 год ознаменовался окончательным крушением испанского королевского дома. Королева-мать под давлением армии, возглавляемой генералом Эспартеро, покинула Мадрид, скрывшись от греха подальше во Франции. Мне не хочется сегодня подробно описывать и анализировать политические события тех лет. Я пишу не исторический трактат для потомков, а дневник о себе и для себя. Меня мало интересует судьба королевы. Важна лишь взаимосвязь. Влияние её жизни на мою. Итак: королева оказалась в Париже, а мой муж — на улице. Тридцать лет преданной беспорочной службы испанскому престолу и под конец — бесславная отставка. Филипп был выброшен на «заслуженный отдых» без почестей, без орденов и без заработанных в последние четыре года денег. Выброшен на улицу, как старый, отслуживший свою службу, плешивый пёс.

Бедный Филипп. Я боялась за его душу и голову. Первые две недели он беспробудно пил. Пил с раннего утра и до позднего вечера. Каждый новый день был похож на предыдущий. Пять обязательных частей любой классической симфонии: аллегро, адажио, анданте, рондо и финал.

Первые полбутылки — «адажио» — посвящались анализу исторических событий, роли отдельных личностей и бессмысленности человеческих честолюбий. Вторая половина бутылки — «аллегро» — его личным заслугам. Множество знакомых и незнакомых эпизодов, блестяще проведённых секретных операций, где он всегда оказывался умнее, хитрее и дальновиднее своих противников.

В этой части, которую я про себя называла «аллегро», лицо Филиппа молодело, морщины разглаживались и щёки покрывались свежим, здоровым румянцем. Первая бутылка подходила к концу, сменяясь второй, и мы, сами того не замечая, оказывались в «анданте».

Мягкая, лирическая мелодия сопутствовала первой половине второй бутылки:

— Милая, это такое счастье, что ты у меня есть. Все эти годы, несмотря ни на что, ты оставалась такой же нежной и любящей, как в первые годы семейной жизни. Я не знаю, говорил ли я тебе когда-нибудь, но ты до сих пор осталась для меня единственной женщиной, с которой я мог бы прожить всю жизнь.

Первая половина второй бутылки подходила к концу, и адажио сменялось бурным, агрессивным аллегро:

— Это ты, ты виновата в том, что моя жизнь сложилась так глупо и бессмысленно! Твой взгляд, преследовавший меня с юности... Ты хотела видеть во мне героя... и я вынужден был доказывать тебе всю жизнь, что я — не просто человек, а сверхчеловек... Ты, как охотничья собака, гнала меня по жизни к «великим свершениям». А сейчас смотришь своими синими плоскими, полными разочарования и омерзительного сочувствия... Да, я не оправдал твоих надежд. Я слабый, старый, потерпевший крушение корабль. Ненавижу! Господи, если бы ты только знала, как я тебя ненавижу!

Уже две недели я целыми днями с утра до вечера слушаю это «рондо», эту снова и снова повторяющуюся мелодию и не спорю, не пытаюсь доказывать, что он сам выбрал себе эту корриду. Если Филиппу нужен козёл отпущения, если ему будет от этого легче... Пусть этим козлом буду я. Больше всё равно ничем не могу ему помочь.

Смешно сказать, но из этого запоя вытащил моего мужа судебный исполнитель. Он вежливо и сочувственно сообщил, что давным-давно заложенный и перезаложенный мадридский особняк продан с аукциона новому владельцу, и через месяц мы, по закону, обязаны освободить чужую собственность

У нас был всего лишь месяц на сборы. Разрушить, уничтожить дом, в котором мы прожили почти тридцать лет, в котором родились и выросли наши дети, в котором мы ссорились и мирились, увлекались и разочаровывались... в котором мы любили и ненавидели друг друга... Дом, в котором мы, сами того не заметив, успели дружно и безнадежно постареть.

Через месяц, продав за гроши ставшую ненужной обстановку, мы вернулись в родовой замок Филиппа. Благодаря усилиям нашего верного управляющего, он сохранил своё былое величие и привлекательность. У нас была крыша над головой, помпезная мебель, всё ещё сохранявшая запах натурального дерева и вековой пыли, несколько небольших клочков земли, принадлежавших роду Альваресов, и ни гроша наличных денег, на которые можно было бы обеспечить себе мало-мальски приличное существование.

Филипп призвал на доклад управляющего с его многотомными годовыми отчётами. Мы неделю бессмысленно листали бумаги, испещрённые мелкими, аккуратными цифрами, но так ничего и не поняли. Из этих отчётов следовало, что земля частично использовалась под виноградники, частично под пастбище никому не нужных овец. То и другое требовало почему-то огромных ежегодных инвестиций, но ни разу не принесло ни малейшего дохода.

Совершив инспекцию своих владений, мы убедились в реальном наличии обильных, довольных жизнью овец, но обнаружить какие-либо следы успешного завершения этой многолетней титанической работы так и не удалось. Ответ лежал на поверхности — наш верный и преданный управляющий нагло обворовывал нас все эти годы. Ведя двойную бухгалтерию, он наверняка успел сколотить себе весьма приличное состояние, но мы с Филиппом не имели ни малейшего представления, как раскопать его махинации.

Промучившись пару дней, я написала письмо Мигелю, прося о профессиональной помощи. Ответ с инструкциями пришёл неожиданно быстро: затаиться, разыграть двух наивных старых идиотов, не лезть ни в какие объяснения с приказчиком, спрятать, или лучше «по-глупости потерять» отданные нам на проверку отчёты, и мирно затихнуть до его приезда. Главное — не спугнуть вора, не дать ему повода срочно «рубить концы и торопливо прятать их в воду».

Летние каникулы в университете начинаются через две недели, значит, самое позднее, через три он прибудет домой и разберётся в этой грязной истории. Кроме того, Мигель спрашивал разрешения привезти с собой мистера Паркера, с которым договорился в эти каникулы встретиться в Испании для очередного совместного контроля американского предприятия. Это спокойное, без лишних эмоций, пропитанное беззлобным юмором деловое письмо вселило в нас надежду на благополучный исход предстоящего расследования. Было трогательно и приятно поменяться с сыном ролями: когда-то мы учили его уму-разуму, вытаскивали из мелких и крупных неприятностей, а теперь он поучает и «вытаскивает» нас.

В назначенный день я снова, как много лет назад, стояла у окна, с нетерпением ожидая первых тактов знакомой с детства мелодии — дробь лошадиных копыт по высушенной летним солнцем дороге. Последний раз я стояла у этого окна тридцать лет назад, встречая Филиппа после аудиенции у Фердинанда. Теперь точно так же, сгорая от нетерпения и любопытства, я ждала своего сына. Выскочит ли он, как отец, на ходу из кареты, взлетит ли, перепрыгивая через две ступеньки, на парадное крыльцо, наполнит ли дом бурной энергией и радостью?

Нет, Мигель и его отец — два совершенно разных человека. Сын энергично, но степенно выгрузился из остановившейся у крыльца кареты, не спеша, с любопытством оглядывая малознакомый дом, поднялся по ступеням... Господи! Каким он стал взрослым! Те же глаза, тот же высокий прямой лоб, те же руки, как в детстве... Только всё это принадлежало теперь зрелому, уверенному в себе мужчине.

Вслед за ним, загребая тощими кривоватыми ногами, на крыльцо вскарабкался мистер Паркер — прибыла бригада по спасению потерпевших бедствие нищих испанских аристократов.

После завтрака мы повезли гостей на ознакомление с объектом воровства. Они с самым беззаботным видом созерцали летние ландшафты, вдыхали пряный запах цветущих олеандров и петуний, отщипывали от гроздей ещё не созревшего винограда и гладили, как домашнего пуделя, маленькую белую овечку. Во второй половине дня знатоки засели за изучение случайно обнаружившихся за каминной полкой многотомных отчётов.

Через пару часов был поставлен окончательный, не подлежащий обжалованию диагноз: как мы и предполагали, наш верный управляющий — блестящий хозяйственник и столь же блестящий вор.

— Вот смотрите, — показывал нам Мигель, — он вкладывает огромную сумму в оросительную систему, нанимает множество сезонных рабочих для ухода за виноградом и сбора урожая, ежегодно расширяет свою плантацию, засаживая её всё новыми ценными, дорогими сортами... Знаете, на что идут эти сорта? Вино. В последние пятнадцать лет это самое лучшее испанское вино, пользующееся огромным спросом во всей Европе. А чем заканчиваются его ежегодные усилия? Судя по этим отчётам, он каждую осень продаёт весь урожай за бесценок местным виноделам. Быть такого не может. Я хорошо рассмотрел эту наглую рожу. На полного идиота он не похож. Скорее всего, он прячет где-то «в кустах» собственную, прекрасно оборудованную винодельню. Придётся поискать.

Равнодушно переждав наши возмущённые возгласы и угрозы в адрес наглого вора, в игру вступил мистер Паркер:

— А меня заинтересовала вторая глава походов нашего героя. Его овцы. Я недаром так нежно оглаживал маленького ягнёнка, а заодно и его беспокойную мамашу. Великолепное, тонкое руно. Ценная, дорогая порода. Эта шерсть идёт явно не на зимние чулки деревенских женщин. Им такие чулки не по карману. Но наш герой, как и в случае с виноградом, тратит огромные деньги на тёплые, зимние стойла, на высококачественный корм и уход, а потом опять продаёт всё за гроши непонятно кому. Та же самая схема, та же самая двойная бухгалтерия. Боюсь, вашего управляющего придётся серьёзно потрепать.

Филипп с любопытством изучал загадочные письма многолетнего обманства:

— Разговор с героем я беру на себя. Приглашу на дружескую беседу завтра к полудню и приблизительно через час, максимум, полтора, мы будем знать, где лежат деньги.

Ровно в полдень следующего дня слегка обеспокоенный управляющий явился к хозяину на доклад. Филипп улыбнулся ему одной из своих самых наилюбезнейших улыбок:

— Присаживайтесь, пожалуйста, сеньор Гомес. Я с большим интересом просмотрел Ваши отчёты за последние годы. Выше всяких похвал! Чёткая, доскональная работа. Очень хорошо.

По лицу сеньора Гомеса разлился покой и уверенность в полной своей безнаказанности. Сделав короткую, доброжелательную паузу, Филипп продолжил дружескую беседу:

— Да, всё просто замечательно, но знаете... честно говоря, я во всех этих делах полный профан, поэтому хотел бы просто уточнить пару незначительных деталей. Вот, например, — Великий дипломат с глуповатым выражением лица перелистнул первую попавшуюся страницу отчёта, — да, вот здесь... всё так хорошо складывалось, я имею в виду виноград... большие вложения, столько работы, а на выходе — пшик. Что же случилось с урожаем в тот год?

Сеньор Гомес, казалось, хорошо подготовился к такого рода вопросам:

— Покажите, пожалуйста, какой год Вы имеете в виду. Ах да, ну конечно. Граф, Вы наверняка припоминаете дожди и холодину в то лето. Мы тогда приложили, я бы сказал, невероятные усилия по спасению урожая, но виноград наполовину сгнил прямо на кустах, а то, что осталось, оказалось отвратительной кислятиной. Я с трудом сбыл эту гадость в ближайшую деревню на уксус.

— Да, да, понимаю. Очень печальная история. Ну а что случилось в следующем году? Тогда вроде лето было совсем неплохим?

— Ну как же, Граф. В том году повсюду бушевала война. Наши виноградники были безжалостно вытоптаны солдатами и разграблены бандитами.

— Но, если я не ошибаюсь, военные действия проходили совсем в другой стороне? Ну, да это, в конце концов, не важно.

Филипп справился о судьбе урожая ещё за несколько лет, тяжело вздохнул, махнул рукой и, с пониманием глядя в глаза сеньору Гомесу, слегка смущённо произнёс:

— Знаете что, милейший, вырубите-ка завтра весь этот дурацкий виноградник. Пользы от него ни малейшей, а трат — намеренно.

Лицо «милейшего» Гомеса покрылось красными пятнами. Он нервно теребил край своего нарядного камзола, не зная с чего начать защиту любимого детища.

— Милорд, но это безумие! Ценнейшие сорта! Да на этот виноград спрос в округе огромный! Так нельзя!

Лицо «милорда» принимает ещё более глуповатое выражение, и, легкомысленно отмахнувшись от доводов оппонента, он упрямо повторяет своё требование:

— Что-то я этого вопроса не заметил. Сказал рубить, значит, будем рубить. Да кстати, а что там с этими Вашими дурацкими овцами?

Вторая часть разговора протекает по той же схеме и с тем же результатом: овцы должны быть отправлены на скотобойню, а вырученные деньги потрачены на ремонт крыши... в правом крыле замка.

С бедного Гомеса пот не капал, а лился бурным, нескончаемым потоком. Лицо, покрывшись красными пятнами, тряслось и вздымалось всеми своими порами.

— Милорд, простите старого дурака! Я тут действительно несколько нахитрил. Это только на бумаге виноград и овцы не приносят никакого дохода. На самом деле это очень выгодные вложения.

Мистер Паркер не спеша достал тяжёлые золотые часы из жилетного кармана, одобрительно взглянул на циферблат и громко защелкнул крышку:

— Поздравляю, граф. Вы обещали раскрыть преступление за час, максимум, полтора, а добрались до финиша за... тридцать восемь с половиной минут. Блестящая работа!

Филипп довольно откинулся на спинку кресла. Глуповатое выражение бесследно исчезло с лица «наивного» хозяина, вернув ему пронизывающую профессиональную жёсткость.

— Итак. Я внимательно слушаю Ваше объяснение, сеньор Гомес.

— Видите ли, хозяин, дело в том...

Бедняга совсем растерялся. Он, думая, что легко и безболезненно выиграл сложную партию, сам не заметил, как попался в расставленную собственными же руками ловушку.

— Да, так в том-то всё и дело, что они только на бумаге не приносят ни какого дохода. На самом деле ... я продаю сырьё за гроши самому себе. Мне принадлежат недалеко отсюда хорошо оборудованная винодельня и маленькая фабрика по изготовлению ковров и гобеленов, а они приносят очень даже хороший доход.

Мигель и мистер Паркер чуть не сорвались со своих мест. Мне ещё ни разу не доводилось видеть таких тонких губ на вздувшемся от гнева лице сына. Неужели он унаследовал взрывной темперамент своего отца?

Филипп повелительно поднял руку ладонью вверх, призывая взбунтовавшуюся публику к порядку.

— Очень интересная история. Если я Вас правильно понял, Вы на моей земле, не поставив меня в известность, добывали сырьё, которое использовали для собственного обогащения? Подсудное дело. Оба эти предприятия оформлены, конечно же, на ваше имя?

— Нет. По бумагам они принадлежат моему брату... моему покойному брату.

— То есть официальными владельцами являются его наследники?

Обессилевший Гомес больше не сопротивлялся. Он, как все преступники, годами живущие под страхом разоблачения, был рад облегчить, наконец, свою измученную угрызениями совести душу.

— Это не совсем так, хозяин. Вся его семья умерла лет пятнадцать назад. Не знаю точно, что тогда случилось... то ли пожар, то ли эпидемия... О смерти семьи я официально заявил, похоронил со всеми христианскими почестями... и брата тоже, только его смерть утаил. Объявил без вести пропавшим. А потом воспользовался его именем. Я — единственный законный наследник состояния брата.

— Да Вы, оказывается, настоящий преступник!

Я заметила, что гнев в глазах Филиппа был наигранным. На самом деле ему было наплевать на права людей, умерших давным-давно по непонятным причинам. В его голове зрел план очередных действий.

— Вы, надеюсь, понимаете, что за такие злодеяния вам светит в лучшем случае смерть, а в худшем — пожизненная каторга?

— Да, господин. Хотя... может быть, нам удастся договориться?

— Договориться! Ну, Вы и мерзавец!... Хотя... Даю Вам ровно полчаса, чтобы доставить сюда реальные отчёты о вашей преступной деятельности, а там посмотрим. Вон отсюда!

Приказчик, торопясь и спотыкаясь, засеменял к выходу, а мы с облегчением вздохнули, радуясь возможности расслабиться и выпить по чашке крепкого ароматного кофе.

Паркер довольно потирал руки, а Мигель... он смотрел на отца моими глазами тридцатилетней давности — восторженно и влюбленно.

— Папа, да ты просто гений. Так быстро и с такой ловкостью довести этого мерзавца до полного и чистосердечного признания! Потрясающе!

Филипп ответил на похвалу усталой улыбкой:

— Я не гений, сынок. Я профессионал. Старый, опытный артист, тридцать лет простоявший на сцене королевского театра. Тридцать лет я разыгрывал такие спектакли в пользу короля, а сегодня разыграл в свою пользу. Не садиться же мне на старость лет тебе на шею. Нам с мамой необходим пусть небольшой, но стабильный доход.

Насмерть перепуганный управляющий вернулся точно к назначенному сроку, таща в руках два толстых отчёта о своей преступной деятельности. Главные эксперты, мистер Паркер и Мигель, сосредоточенно изучили эти тома от корки до корки, изредка обмениваясь комментариями и задавая сеньору Гомесу короткие деловые вопросы. Тот, забыв об опасности, гордо восседал в кресле в ожидании похвал своей выдающейся коммерческой смекалке и организаторскому таланту.

Дочитав отчёт до конца, члены комиссии одновременно пожали плечами, выразительно посмотрели друг на друга и вынесли приговор, обращаясь к Филиппу:

— Ну, в общем... конечно, не густо, но все же функционирует.

«Главный судья», поймав на лету брошенный мяч, брезгливо поморщился в сторону управляющего:

— Собственно, так я и предполагал. И всё же, уважаемый сеньор, я покупаю эти предприятия. О цене мы с Вашим братом уже договорились. Он готов продать всё оптом по цене... винограда позапрошлого года. Кстати, он чувствует себя очень неважно. Сомневается, удастся ли ему пережить эту зиму... Вырученные деньги решил потратить на достойное отпевание и похороны. Ему не хочется обременять Вас, единственного оставшегося в живых наследника, дополнительными расходами. Достойный, благородный человек.

Незадачливый обманщик буквально обвис в своём кресле. Жидкие щёчки, приняв землисто-серый оттенок, вздрагивали и трепыхались как переваренное куриное фрикасе. Не обращая внимания на перемешанную с ненавистью смертельную тоску, вытекающую из глаз потерпевшего крушение предпринимателя, Филипп продолжал свою игру:

— Да, так что я хотел сказать? Ах да... самое главное. Ваш брат посоветовал мне нанять Вас управляющим этими объектами, высоко оценив проявленные за предыдущие годы деловую хватку и опыт. Я серьёзно обдумал его совет и готов вознаградить Вас за многолетнюю верность и честную службу. Надеюсь, Вы останетесь довольны моим предложением. Годовой доход... хм... десять процентов от выручки. Такие условия на дороге не валяются! При этом мы оба будем в равной степени заинтересованы в успехе. Ежегодный контроль над нашей деятельностью будет осуществлять мой сын. Мигель, я надеюсь, ты не откажешь нам в профессиональной поддержке?

Мигель согласно кивнул головой.

Филипп сидел, решительно выпрямившись в своём председательском кресле, положив правую руку на лживые отчёты, а левую — на реальные.

— Вот и хорошо, — продолжил дипломат свою коварную игру, — теперь осталось лишь молиться богу, чтобы в ближайшие годы в округе не случилось ни пожара, ни потопа, ни повального падежа скота. Произнося последние слова, Филипп задумчиво постучал пальцами правой руки по поддельным бумагам.

Я зачарованно смотрела на эти с детства знакомые руки... узкие ладони, длинные, гибкие пальцы... Как они изменились за сорок лет! Кожа, покрывшись множеством веснушек и родимых пятнышек, высохла и истончилась, открыв дорогу набухшим синеватым жилкам. Невольно посмотрела на свои. На левой, между большим и указательным пальцем, красовалось невесть откуда взявшееся большое светло-коричневое родимое пятно. Невольно спрятала под стол и без того не слишком изящные, а теперь ещё и постаревшие руки.

Женщинам всё же лучше. Мы можем запудрить, закрасить, замаскировывать отдельными частями одежды нанесенные возрастом ущерб.

Наутро мы отправились знакомиться с новым приобретением. Мужчины надолго застряли в винодельне. Они не могли успокоиться, пока не перепробовали по два-три раза из каждой имевшейся бочки. Изображая великих знатоков и ценителей, прищёлкивали языками, шумно вдыхали винные испарения, смотрели на свет сквозь наполненные бокалы. Судя по заплывающим лёгким туманом глазам, приобретение нравилось им с каждой минутой всё больше.

Досыта наигравшись с первой игрушкой, они согласились на знакомство со второй.

Я впервые в жизни увидела, в каких условиях производятся эти роскошные вещи. В первом помещении, душном и смрадном, склонившись над котлами, источавшими отвратительную вонь, стояло полтора десятка женщин, замотанных в какие-то нелепые, грязные платки. Всё это называлось красильней. Руки, перемешивавшие удушливое варево, были непонятного бурого цвета — краска, пожизненно въевшаяся в кожу когда-то тонких девичьих рук. В соседнем помещении было сухо и чисто. На многочисленных, натянутых под потолком верёвках, сушились выкрашенные нитки.

В следующей, рабочей комнате меня опять поразил спёртый, пропитанный потом воздух. Двадцать деревянных рам, двадцать склонившихся над ними девичьих спин и сорок лёгких, подвижных рук, выплетающих немыслимые разноцветные узоры. Девушки поднимали любопытные, повязанные чистыми платками головки, пытаюсь рассмотреть незнакомых посетителей, но тут же, под злой окрик пожилой, высохшей до костей тётки, опять утыкались в станки, отпуская свои умелые руки в свободный полёт.

Путешествие по мастерской мы закончили на складе готовых товаров. Это был громадный зал, устеленный и увешенный до потолка коврами и гобеленами, ждущими своего покупателя.

Я протянула к ним руку, и она утонула в мягкой, тёплой шелковистости. Как хорошо!.. только не надо открывать глаз. Мутные, блеклые краски, дешёвые, нелепые картинки и орнаменты.

Сеньор Гомес, успевший оправиться от вчерашнего потрясения, с гордостью представлял любимое детище. Рассказывал об огромном спросе на его изделия во всей округе.

— В те дни, когда я начинаю распродажу, на ярмарку за моими «ковриками» приезжает много состоятельных людей средних сословий из ближайших городов. Лучшие экземпляры я продаю по принципу аукциона — кто больше даст.

Он влюблённо гладил свои шедевры, смахивая и сдувая невидимые простому глазу пылинки, а я вспоминала вышивки Элеонор, красную, почти живую розу с повисшей на лепестке капелькой росы. Она сама изобретала рецепты красок, смешивала что-то с чем-то, добываясь нужного оттенка, а потом записывала самые удачные находки в толстую тетрадь, переплетённую в светло-коричневую кожу. Вот бы вызвать эту умницу сюда вместе с её замечательной тетрадью! Здесь ей было бы, где разгуляться. Изумительный материал и умение гобеленщиц, приложенные к настоящим, со вкусом и пониманием подобранным рисункам.... да, из этого можно было бы сделать настоящее искусство.

Вечером я написала отцу и Элеонор подробный отчёт о нашей дипломатическо-коммерческой деятельности. Написала, как пишу сейчас в дневнике — смеясь и забавляясь над нами обоими, а потом присоединилась к задумчиво сидящему в гостиной Филиппу.

— Поздравляю с днём рожденья, милый.

— А кто у нас сегодня родился, дорогая? — муж, комично изогнув бровь, приготовился к новой шутке.

— Родился не у нас, а в тебе. Собственник и коммерсант.

— Ах, не говори об этом так громко, а то ещё *эти* услышат, — он выразительно кивнул в сторону портретов своих предков.

— А что, думаешь, не одобряют?

— Не только не одобряют, а прямо таки проклянут, уничтожат.

— Ты это серьёзно?

Филипп устремил ко мне большие глаза, подёрнутые усталостью и грустью.

— Знаешь, что они произнесли бы сейчас, если бы смогли разлепить свои забитые засохшей краской губы? Сначала скривили бы их в презрительной гримасе, а затем, высокомерно переглянувшись друг с другом, вынесли бы приговор: «Этот мерзавец опозорил наш род. Аристократ чистейшей голубой крови, веками служившей королям и отечеству, закончил жизнь торговцем вином и дешёвыми тряпками. Вначале сына толкнул на позорный путь, а потом и сам устремился по его следу».

Я взглянула на окружившие нас величественные лица, никогда не вызывавшие во мне особой симпатии. Да, они серьёзно заморочили голову моему бедному мужу. С детских лет нависая над ним вековым авторитетом, внушили бедолаге, что нет у него другой заботы в жизни, как продолжать их дурацкие традиции. Ему дозволено было прийти в этот мир на короткий срок лишь для того только, чтобы в конце жизни добавить к этой шеренге ещё один гордый портрет с многозначительной надписью. «Граф Филипп де Альварес XV, прославивший своё имя великими делами на службе у короля Фердинанда VII». Да уж, стоило для этого родиться и жить! Мои мысли зацепились за «голубую» кровь:

— А кровь у тебя, кстати, вовсе не голубая. Сама видела, когда тебе перевязывали рану на плече. Обычная человеческая, красная. Уж не знаю, как это у вас получилось.

— Но они-то не видели, — Филипп опять заговорщически покосился в сторону портретов.

— Тогда и винодельни не увидят. Хотя, жаль. Думаю, вино им тоже пришлось бы по вкусу. Или они, как олимпийские боги, вкушали лишь нектар и амброзию?

— Думаю, среди этих олимпийских богов каждый второй был запойным пьяницей.

— Вот пусть и завидуют тебе. Теперь ты не просто Филипп XV, а бог — покровитель виноделия, Бахус I.

— А может быть я — его колченогий друг Сатир? Посмотри-ка внимательно, как у меня обстоят дела с рожками?

— Если будешь каждый вечер философствовать до первых петухов... то из твоей замороченной предками головы действительно проклюнутся рожки... мудрости.

— Значит, придётся срочно принимать профилактические меры. Пошли...

Мы заболтали эту сложную тему шутками, хотя оба понимали, что основные споры Филиппа с самим собой ещё впереди.

Пару недель спустя пришёл очень оживлённый ответ от отца. Он дописывал сцены расследования новыми подробностями и деталями, поздравлял с замечательным приобретением и завидовал Бахусу I — владельцу уникальной винной плантации. Письмо заканчивалось чистосердечным признанием:

— Старческое любопытство сильнее старческой лени. Жду приглашения на стаканчик вина. Строго секретное донесение: Элеонор уже спрятала на дне дорожного сундука тетрадку с красивыми рецептами. Мы оба пребываем в боевой готовности.

И опять, как четверть века назад, вся семья собралась под крышей нашего дома. Тогда мы все вместе создавали музей Прадо, сегодня — винодельню и ковроплетельню. Тогда мы трудились во славу короля и отечества, сегодня — на собственный карман. Тогда, четверть века назад, нас вдохновляли идея и... честолюбие, сегодня — жизненная необходимость. И,

признаюсь честно, новая работа таила в себе значительно больше свободы и радости. Во всяком случае, для меня.

Элеонор стояла в центре красильни, прижимая тетрадь к животу, подобно смущенной школьнице:

— Все эти рецепты я придумывала для шёлка, а у тебя — шерсть... Боюсь, на шерсти они не сработают.

— Не бойся. Не сработают — будем искать новые. Ты справишься, потому что, знаешь, где и как искать.

Мы организовали в старом заброшенном сарае экспериментальную мастерскую с печкой и небольшим чаном. Элеонор пришла в восторг от мастерской и качества ниток:

— Ты только посмотри, какое чудо и спрядены замечательно — ни узелков, ни разрывов... И красители твой управляющий купил очень неплохие, только пользоваться ими здесь толком не умеют. Некоторые цвета вполне приличные, а вот полутонов нет, а именно полутона, переходы создают настоящую картину.

Она перебирала нитки, смотрела их на свет, нюхала и терла между пальцами:

— ...и закреплять цвет не умеют. Смотри, — она показала свои пальцы, — слегка потёрла и руки уже перепачканы. Ладно. Придётся серьёзно поработать, — решительно бросила Элеонор и гордо направилась в свою «лабораторию».

Через полчаса, умирая от любопытства, я прокралась вслед за ней:

— А мне можно посмотреть, как ты работаешь? Пожааалуйста...

— Вообще-то я не люблю, когда у меня под ногами болтаются...

— Пожалуйста... уж очень интересно...

— Ладно, сделаю для тебя сегодня исключение, но учти... если вздумаешь хватать что-нибудь руками, или, что ещё хуже, давать советы — вылетишь моментально и бесповоротно.

Я опустилась в уголке на стульчик, как по команде зажав ладони между коленями. Так я сидела почти полвека назад в мастерской ювелира...

Думаю, воспоминания об этих месяцах будут согревать меня до конца жизни. Это было для нас всех своего рода жизненной кульминацией, последней яркой вспышкой.

Вскоре, вслед за старшим поколением, под крышу родительского дома потянулись дети. Первой приехала Франческа с мужем и детьми. Она представила нам своего первенца, свою гордость — Антуана.

— Пап, посмотри, у него точно твои глаза и рот, правда? Мам, правда, он больше всего похож на папу?

С ней трудно было не согласиться — Антуан действительно походил на Филиппа.

— А это — наш Норберт. Он...

Я присела перед малышом на колени... Эти с детства знакомые высокие дуги бровей, большие выразительные глаза цвета незагустевшего шоколада...

Норберт подошёл ко мне, провёл ручками по волосам, улыбнулся и радостно протянул:

— Бабушка...

И меня унесла волна нежности. Эти глаза, этот взгляд... Мама, мамочка! Неужели...?

Отец опустился на корточки рядом со мной и едва заметно потянул за рукав, а я, едва заметно, кивнула в ответ.

Голос Франчески вернул нас в действительность:

— Да, мы долго не могли понять, на кого похож наш младший сын, а потом нашли точно такое лицо с мелкими чертами, аккуратненьким носиком и любопытными карими глазками у двоюродного дяди моего мужа. В его честь мы и имя выбрали — Норберт.

Боже, какое счастье, что у людей такое количество родственников! Для любого ребёнка всегда можно подобрать подходящее лицо, скрыв, если надо, его истинное происхождение.

Вслед за Франческой прилетела Мария. И опять торжественное предъявление сыновей. Личико старшего — Родриго явно принадлежало семейству её мужа, а в младшем — Эстебане, скорее всего, повторится внешность моего отца.

Прошло дня три, и мы научились различать мальчиков не только по лицам, но и по характерам. У каждого появились свои любимцы. Только Элеонор, как когда-то бабушка, оставалась нейтральной. Похоже, первое место она навсегда подарила Марии.

В один из таких вечеров мы сидели вчетвером в гостиной — Франческа, Мария, Элеонор и я. Девочки, заметившие нейтралитет тёти Нору, пристали к ней с расспросами:

— Скажи, тебе наверняка милее всех маленький Эстебан. Ведь он — полная копия твоего любимого мужа?

Хитро улыбнувшись, старая дипломатка, как всегда уклонилась от прямого ответа:

— Все четверо совершенно очаровательны, но я жду от вас девочку. С девочками проще и теплее.

Мария, первая откликнулась на столь откровенный призыв:

— Ладно, в следующем году обещаю тебе девочку.

— Ишь ты, какая быстрая. А что, твоя девочка уже в пути?

— Пока нет, но обязательно будет... по твоему заказу, и назову её в честь тебя — Элеонор.

Франческа, загадочно улыбнувшись, обняла меня за плечо и притянула к себе:

— А я назову свою дочку в честь мамы — Еленой, и будет она почти во всём, мамочка, похожа на тебя.

— А чем твоя дочка будет от меня отличаться?

— Только одним, мамочка, — музыкальностью. У неё голосок будет чуть приятнее твоего.

Мы дружно расхохотались. Мои музыкальные способности давно стали семейным анекдотом.

Этот шуточный разговор оставил после себя, к сожалению, маленькую царапину. Зачем Франческе эта вечная конкуренция? Я понимала мотивы Марии. Как в детстве она подкладывала бабушкины колечки в шкатулку Элеонор, так и сейчас ей хотелось утешить и согреть бездетную тётю Нору. Ведь никто из детей не мог быть похож на неё. Но Франческа? Неужели она понимает только свою боль?

Покрасочные эксперименты Элеонор завершились полным и сногшибательным успехом. Уже через три месяца сушильная комната походила на предзакатное небо: проходя через вызывающе-синий, угрожающе-красный и жгуче-оранжевый, она успокаивала взгляд нежно-розовым, золотистым и лазурно-голубым.

Мы стояли посреди этой роскоши и умирали от восторга. Папа нежно обнял Элеонор за плечи:

— Ну, ты и умница! Это надо же такое сотворить!

Неужели под конец жизни он всё же понял, какое чудо подарила ему судьба? Щёчки

Элеонор порозовели, как у смущенной школьницы — видать за полвека совместной жизни не слишком много нежности и признания мужа выпало на её долю.

Минуту спустя, папа перешёл от романтики к делу:

— С таким материалом должен работать настоящий художник. Елена, помнишь молодого человека, писавшего твой портрет? Теперь он уже далеко не молод, так и не стал мировой знаменитостью, хотя работает лучше прежнего. У него есть вкус, фантазия и вечная нехватка денег. Хочешь, я пришлю его сюда? За скромный годовой доход он превратит твою богадельню в золотую жилу.

Так я стала обладательницей настоящей «золотой жилы».

Лето пролетело настолько быстро, что мы едва не пропустили наступление осени, сбор урожая и распродажу старого, готового вина. Первые деньги потекли в семейную копилку.

К зиме была готова первая партия великолепных гобеленов, сплетённых по рисункам папиного художника. Сперва мы хотели полностью закрыть производство ярморочного товара, но тут, на счастье увлечённых неопытных комерсантов, появился с ревизией мистер Паркер.

Расположившись как всегда в самом удобном кресле и вытянув длинные костлявые ноги к огню, он возмущенно протянул:

— Какая несусветная глупость! Разве можно разрушать хорошо налаженный рынок, не построив нового! На Ваши новые гобелены ещё нет ни одного покупателя, может никогда и не будет, а Вы уже готовы рубить под корень дерево, приносящее пусть не очень вкусные, но пользующиеся успехом плоды. Всё испортить Вы ещё успеете.

Филипп, признавая его правоту, очередной раз обозлился. Он, как и Франческа, не терпел вторых ролей. Оба родились с убеждением своего полного и неоспоримого превосходства над окружающим миром. Выше могли стоять лишь признанные историей авторитеты.

Не обращая внимания на раздражение Филиппа, Паркер продолжал делиться коммерческим опытом:

— Часто легче произвести хороший товар, чем сбыть его за хорошую цену. Сперва нужно ввести его в моду, создать на него повышенный спрос, а потом малыми порциями выбрасывать на рынок. Первое время он должен оставаться дефицитом, доступным лишь избранным, готовым заплатить любую цену, и только спустя пару лет к нему можно допустить широкую публику. А жить вам придется все эти годы на деньги, приносимые «ковриками» сеньора Гомеса.

Да, воистину век живи, век учись...

Я была бесконечно благодарна мистеру Паркеру за его бескорыстное участие в нашем деле. Что движет им? Почему он снова и снова приезжает в наш дом? Почему он с таким теплом реагирует на Норберта? Что это — голос крови, или знакомые черты?

Однажды, набравшись смелости, я, полушутя, задала вопрос:

— У Вас, если не ошибаюсь, тоже трое внуков, вернее внучек. Они тоже такие же разные, как наши?

— Да, мои внучки мало похожи друг на друга. В них намешано столько разной крови.

— А какая преобладает?

— Какая преобладает? Трудно сказать. Старшая девочка — рыжеволосая ирландка, а младшая... Она, пожалуй, скорее моей масти. Странно, но суть лица, брови... в них есть какое-то неуловимое сходство с Вашим Норбертом... наверно поэтому я и разговариваю с ним охотнее и чаще, чем с другими. В поездках очень скучаю по своим девочкам.

Его ответ опять растревожил моё воображение. Почему наши внуки похожи? А что, если он был женат на моей сестре? Что, если он знал мою маму?

Какая несусветная глупость! Я уже тысячу раз убеждалась, что изобретательность природы не бесконечна. Она придумала пару десятков глаз, бровей, губ и носов и собирает из

них человеческие лица, как мозаику. В любом можно, при желании, найти знакомые черты, и для этого они вовсе не обязательно должны быть родственниками.

Глава 19

В те годы, несмотря на постоянное внутренне сопротивление, даже Филипп готов был беспрекословно следовать наставлениям мистера Паркера. Весной по его рекомендации, состоялись две выставки гобеленов малоизвестного, но очень талантливого художника. Первая — у нас в «замке», вторая — в Мадриде. Приглашения на первую, неофициальную, получили лишь избранные. Им, по нашей задумке, предстояло разнести слух о восходящей звезде. На вторую, мадридскую, высший свет ломился уже без приглашений. Себя мы объявили меценатами — первооткрывателями, утаив, естественно, кровную финансовую заинтересованность.

Гобелены были и в самом деле великолепны. В те годы, когда общее напряжение — войны, революции, крушение отдельных судеб и всего народа в целом раздирало обнажённые человеческие нервы, этот праздник цвета, эти островки покоя и умиротворяющей красоты действовали на людей, как целебный бальзам. Его хотелось впитывать часами и чувствовать, как затягиваются нанесённые жизнью душевные раны.

Многие готовы были тут же, заплатив любую цену, прихватить парочку сокровищ домой и там, в тёплом, уютном одиночестве пестовать и ублажать уставшую, изболевшуюся душу. Но у нас были строгие инструкции, авторитет которых оказался сильнее трудно преодолимой людской жадности.

Лишь весной наш художник получил разрешение начать продажу своих работ по принципу аукциона. Почти вся коллекция разошлась по рукам в течении первых двух недель. Один гобелен, по совету Паркера, был подарен музеем Прадо. Три, больших и красивых, — особо влиятельным особам в качестве благодарности за будущую поддержку, но самый лучший получили естественно мы, глубокоуважаемые меценаты.

Мистер Паркер похвалил послушных предпринимателей за грамотное выполнение инструкций и в награду пообещал дальнейшее руководство делом.

В то же самое время Мигель начал обучать меня основам бухгалтерского учёта, и это, как ни странно, оказалось самым страшным испытанием в моей жизни. Даже правила хорошего тона под руководством Элеонор не вызывали такого бурного протеста, как эти дурацкие расчёты.

— Мама, я объяснил тебе уже четыре раза, куда надо заносить долгосрочные инвестиции, а куда — одноразовые траты. Почему ты пишешь это опять не в ту графу? О чём думает твоя голова?

— Сынок, она вообще не думает. Мои старые, заржавевшие мозги зацепились друг за друга и больше не крутятся. И почему я вообще должна этим заниматься?

— Не хочешь — не занимайся. Предоставь сеньору Гомесу надувать вас и дальше по полной программе... а свою заржавевшую голову помести в кресло у камина и займи её вязкой тёплых чулок.

— Терпеть не могу вязать чулки. От этого дурацкого занятия пальцы болят.

— Так что у тебя заржавело? Мозги или пальцы?

— И то, и другое.

В такие минуты я лопалась от злости на саму себя, на собственную беспомощность и безграничную тупость, с трудом преодолевая желание выбросить в окно всю эту отвратительную кипу бумаг... а вслед за ними Мигеля и бесстыжего Гомеса, не удосужившегося родиться честным человеком.

— А знаешь, сынок, — ныла я самым подхалимским голосом. — говорят, даже самого тупого и зловредного мопса, если проявить достаточно терпения, можно научить подносить хозяину тапочки. А ты...

— Слушай ты, мопс... Я пошёл на прогулку, а ты... бери в зубы тапочки и учись их носить. К моему возвращению они, тёпленькие и чисто вылизанные, должны стоять у дверей. Не научишься — отправлю на стажировку в гарем.

— Ну, ты и злопамятный!

— А вот какой есть.

К возвращению Мигеля заскорузлые, изжёванные и обслюнявленные тапочки отдыхали на пороге гостиной, а я, измученная непомерными мозговыми усилиями, сидела в кресле и... вязала чулок.

Под конец всё же народная мудрость опять оказалась на высоте — не прошло и месяца, как я обучилась этой сложнейшей собачьей премудрости.

Не подвела народная мудрость, к сожалению, и в отношении Филиппа. На каждую бочку мёда найдётся своя ложка дёгтя. С ним дела обстояли всё хуже и хуже. У моего мужа хватило изобретательности и энергии отвоевать у приказчика наше имущество, но заниматься им он категорически не хотел. Высокомерные предки бдительно наблюдали со своих портретов за Филиппом XV, и под их всевидящим оком он так и не посмел замарать «торговлей» свои тонкие, аристократические руки. Одного не понимал мой потомственный аристократ: как может его жена, не стесняясь ни прислуги, ни портретов, ковыряться целыми днями в своих бумагах и пересчитывать деньги.

— Знаешь, я смотрю на тебя и, честно говоря, искренне сочувствую.

— В чём же мне, милый, так не повезло?

— С мужем, дорогая, с мужем. Тебе нужно было в своё время выйти замуж за мистера Паркера. Сидели бы долгими зимними вечерами дружно взявшись за руки, и составляли бухгалтерские отчёты.

Я вздрогнула от неожиданности — Филипп приблизился вплотную к опасной черте. Что это — звериная интуиция, или случайно попавшая в цель невинная шутка?

По сути, он не был так уж и не прав. Когда-то в детстве я мечтала выйти замуж за «нормального еврейского мужчину». Он вполне мог оказаться похожим на мистера Паркера, естественно, не внешностью, а характером. Мне, в отличие от Филиппа, не нужно было выворачивать себя наизнанку, приспособливаясь к новым условиям жизни. Я родилась и сформировалась в среде, где умение трудиться, творить и зарабатывать деньги считалось почётным. Стыдно было быть бедным, бездарным и ленивым. Судьба под конец жизни вернула меня туда, откуда безжалостно вырвала сорок лет назад. Наконец, я жила и дышала полной грудью... а мой муж с замороженной предками головой чахнул день ото дня, превращаясь постепенно из Бахуса в козлоногого, вечно пьяного Сатира.

Неутомимая карусель жизни несла меня по замкнутому кругу. Её однотонное, скрипучее кружение было остановлено новым, сокрушительным ударом.

Открытое письмо на столе... неровный, заваливающийся на бок почерк Элеонор...

«Он бросил меня... мой муж... твой отец... Врач сказал — умер от разрыва сердца.

С лошади падал уже мёртвым... писать дальше не могу. Плохо с сердцем.

Даже сейчас, по прошествии года, я тоже не могу об этом писать. Плохо с сердцем.

...Девятый день после смерти отца... Я стою перед свежей могилой, и по лицу стекает дождь, перемешанный со слезами. Это плач по отцу, по пустоте и незащищённости, по единственному в мире человеку, признавшему моё право оставаться самой собой. Это плач по одинокой, запутавшейся во лжи жизни.

Машинально читаю надгробные надписи: «Мигель-Эстебан-Родриго де Гардо» и рядом — «Мария-Эстрелла-Регина де Гардо»

Почему у них с бабушкой одинаковые инициалы? Почему они, разорвав мою суть на две половины, спрятались под этими проклятыми камнями, так и не научив, как с этим жить дальше?

После похорон все разъехались по домам. Я задержалась на пару недель у Элеонор, надеясь уговорить её переехать ко мне.

— Елена, родная, оставь меня, пожалуйста, в покое. Моё место здесь, рядом с ним. До конца.

Мутные, редкие слезинки, просачиваясь из полуприкрытых глаз, застревали в косых морщинках, так и не добежав до подбородка.

— Почему он умер так быстро, почему ушёл, не попрощавшись? Так ничего мне и не сказал...

Я обнимала её сгорбившиеся, внезапно высохшие плечи, гладила поседевшие волосы и не находила слов утешения. Бедная, обездоленная женщина! Как глупо и жестоко обошлась жизнь с ними тремя. Мама, всю жизнь любимая этим случайным мужчиной, так никогда и не узнала о подаренном ей счастье. Элеонор, посвятившая всю себя мужу, так и дождалась ни любви, ни признания. А он... боже, с каким восторгом и нежностью он вглядывался в личико Норберта, проводил пальцами по бровям и щёчкам. Шутил, вызывая улыбку на знакомых мне с детства капризно изогнутых губках. Он впервые знакомился с лицом женщины, о которой грезил всю жизнь. Чем я могла утешить Элеонор?

— А может для него так лучше? Он не мучился, даже не успел испугаться. Просто взял и умер. Было бы гораздо страшнее, если бы он, как его отец, много месяцев провёл парализованным в постели.

Не могла же я сказать ей правды. Сказать, что она, как бабушка, могла бы принять его мычание за объяснение в любви, а потом обнаружить, что он зовёт совсем другую, чужую женщину.

Мы сидели, прижавшись друг к другу плечами, и каждая думала о своём. А потом вдруг поменялись ролями. Элеонор вытирала рукой слёзы, застрявшие в моих морщинках и убеждённо шептала в ухо:

— Не убивайся так. Ведь ты же не одна. У тебя есть Филипп, дети, внуки. Посмотри, на кого ты стала похожа. Тебе ещё рано стареть.

— Не у меня, а у нас с тобой есть дети и внуки. Мы должны ещё дождаться и воспитать внушек — Элеонор и Елену. Девочки нам обещали.

Я опять совершаю знакомый с детства путь — из дома в «замок». Да, именно так — из дома. Замок Филиппа, переполненный его прошлым, так и остался для меня чужим. Карета медленно катила туда, куда совсем не хотелось возвращаться. Зачем мне этот пустой, холодный, покрытый вековой пылью дом? Мигель сразу после похорон уехал на стажировку в Америку к мистеру Паркеру, обещав отцу вернуться через полгода на родину и поступить на государственную службу. Девочки погрузились с головой в семейные заботы, и только Филипп, унылый и несчастный, с нетерпением ждал моего возвращения. Ему нужен был кто-то, кому он ежевечерне выплёскивал бы на голову свои сожаления о неудавшейся жизни и чувство вины перед предками.

А для чего мне вообще жить дальше? Все успехи и поражения, все разочарования и надежды остались в прошлом. Всё один раз уже **было**. Впереди маячат пустота и скука. Хорошо бы сейчас умереть, закрыть глаза и исчезнуть. По мне погрузят немножко Мигель и Мария, прольёт пару пьяных слезинок Филипп, капризно скривит губы Франческа, но это всё ерунда. Дети отряхнутся и займутся своими делами дальше. Филипп... не знаю, может,

оставшись один, он с повинной вернётся в Мадрид и предложит свои услуги новому правительству... Скука, тоска, камень на шее и звон в ушах...

Единственный уголок в мире, мастерская, увешанная тёплыми, мягкими гобеленами, радовала своим приближением.

Я стою посередине мастерской и чувствую, как комок, подступающий к горлу, давит на сердце и отнимает руки. Нельзя было сюда приходиться. Каждая пылинка, каждый клочок ниток вызывают острую ностальгию по прошлому. Отец, обнимающий Элеонор за плечи, её подевочки порозовевшие щёки... Как они оба были красивы. Он, приблизившийся вплотную к семидесяти, умудрился сохранить моложавую стройность, лишь слегка подсохнув и ссутулившись. Только волосы... густые, как в молодости, стали совершенно серебряными. Как подходило это серебро к его серо-голубым глазам! А Элеонор... ещё год назад высокая, статная с абсолютно свежим лицом и гладко зачёсанными волосами... Как она смотрела на своего мужа!

Я присела на свободный стульчик у незаконченного гобелена. Перед глазами то медленно и плавно, то резкими рывками проносились картины из прошлого.

Отец, слившийся воедино со своим жеребцом, и две одинаковые гривы, уносимые ветром... гордо поднятый профиль: «...на дуэли не стал бы с ним драться. Дворяне не дуэлируют с простонородьем»... сильные, надёжные руки, поддерживающие моё спотыкающееся, напившееся тело: «...да не задирай ногу так высоко. В таком состоянии две ступеньки всё равно не одолеешь»... Наша первая встреча и первые слова, обращенные ко мне: «Через пару лет, когда немножко подрастёшь, я отвечу на все вопросы, которые крутятся у тебя в голове, а сейчас прошу об одном — не бойся меня. Я не причиню тебе зла. Надеюсь, со временем мы станем друзьями».

Папа, ты выполнил своё обещание. Ты ответил на все вопросы, и мы стали самыми близкими друзьями.

Прошлым летом ты пережил здесь последний всплеск активной, наполненной творчеством и страстью жизни. Впервые оценил по достоинству свою жену, впервые увидел улыбку женщины, очаровавшей тебя, девятнадцатилетнего мальчишку, почти полвека тому назад. Что ты чувствовал, возвращаясь домой? Может то же, что и я сейчас? «Зачем жить дальше? **Всё** один раз уже было. Ждать больше нечего». Приехал домой, подвёл итоги и умер. Допел мелодию, оборвав её на самой красивой ноте.

Если так, то пусть холодная земля будет тебе пухом. В этот момент я окончательно приняла и смирилась с его смертью.

Мысли опять вернулись к гобеленам. Странно. Неужели душе так темно и тошно, что даже они не в состоянии её ни освежить, ни порадовать? Куда подевалось их чарующее свечение? Я переходила от одного станка к другому, но, ни одна работа не заговорила со мной, ни одна не посочувствовала и не утешила. Может в это время дня в мастерской слишком темно?

Я собрала в стопку рисунки, приготовленные художником, вернулась домой и разложила их на полу перед окном в свете неярко, задёрнутого тонкими, прозрачными облачками солнца. Света было достаточно, но картины по-прежнему молчали.

Скрипнула дверь... У меня за спиной покачивались две нетрезвые ноги.

— Не устаю тебе удивляться. Женщина с двойным дном.

— Это как?

— Очень просто. Снаружи — романтическая, нежная, до сих пор ещё достаточно привлекательная, а внутри — охотничья собака, вернее — английский бульдог. Вцепившись зубами в свою жертву, не выпустишь её, пока не затерзаешь до смерти.

— Что ты имеешь в виду?

— Эти картины. Неужели сама не видишь, что в твоём художнике лопнула пружина, как впрочем, и в тебе самой. Они пусты.

— А что же теперь с ними делать?

— А что делают с пустыми, ненужными вещами? Выбрасывают на помойку.

— А на что мы будем жить?

— Не говори глупостей. На нашу, более чем скромную жизнь, вполне хватит того, что есть. Всё равно недолго осталось.

Меня поразило спокойствие, с которым он говорил о приближении конца.

— А чем же тогда заниматься? Не пить же вино с тобой на пару с утра до вечера?

— А почему бы и нет? Вдвоём грешить веселее.

— А может, лучше поехать в путешествие? Например, в Италию. Помнишь, как нам было хорошо в Венеции?

— Когда это было... Тогда нам везде было хорошо. А что сейчас? Дышать гнилью веками нечищенных каналов или шляться по узким, грязным улочкам, спотыкаясь о развалившихся на дороге нищих? Нет уж. Лучше сидеть дома и пить вино.

Филипп повернулся к окну, наблюдая за выскользнувшим из паутины облаков солнцем.

— А знаешь, старушка. Хватит преклонять колени перед этими сокровищами. Не стоят они твоих стараний. Пошли-ка лучше гулять.

Он протянул мне обе руки и помог подняться на занемевшие в неудобной позе ноги...

Два дня спустя состоялась встреча в мастерской с папиным художником. Он выглядел усталым и растерянным.

— Ну что, графиня, вам тоже не понравились мои новые рисунки?

— А кому ещё они не понравились?

— Мне самому. Что-то совсем перестало получаться. Знаете, похоже, мне очень не хватает Вашего отца. Он так тонко чувствовал цвет, композицию... Да нет, пожалуй, дело не в этом... Просто его присутствие меня вдохновляло. Он в меня верил, и это очень помогало. Сейчас его нет, и всё валится из рук. Даже не знаю, что и делать.

— Честно говоря, я тоже не знаю. Первые были совсем другими. И потом... Следующая выставка должна состояться через три месяца. Договор заключён, деньги заплачены, приглашения разосланы... Нам не успеть начать всё с нуля.

— А как же быть?

— Боюсь, придётся выставить то, что есть. Будем надеяться, публика не сразу заметит разницу.

В назначенный срок мы отправились в Мадрид готовить выставку. Мы — это художник, сеньор Гомес, несколько рабочих и я — представитель семьи меценатов. Художник готовил её со знанием дела — подбирал по цвету, размерам и сюжетам, учитывал освещение и прочие эффекты восприятия, и, тем не менее, публика сразу заметила разницу. Разочарованные гости, скучая, бродили по залу, обмениваясь далеко не лестными замечаниями, и ничего не покупали. Автор пытался потоком красноречия возместить иссякший талант, но публика, вежливо выслушав его объяснения, торопливо разъезжалась по домам, оставляя нас наедине с непризнанными ею шедеврами.

Через неделю стало ясно — на этот раз мы с треском провалились. Оставаться дольше не имело смысла. Я дала указание снизить цены до предела, продать то, что удастся, а остаток через некоторое время отвезти на ближайшую ярмарку.

Домой вернулась на неделю раньше намеченного срока.

Последние ступеньки преодолевались с трудом. Ноги казались одновременно ватными и непомерно тяжёлыми. Ещё пару шагов, и желанное кресло примет меня в свою тёплую, мягкую глубину.

С грохотом распахнувшаяся дверь спальни чуть не сбила с ног. Молодая горничная, топоча по паркету толстыми босыми пятками, в панике промчалась по коридору и скрылась в бельевой комнате. Её рыхлый, бесформенный зад, едва прикрытый накинутой на голые плечи юбкой, колыхался и подпрыгивал в такт с отбивающими дробь белыми ляжками. Боже, какая гадость! Это чудовище с поросычьими глазками в моей кровати и с моим мужем!

Ничего не понимая, вернулась назад, присела к столу в своём кабинете и прикрыла глаза. В этот момент я испытывала всё что угодно, только не ревность. Когда-то, во времена Шанталь, всё было иначе. Филипп был влюблён. Он предпочёл меня молодой женщине, пусть не очень умной, но невероятно привлекательной, а сейчас... Что это? Зачем ему нужен этот огрызок с коротким носом, придавленным двумя рыхлыми, подпрыгивающими на ходу щеками?

Я сидела у стола, машинально перебирая лежавшие на нём бумаги. Дверь, противно скрипнув, впустила в кабинет полупьяного Филиппа. Некоторое время он молча раскачивался у меня за спиной, а потом перешёл в наступление:

— Ну что, бульдог. Опять вцепилась в свои бумажки? Можешь разжать зубы. Они тебе больше не понадобятся.

— Кто? Зубы?

— Насчёт зубов не знаю, а бумажки точно не понадобятся.

— Почему?

— Потому что у тебя больше нет собственности. Позавчера я всё проиграл в карты. Подчистую.

— Неужели эта красавица так дорого запросила за свои услуги?

— Заткнись...На... Читай.

Филипп бросил на стол скомканный лист бумаги, исписанный мелким, решительным почерком Мигеля.

Он сообщал, что принял окончательное решение не возвращаться в ближайшие годы в Европу. Мистер Паркер предложил ему работу в своём концерне. Вначале он будет одним из главных управляющих, а со временем станет компаньоном, ведь наследников мужского пола у Паркера нет.

Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Мигель остаётся в Америке... А как же я без него? Ведь у меня больше никого не осталось... Этого не может быть...

Поток отчаяния прервал громкий, визжащий голос Филиппа:

— Мерзавец, подонок, негодяй! От всего этого на расстоянии несёт твоим мистером Паркером. Граф де Альварес на службе у мерзкого, вонючего еврея!

Я была в таком шоке, что вопросы, слетавшие с онемевших губ, не имели ни смысла, ни значения.

— А почему евреи вонючие?

— Это мерзкие, грязные твари. У них нет ничего святого. Только деньги. Золотые дукаты вместо глаз. Ни чести, ни совести! Сперва прикормил моего сына, как бродячую собаку, а потом украл.

.....

— Это ты во всём виновата. Распустила мальчишку, воспитала продажной, беспринципной тварью... Хотя чего ещё можно от тебя ожидать? Думаешь, я не видел, как ты

смотрела на этого Паркера и облизывалась, слушая его разглагольствования о деньгах и политике, как ты вообще смотрела на всех мужчин, говоривших тебе комплименты и целовавших ручки. Всё видел, но молчал, потому что знал — ты такая же, грязная, безнравственная потаскуха, как твоя мать. Яблоко от яблони недалеко падает.

В этот момент я поняла, что всё кончено. Не хочу слушать этот срывающийся на визг голос, не хочу смотреть на нацеленный мне в лицо длинный указательный палец, вообще больше ничего не хочу и... не могу. Только покоя и тишины.

— Моя мать не была ни грязной, ни безнравственной.

— А кем ещё была эта молодая тварь, выбросившая внебрачного ребёнка на помойку?

— Она была замужней еврейской женщиной, матерью двоих детей, случайно изнасилованной моим отцом во время погрома.

Наконец наступила желанная тишина.

— Что ты сказала?

— То, что слышал.

Филипп, бледный с трясущимися губами, ещё с минуту раскачивался у моего кресла, а потом резко повернулся и вышел из комнаты.

Вот и всё.

Часа через два, протрезвевший и осунувшийся, он вернулся обратно.

— Значит так. Я уезжаю. Вернусь через неделю. У тебя достаточно времени, чтобы собрать свои вещи и навсегда покинуть мой дом. Так, чтобы ни малейшего следа твоего пребывания здесь не осталось. Сына у меня больше нет. И жены тоже. Я вас проклял и что с вами обоими будет дальше — меня не интересует.

....— Последнее требование... или, если хочешь, просьба... Хотя, просить о чём-либо женщину без стыда и совести, скорее всего, бесполезно.

— О чём ты хочешь меня попросить?

— Не пытайся вступать в контакт с дочерьми. Исчезни. Навсегда исчезни из их и моей жизни. Не надо им знать этой грязи. Пусть живут спокойно, ни о чём не подозревая. Так для них будет лучше.

— Ладно. Обещаю не искать с ними встречи. Прощай и прости, если сможешь.

— Не смогу. Никогда не смогу. Предательство длиною в жизнь.

Глава 20

Данная на сборы неделя подходила к концу. В первый же день отправила письмо Элеонор, предупреждая о своём приезде. Упаковала портрет прабабушки и свой портрет — круглый медальон размером с ладонь, оправленный в простую деревянную рамочку. Все личные вещи уместились в двух среднего размера деревянных сундуках.

Последний раз в жизни возвращаюсь из «замка» домой. Я знаю эту дорогу наизусть, до последнего камня, до последнего поворота. Впервые проехала по ней двенадцатилетним ребёнком, переполненным первой влюблённостью и радужными надеждами. Сегодня — пятидесятилетней женщиной, уставшей от тревог и несбывшихся надежд.

Впрочем, зачем я вру самой себе, зачем эта никому не нужная патетика? На самом деле все мои надежды сбылись, все кроме одной — Филипп не простил многолетней лжи. В глубине души всегда теплилась надежда, что его привязанность окажется сильнее предрассудков. Что, в конце концов, за беда — лишняя пара капель чужеродной крови. Человечество тысячелетиями занималось кровосмесительством, и боги, конкурируя друг с другом, с

любопытством наблюдали за результатом: чья кровь окажется сильнее, чья суть победит. Надеюсь, что после всего пережитого вместе, моё происхождение уже не имеет никакого значения.

И опять я зачем-то вру. Ещё отец предупреждал, что Филипп фанатически предан своему роду, его чистоте и традициям, и у меня было достаточно возможностей убедиться, что годы не изменили его ни на миллиметр. Так на что я рассчитывала, провоцируя последний взрыв? На чудо?

Равномерное покачивание кареты... ритмичный скрип плохо смазанного колеса... резь в глазах и пощипывание в носу... Проснулась уже на подъезде к дому.

Элеонор встречала меня на пороге, как я когда-то встречала Филиппа, провела в гостиную и напоила чаем.

— А теперь рассказывай, что случилось. Судя по багажу, ты приехала надолго.

В ближайшие два часа она узнала всю историю моей жизни. От начала и до конца.

— И что же, детка, нам теперь делать? Неужели это конец?

— Да, милая, это конец.

И опять мутные, водянистые слезинки, вытекавшие из её глаз, застревали в избородивших лицо морщинах.

— Ладно, как говорят старики, утро вечера мудренее. Пошли спать. У нас впереди годы, чтобы в досталь наговориться.

Утром, после завтрака, я отправилась в парк за своим дневником. На этот раз не пришлось кружить по дорожкам в поисках раздвоившегося дерева. Оно само вышло мне навстречу. Боже, каким оно стало большим и старым... и почему-то прямым. Наклонившись к стволу, разглядела новые ветки, выброшенные обрубок. Надо же. Он не сгнил и не засох. Отдохнув пару десятков лет, залечил старые раны и пустил новые побеги. Вот это живучесть! Мне бы так.

Присев на землю у старых корней, задумалась о прожитой жизни. Несколько раз она предоставляла мне возможность сказать Филиппу правду. Первый раз — до свадьбы. Не бежать в кусты, а довести разговор до конца. Второй раз — перед аудиенцией у Фердинанда, и третий — после неё. Что было бы, если бы я тогда на это решилась? Да ничего. Ни Франчески, ни Марии, ни Мигеля. Не было бы ни путешествий в цветные озёра, ни ревности к Шанталь, ни музея Прадо, ни лицеев для среднего сословия... вообще ничего бы не было. Вместо всего этого — унылая, монотонная жизнь рядом с тёплым, уютным, как домашние тапочки, уравновешенным до тошноты мужем. А как прожил бы свою жизнь Филипп? Рано или поздно женился бы на одной из светских Шанталь. Пару лет с восхищением заглядывал бы в зелёные, кошачьи глаза, целовал тонкие, нежные руки, заткнув уши ватой, чтобы не слышать глупого, назойливого мяуканья, а потом помчался бы искать утешения у весёлых куртизанок или толстопятых горничных. Было бы нам обоим лучше от моей правды? Вряд ли, хотя Филипп наверняка думает иначе.

Тяжело поднявшись с земли, откопала дневник и печально поплелась домой. Следующие дни, запершись в комнате, перечитывала свою историю, пытаюсь понять, зачем под конец жизни разразилась никому не нужной правдой.

...Наизусть перечитывала строчки из письма Мигеля:

« Я принял окончательное решение в ближайшие годы не возвращаться в эту протухшую, извоевавшуюся до полного изнеможения Испанию. Служить расштатавшемуся, постоянно переходящему из рук в руки трону, вечно сменяющемуся правительству и не знать, кто станет твоим хозяином завтра... Нет, это не для меня... Познакомившись с экономической системой Америки, я понял, что только тут есть шанс на интересную, приносящую реальные плоды работу и жизнь...»

Ни одного тёплого слова, ни сочувствия, ни сожаления, а ведь он прощался со мной навсегда! Разве так можно?

Это повальное предательство! Бабушка и папа, потеряв интерес к жизни, сбежали на кладбище, скрывшись под помпезными надгробьями, украшенными золочёными инициалами «М. Э. Р. де Г.». Мигель затерялся за океаном, отбросив меня в сторону, как истёртую, ставшую тесной детскую курточку... Почему ни кто из них не подумал, как больно и страшно оставаться одной? Мне хотелось тишины и одиночества? Я их получила. Сполна.

Мы с Элеонор совершаем обязательную дневную прогулку по парку, изредка обмениваясь замечаниями о погоде, природе и прочей ерунде. Прервав очередное затянувшееся молчание, Элеонор решительно остановилась и повернула меня лицом к себе.

— Я давно хотела спросить, почему никто из вас не решился рассказать мне правду о твоей матери? Неужели в этой семье мне настолько не доверяли? Думали, разнесу сплетню по всему свету?

— А что бы это изменило в твоей жизни?

— Всё.

— Как?

— Как? Знаешь, как я жила все эти годы? Бог покарал меня бесплодием, а мой муж привёз домой «плод своей романтической любви», ребёнка, родившегося до нашей свадьбы. Он любил женщину, на которой не смог жениться, а меня выбрал в качестве прикрытия. Я всю жизнь сходила с ума от ревности, гонялась за призраком несуществующей возлюбленной. Мигель уезжал на несколько дней, возвращался счастливый и рассказывал про какие-то дурацкие купола, а я думала: «Зачем врешь? Я ведь не задаю тебе никаких вопросов. Был у своей любовницы, ну и молчи. Зачем унижаешь меня вдвойне — изменяешь и врешь». Слышать не могла этого вранья, перебивала первой, пришедшей в голову глупостью. А они, мать и сын, пожимали плечами и смотрели на меня, как на полную идиотку.

Знаешь, как было тяжело. Я отошла от него на длинную дистанцию, спряталась в своей жизни, как в коконе. Многие годы мы были совершенно чужими, хотя, лучше моего мужа для меня никого не было.

Я вспомнила, как гонялась за призраком тайной возлюбленной Филиппа. Мне хватило полугода, чтобы расчесать тело до незаживающих болячек. Бедная, откуда у неё взялись силы прожить с этим всю жизнь и сохранить при этом доброту и разум, вышивать замечательные картины, часами ловить отблески солнца на водяной лилии, музицировать, придумывать особые рецепты для красок и любить моих детей?

— Элеонор, а почему ты так запаниковала, заметив моё сходство с прабабушкой?

— Почему запаниковала? Да очень просто. Моя свекровь всю жизнь твердила об этом сходстве, а я его никогда не замечала. В детстве у тебя действительно были отцовские глаза и больше ничего. Ничего общего с лицом на портрете. Думала, это бабушкина хитрость, попытка отвлечь внимание окружающих от какой-то реальной персоны.

Была уверена, что ты как две капли воды похожа на свою мать, и он, твой отец, встречаясь с ней лишь изредка, имеет возможность любоваться любимыми чертами каждую минуту. Поэтому и запаниковала. Значит, не маячила она постоянно у него перед глазами... Не обижайся. Я говорю с такой злостью не о твоей маме, а о женщине, которую сама придумала.

— Я не обижаюсь, потому что знаю, как сильна злость на женщину, к которой ревнуешь. Сама прошла через это. Дважды.

Мы молча прошли до конца аллеи и повернули обратно.

— Скажи, а что стало потом с твоей мамой?

— Не знаю. Я больше её никогда не видела.

— Но хоть помнишь её немножко?

— Помню. До последней чёрточки, до запаха. Особо остро прочувствовала её боль, когда родила своих детей. Представила, как в один прекрасный день приходят чужие люди и насильно отнимают у меня одного из них. Ужас. Как она с этим жила дальше?

— Бедная женщина.

По щекам Элеонор опять побежали слезинки.

— Боже, как мне жалко всех нас. Себя жалко, тебя и её тоже. Если бы я тогда знала правду!

Мы брели по дороге, понуро свесив головы и задавая себе один и тот же вопрос: «Не слишком ли высока цена, которую мы платим за ложь, свою и чужую?»

Один день нанизывался на другой, вытягиваясь в длинную, монотонную цепочку, наполненную грустью и сожалениями о прошлом. Казалось, мы уже обо всём переговорили, но не проходило и дня, что бы у одной из нас не всплывал в памяти очередной эпизод:

— А помнишь, тогда.... Что это было на самом деле?

В один из таких дней Элеонор, пристально посмотрев мне в глаза, как бы невзначай, спросила:

— Неужели черты твоей матери не проявились ни в одном из детей... или внуков?

— Проявились. У Норберта. В нём много от моей мамы и от старшего брата.

— Я так и думала. Ты смотрела на него совсем не так, как на других детей... и твой отец тоже.

— Ты права, он практически впервые увидел лицо женщины, с которой, полвека назад в полном безумии провёл несколько диких минут, и которая, против воли, одарила его таким разветвлённым потомством.

— Да. Я это заметила.

....и минуту спустя добавила:

— Пожалуй, Филипп прав. Не нужно Франческе ничего знать. Добра ей это не принесёт.

Обычно скуповатая на объятия и ласки, я обняла Элеонор, прижавшись головой к её плечу:

— Родная моя, почему я раньше не знала, какая ты умница?

— Ладно, ладно. Теперь знаешь. Как говорят в народе, лучше поздно, чем никогда.

Не обращая внимания на наши печали, время продолжало предопределённое ему природой круговращение, подлечив на ходу мою уставшую от сомнений и угрызений совести душу. Пришла пора братья за решение практических вопросов. Не могу же я до конца жизни существовать на скромное наследство, оставленное отцом жене. Надежда на бабушкин «неприкосновенный запас» была не велика. Вряд ли он пережил политические и финансовые бури последних десятилетий, но навести справки всё же следовало. А вдруг....

Я собралась в дорогу, пообещав Элеонор вернуться, как только справлюсь с делами. Вопреки всем ожиданиям, спрятанные бабушкой деньги не только не растворились, но даже слегка подросли и припухли. Ах ты, старая хитрюга! Я слишком хорошо знаю тебя, что бы поверить, будто ты сама до такого додумалась. Ни ты, ни папа не имели ни малейшего представления о банковских операциях. Кем был твой таинственный наставник, придумавший и организовавший эту блестящую операцию? Было ли в твоей шкатулке действительно только два письма от бесследно заблудившегося в России старшего брата, или значительно больше? Ты говорила, он был очень опытным банкиром. Бабуля, почему ты так испугалась, когда я

предложила заняться его поисками? Ещё одна тайна, бесследно исчезнувшая под позолоченными инициалами «М.Э.Р.де Г.»

Дома я застала Элеонор в полной растерянности. За обедом она задумчиво ковырялась вилкой в тарелке и, нанизав на неё пару ломтиков картофеля, забывала положить их в рот. Не выдержав царящего за столом напряжения, я отодвинула в сторону тарелку с едой, такой вкусной после двухнедельного рациона второсортных гостиц, и выжидательно уставилась на свою мучительницу:

— Пожалуйста, не молчи. Что за новая беда у нас приключилась?

— Это не беда. Это письмо от Марии. Хочешь почитать?

— Но ведь она писала не мне?

— Нет. Она писала мне, но о тебе. Читай.

Взволнованно прыгающие, набегающие друг на друга строчки, множество исправленных и перечёркнутых слов в начале письма и решительная стройность и строгость букв в конце.

«...Папа сказал, что они с мамой расстались. Нет, не так. Он сказал, что мама предала нас всех, что она всю жизнь лгала, ведя предательскую двойную жизнь. Когда её ложь случайно открылась — в спешке сбежала, не пожелав вступать ни с кем из нас в какие-либо объяснения. Скрылась, заметя за собой все следы.

Я написала Франческе в надежде узнать у неё какие-либо подробности. Получила очень короткий и сухой ответ. Она полностью на стороне отца, очень ему сочувствует и жалеет. Более того, якобы всегда чувствовала, что мама не та за кого себя выдаёт. Всегда чувствовала в ней двойное дно. Короче, её, как и отца, не интересует ни где мама, ни что с ней. Я этому не верю. Может, я и не так умна, как Франческа, но умею чувствовать душу людей. В моей маме никогда не было двойного дна, она могла в чём-то запутаться, но не предать. Тётя Нора, ты единственный человек, кто может о ней что-то знать. Ведь кроме тебя у неё никого не осталось. Если увидишь маму, передай — я очень люблю её и очень волнуюсь.

Целую. Мария.

P.S. Сегодня утром пришло письмо от Мигеля. Он тоже тревожится и ищет маму. Если найдёшь её, передай обязательно наши письма.

Мария.

Трясущимися руками развернула второе письмо, адресованное Марии:

« ... Я сообщил родителям о своём намерении остаться в Америке. По сути, я обращался только к отцу. Знал, что он никогда не смирится с моим решением и не простит. Маме я написал отдельно, но не отправил по почте. Отец никогда не отдал бы ей моего письма. Поручил одному из своих поверенных, отправлявшемуся в Испанию, посетить указанный дом и передать письмо графине в собственные руки. Адресата он не застал. Хозяин дома сообщил, что графиня здесь больше не живёт. Она бесследно пропала и никто не знает куда. Мария, я очень тревожусь за маму».

Мигель просил сестру связаться с тётей Норой, потому что только она может что-то знать обо мне.

Я несколько раз перечитала оба письма.

Какой всё же Филипп подлец! Я никому никогда не врала. Филипп ни разу не спросил о моей матери, я и не рассказала!

Хотя нет, врала. Дважды наврала Франческе. Один раз в беседке, а второй — держа на руках трёхмесячного Норберта. Она интуитивно почувствовала запах лжи. Она единственная, перед кем я виновата.

Вопрос Элеонор прервал моё покаяние:

— Ну и что ты собираешься делать?

— Написать письмо Мигелю.

— А Марии?

— Не имею права. Я обещала Филиппу не искать контакта с дочерьми.

Элеонор, так и не повернув головы, изогнула дугой правую бровь и стрельнула в меня светским «боковым» взглядом:

— Так ты и не искала. Это Мария нашла тебя. Разве ты обещала Филиппу не откликаться на письма дочери?

— Ну, ты и хитрюга. Найдёшь выход из любого положения. Конечно, напишу им обоим, хотя...

— Опять сомнения?

— Понимаешь, Мигель и Мария всё же очень разные. Он никогда не идеализировал отца, никогда не гордился своим происхождением и вековыми традициями семьи. Мигель уважал себя только за собственные заслуги, и кем были его предки — потомственными дворянами или евреями — никак не скажется на его самоуважении. Даже наоборот. Поможет. Окончательно избавит от навязанных ему отцом обязательств.

Мария другая. Для неё, как и для Франчески, Филипп всегда был вне конкуренции. Они обе родились графинями де Альварес и никогда, ни на минуту об этом не забывали. Девочки похожи на отца не только внешней, но и внутренней сутью. Унаследовали, правда, разные стороны этой сути. Франческа — жёсткую, высокомерную убеждённость в своей извечной правоте и привилегированности. Мария — умение сомневаться, понимать людей и дарить радость. Но сможет ли она смириться с унаследованным от меня еврейством? Нужно ли ей вступать в наши разборки с отцом? Выбирать, кто из нас прав, а кто виноват? Не знаю.

Очень тебя прошу, ответь лучше сама на её письмо. Напиши, что я жива и здорова, живу у тебя и со мной всё в порядке, а там будет видно. Она взрослая женщина. Пусть сама решает, как ей лучше.

...И Мария решила... До боли похожая на отца в молодости, с растрепавшимися на ветру волосами, она взлетает через две ступени на парадное крыльцо и... как вкопанная останавливается на пороге.

— Мама, ...

Мы уже два часа кружим по дорожкам парка, и я в третий раз рассказываю свою жизнь. Мария молча идёт рядом, не перебивая и не задавая вопросов. Только резкая складка между бровями и напряжённо выпрямленная спина выдают её волнение.

Подождав несколько минут, я первая прерываю ставшее невыносимым молчание.

— Ну и что ты об этом думаешь?

— Не знаю. Мне жаль вас обоих. Как глупо всё получилось. Разрыв после стольких лет жизни... Да, мне жаль вас обоих, но по-разному. Папу больше, чем тебя. Только не обижайся. Не потому, что я тебя меньше люблю. Просто вы очень разные. Ты сильнее, чем он. Ты помучаешься, пострадаешь, а потом поднимешься на ноги и пойдешь жить дальше, а он... для него это конец. Ему с этим уже не справиться.

— Откуда у тебя такая уверенность?

— Потому что я папу хорошо знаю. Помнишь, я была тогда ещё маленькой, он на какое-то время потерял к нам интерес и отдалился, а потом вернулся обратно и разрешил мне играть в его кабинете. Даже раздобыл где-то маленькое креслице и приставил к своему, вечно заваленному бумагами, письменному столу. Я пользовалась этой привилегией до самого

конца, пока не вышла замуж и не уехала из дома. В последние годы мы много разговаривали. Папа часто рассказывал о своём детстве. После смерти родителей его воспитывал дядя — какой-то крупный политик. Воспитание заключалось в постоянных рассказах о величии рода Альваресов, их славных деяниях и особых заслугах перед тронем. Папа должен был заучивать наизусть имена и героические свершения каждого предка в отдельности. Своего рода «Бытие мучеников»... Дядя даже определил место на стене для папиного будущего портрета... и для портрета его сына. Естественно, лишь после того, как они докажут своё право на подобную честь. Бедный ребёнок! Сейчас, когда я смотрю на своих мальчиков, понимаю, как этот старый дурак искорежил жизнь моему отцу, заморочив голову высокими идеалами и бескомпромиссными целями, практически лишив права выбора. Разве ты этого не знала?

— Знала, но надеялась... Надеялась, что когда-нибудь он проснётся и вернётся к своей истинной сути. Ведь на самом деле твой отец совсем другой человек.

— Да, другой. Но, похоже, от себя не «проснешься». Детство въедается в нас, как ржавчина. Ты ведь тоже навсегда осталась такой, какой была в детстве, вне зависимости от того, где жила — в еврейской семье или в испанской, в захудалом еврейском поселении, или при мадридском королевском дворе. Я тоже никогда не стану ни Франческой, ни Мигелем.

— А ты всё это раньше так же видела, или собрала воедино сейчас, после моего рассказа?

— Конечно, раньше я не знала причины, но знаешь... когда вы с папой занялись предпринимательством... Ты была такая счастливая, одухотворённая, а он... он мучился и стыдился. А теперь ещё Мигель и твоё прошлое. Ему больше не встать.

— А как ты? Я имею в виду твоё «сомнительное» родство с еврейским народом?

— Да какая мне разница! Ну, была у меня одна бабушка испанкой, другая еврейкой, и что? Значит, один из моих сыновей будет таким же умным и деловым, как Мигель. Ведь он наверняка пошёл в предков еврейской бабушки. Не так ли? Просто моему мужу незачем об этом знать. Бог его знает, как он на это отреагирует.

Мы сделали ещё пару кругов по парку и вернулись к Элеонор. Теперь до конца дня Мария принадлежала только ей.

Перед отъездом дочь ещё раз пригласила меня на прогулку. На этот раз я была награждена настоящим объяснением в любви.

— ...Знаешь, мамочка, я всегда восхищалась тобой и даже завидовала. Ты действительно особенная. Никогда не была похожа на других женщин. В детстве я тоже очень любила тебя нюхать, как ты свою маму. А когда ты перед сном целовала меня и укрывала одеялом — старалась не шевелиться, пока не засну — оно должно было оставаться так, как его положила ты.

А на папу не обижайся. Я помню, как последние годы он постоянно на тебя нападал и говорил гадости. Но это не потому, что не любил. Думаю, он тоже тебе завидовал. Ты всегда находила для себя что-нибудь новое и интересное, отдавалась этому без остатка и, рано или поздно, достигала успеха. Будь то музей Прадо, народное образование, очаровательные театральные пьесы или решение математических задач наперегонки с Мигелем, а он... У отца не было ничего кроме его политической карьеры. Последние годы, ужас какой-то... У него под ногами рушился мир, а ты радостно и увлечённо создавала гобелены. Пойми меня правильно. Это не упрёк. Наоборот — похвала. Просто прости его грешного. Он сам страдает от того, какой есть.

— Дочка, ты до безобразия права. Я всё это понимаю, потому и мучаюсь. Нельзя было его добивать. И вообще... мне так его не хватает, и я так за него боюсь!

— Ладно. Может всё и обойдется. А пока я беру над тобой и тётёй Норой шефство. Вы поступаете под мою охрану. Папе моя помощь не понадобится. Франческа к нему всё равно

никого не подпустит. Теперь он — её личная собственность. А ты не грусти. Мы что-нибудь придумаем. Всё будет хорошо.

Но придумывать «что-нибудь» не понадобилось — эту роль, не прося ни у кого разрешения, узурпировал Мигель. Через месяц после отъезда Марии пришло письмо из Америки. Оно состояло из двух частей, написанных в совершенно разном стиле. Тёплая, нежная ирония в начале и конкретное, деловое предложение в конце.

Пятый раз перечитываю строчки, наполненные его ровным, аккуратным почерком, и не устаю удивляться. Как по-разному воспринимают меня муж и сын. Для Филиппа я — сильный, целеустремлённый бульдог, с хрустом разгрызающий железными челюстями кость, отвоёванную в нечестном поединке. Для Мигеля — маленький, усердный мопс, старательно жующий найденный под кроватью хозяйский тапок. А громко твякает мопс не от мании величия, а от страха. Вдруг его не заметят и случайно прищемят дверью.

Заканчивалось письмо не только окончательным принятым за меня решением, но и чёткими инструкциями к его исполнению. Велено было ещё чуть-чуть продержаться на плаву. На помощь погибающему в морских пучинах мопсу уже спешит бригада спасателей, состоящая из двух управляющих. Им поручено в кратчайшие сроки оформить для меня все бумаги, необходимые для выезда в Америку и посадить на корабль. Мигель лично примет у них из рук драгоценный груз.

Но почему в Америку? Да, я очень хочу к сыну, но мне не прижиться в чужой стране. Я для этого слишком стара. Нет, милый, никуда я не поеду. Придется бригаде спасателей возвращаться к хозяину с пустыми руками. А с другой стороны... что делать здесь? Каждый день стоять на посту у окна и теревить рукой занавеску в надежде услышать дробь лошадиных копыт за поворотом дороги... и первой приветствовать Филиппа, взлетающего через две ступеньки на парадное крыльцо? И так с утра до вечера, изо дня в день, из года в год, пока не ослепну и не оглохну? Надеяться и ждать, зная, что он никогда не приедет? Нет, уж лучше в Америку. Там хотя бы не будет этого проклятого окна.

Эпилог

Вот и всё. Два запакованных сундука, плотно забитых необходимыми в дороге вещами, готовы к отправке. Этот вечер я проведу одна в своём доме у моря. Вчера здесь побывала Мария. На прощание я подарила ей ключ, хранившийся в ящике папиного стола, завещав со временем передать его дальше, одной из своих дочерей.

Какая всё же Мария умница! Сразу после моего отъезда она вернётся и заберёт к себе тётю Нору. Сопротивление старой упрямыцы дочь разбила одним ударом: «маленькая Элеонор уже в пути».

В отдельный ящик я сложила главные сокровища: бабушкины брошки, портрет-медальон размером в ладонь, бордовую шляпу с перчатками и этот дневник. Они останутся здесь. Надеюсь, одна из моих правнучек, похожая на нас с прабабушкой лицом и сутью, когда-нибудь вернётся сюда и найдет его. Пусть он предостережёт её от наших ошибок и завершающего крушения. Пусть бог приведёт её сюда в середине жизни, когда ещё можно что-то исправить.

А сейчас я просто стою у окна и смотрю на море. Удивительный ритм. Тяжело и степенно вздымаются вверх волны. На долю секунды они подворачивают свои кружевные серебристые гребешки и подставляют их заходящему солнцу. Вот оно, извечное чудо природы! Серебристое кружево на мгновение загорается оранжево-красным, выбрасывая в небо сноп маленьких радуг, и обрушивается вниз. Почему я всегда принимала этот ритм за борьбу, за ярость? Море никогда не боролось с берегом. Оно просто жило и живёт своей собственной жизнью. Как может, как хочет, каким создал его бог. А берег — своей. Им просто не повезло друг с другом. Они оказались слишком разными.

Если мне суждено благополучно пересечь океан и добраться до Америки... значит, станцюю ещё на свадьбе сына, приму на руки новых внуков, обязательно встречу с мистером Паркером и может быть...

Что это? Давно забытая мелодия еврейских свадеб выплывает откуда-то изнутри. Задеревеневшее, старое тело ещё не готово к движению, но мелодия уже по-хозяйски проникает под кожу, плещется в кистях рук, бурлит в ногах и затягивает в свой круговорот душу. Первые такты, первые скованные движения, а потом... как сорок лет назад... полёт рук, кружение ног, вздыбившийся парус тяжёлой, шерстяной юбки... Мой оборвавшийся когда-то танец, мой конец и начало...

... Я дочитала последнюю страницу, сняла очки и взглянула на часы. Надо же. Скоро начнёт светать. Жаль, что нет продолжения. Так никогда и не узнаю, доплыла ли она до Америки, встретила ли мистера Паркера, узнала ли что-нибудь о своей матери.

Думаю, доплыла, конечно же, доплыла. Ведь мы с ней **непотопляемые**. У нас не бывает крушений. Бывают лишь временные неприятности.

Завтра пойду наверх искать брошки. Они наверняка остались на дне ящика. А сейчас спать.

Впереди ещё дневник Елены второй.